Лев Подольский

МОЁ ДРЕВО

Лев Подольский

Моё древо

Автобиографическая быль,
повесть и рассказы

Из цикла «Странное шоссе»

Персей-Сервис
Москва • 2015

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6—4
П 44

П 44 **Подольский Л. В.** Моё древо — М.: «Персей-Сервис», 2015 — 288 с., ил.

«Моё древо» — первая книга Льва Подольского из его цикла «Странное шоссе». В цикл также входят книги «Государева служба», «Странное шоссе» и «Скуратовская быль».

В издание вошли автобиографическая быль «Моё древо», повесть «Лукарак», циклы рассказов «Люди», «Иван и люди нашего двора» и другие.

Период жизни автора, относящийся к содержанию книги, характерен тем, что судьбу человека определял не столько он сам, сколько его родное государство. Энергетик, золотоискатель, воин — автор многократно исколесил матушку-Россию, и всюду, где бы он ни был, его неизменно интересовал человек — это удивительное и немыслимо противоречивое создание. О людях — суть книги.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6—4

© Текст — Л. В. Подольский, 2015.
© Дизайн — «Персей-Сервис», 2015.

ISBN 978-5-905302-32-9

Я не обольщаю себя надеждой, что читатель по прочтении книги извлечет полезный для себя урок. Увы, люди не склонны, более того, не способны к этому, казалось бы, очевидному. Они предпочитают набивать себе шишки на собственном тернистом пути жизни. Я, со своей стороны, желаю им удачи.

Моё древо

Автобиографическая быль

Предисловие

Жена видит, что я всё пишу, и поинтересовалась:

— Куда ты это деваешь?

— Складываю в картонную коробку из-под шампуня.

— А потом?

— Потом в мусор.

— А серьёзно?

— Серьёзно, не знаю.

— Ты прочитай мне что-нибудь из этого.

Я подумал.

— Прочту… через полгода, когда, — я в неопределённости покрутил рукой около лба, — созреет.

— Ну давай, созревай, — усмехнулась жена и добавила, — только смотри, не перезрей.

— Ладно, постараюсь.

«И в самом деле, не перезреть бы», — забеспокоился я. Начинать следовало лет с десяти, тогда к пятидесяти появились бы первые юношеские произведения.

— • —

Что мне известно о моих предках? Помню бабушку Саню, по отцу; маминого брата Александра, моего дядю. По рассказам знаю дедушку Подольского Ивана Ивановича, прадедушку Максима Попова, прабабушку Аксинью Попову, да еще двоюродного дедушку Михаила Попова… вот, пожалуй, и всё.

Из кирпичиков воспоминаний о тех, кого знал и о ком слышал в семье, я складывал мозаику повествования о себе и о людях моего рода. Но, увы, добытых таким образом сведений получалось огорчительно мало.

Мой папа Василий и его родители: Александра и Иван Подольские

Память человека ограничена и слаба. Кроме того, не всему происходящему я был свидетелем, а больше черпал из рассказов, разговоров в душевной обстановке. Помогло, однако, одно совершенно невероятное обстоятельство, связанное с фамильным предметом, который дал мне счастливую возможность общения с людьми моего рода напрямую, услышать от них немало того, что, казалось, уже кануло в лету и утеряно безвозвратно. Но об этом будет сказано ниже, в главе «Ступа».

Мой прадед

Мой прадед по отцовой ветви Попов Максим, из крестьян. Он, однако, быстро сообразил, что крестьянским трудом от зари до зари, в лучшем случае, будешь сыт, но не более того.

Будучи человеком смышлёным и предприимчивым, полный кипучей энергии, он стал искать иные способы добывания хлеба насущного. Брал подряды на постройку небольших мостов и плотин, с ощутимой выгодой для себя.

Со временем принялся строить храмы; попутно купил постоялый двор и поставил в нём за хозяйку свою жену Аксинью с детьми.

Детей Максим родил четверых: Мишу, Федосью, Ольгу и Александру. Вот Саня в своё время и стала моей бабушкой Александрой Максимовной, любовь которой я ощущал всю жизнь, неизменно отвечая ей таким же тёплым чувством.

Обеспечив таким образом семью, Максим Попов выполнил свой отцовский, супружеский и христианский долг; он развязал себе руки и очистил душу.

Всё это было ему необходимо, ибо давно имел на стороне любовницу, некую Анну Семёновну, и жить со своей законной Аксиньей не собирался. Закончив дело с материальным обустройством семьи, он резонно полагал, что если и будут пересуды в связи с его двоежёнством, а они неизбежно возникнут, то, во всяком случае, сильно приглушённые, ибо нет более важного долга перед женой и детьми, как обеспечение их прожитка, так же, как нет большего греха, если оставить их без куска хлеба, то есть бросить.

Он же, Максим, указанный долг выполнил и весьма щедро.

Интересные жили тогда люди. Один из заказчиков на постройку храма, купец Шерстобитов, человек весьма набожный, высоты не боялся. Когда Максим достраивал ему церковь, он самолично ставил крест.

Перед работой читал Библию, но когда залезал на купол церкви, и ежели ему что не нравилось, то орал сверху на работников матом!

Моя прабабушка

Итак, Аксинья осталась зажиточной женщиной во главе постоялого двора и своего многочисленного семейства, всё увеличивающегося по мере выдачи дочерей замуж и появления внуков.

Обычно она сидела с вязанием в красном углу, недалеко от образов с лампадками, и отдавала распоряжения. Имён своего потомства она напрочь не помнила и, обращаясь к индивидуальности, то есть, к конкретному отпрыску, всякий раз пыталась угадать его имя.

— Манька, Петька, Лёшка… — окончательно запутывалась и с досадой заканчивала, — и, … жидовска тварь! — и звучало это никак не

оскорбительно, а в виде пословицы, в которую она не закладывала никакого познавательного смысла.

Пока она шевелила свою память, котёнок подползал на брюшке из засады, кидался на клубок и с детским восторгом самозабвенно катал его по полу, начисто запутывая пряжу. И всё начиналось сначала:

— Манька, Петька, Лёшка… , а, жидовска тварь! — детвора бросалась выполнять приказ. Котёнок убегал с клубком, прятался, вновь прыгал вперёд. Клубок у него отнимали и весело принимались распутывать нитки.

Померла моя прабабушка Аксинья на девяносто шестом году от роду; до этого вдевала нитку в иголку без очков и имела свои зубы. Один лишь выпавший на девяносто третьем году зуб она оплакала и трогательно похоронила.

Мой двоюродный дедушка Михаил

Вот, говорят, «человек многогранен»; это должно означать, что у каждого человека имеется грань доброты, грань ума, грань порядочности, грань злобы, грань мерзости и так далее.

А по мне, люди просто разные; они без граней. Если уж человек порядочный, так это не грань его, а он сам порядочный. У иного эту самую грань днём с огнём не отыщешь.

Умным хорошим людям подольше бы жить! Такие люди за свою жизнь успевают сделать много полезного для людей. Судьба, однако, неразборчива и безжалостна; ей в высшей степени наплевать, какой человек живёт, полезный или бесполезный, а то и вовсе вредный.

В моём родстве случились два выдающихся человека, и с обоими она поступила безжалостно. Двоюродный дедушка Михаил и мой старший родной брат Пётр тому пример.

Михаил Максимович родился человеком редких талантов, самородком; его способности в различных делах и науках поражали. Окончив церковно-приходскую школу в селе Барановка Камышинского уезда, он самостоятельно выучил немецкий, французский и английский языки, изучал физику, химию и механику.

В восемнадцатилетнем возрасте, то есть, совсем юношей, отремонтировал паровую мельницу купца Жеребцова и был взят оным на службу механиком, с хорошим, по тем временам, жалованьем. Выписывал из-за границы книги по различным направлениям знаний. Купил фотоаппарат и фотографировал односельчан. Устраивал физические опыты с электричеством, а электробатареи изготавливал сам.

Люди, несмотря на его молодость, уважали за ум, способности, ученость и практическую мастеровую хватку; последнее особенно ценилось на селе. К тому же, обладал он весёлым добрым характером и любил пошутить; к нему часто приходили.

Он гостя впустит, а сам отлучится, вроде по необходимости. Вот такой бородач, оставшись один, осмотрится; видит, на табурете гривенник. Вроде, хозяин обронил; утерянная деньга. Оглянется, никого нет, хвать монету в карман. И тут начинает звенеть звонок, да так громко, что гость от неожиданности мертвеет. Тут же вбегает Михаил и говорит:

— Зачем монету взял?

Гость в испуге и конфузе, а хозяину весело. Хохочет, ну просто катается по полу.

Собственноручно изготовил велосипед. Пока мастерил, приходили, стояли, поглядывали, а как покатил он по сельской улице, так за ним толпой казаки-бородачи, почтенные сельчане в детском восторге бежали, поражённые видом диковинного аппарата.

Это ведь в России конца девятнадцатого века! Скончался Михаил девятнадцатилетним юношей, от горячки.

О моём брате Петре будет ещё сказано.

Дедушка Иван

Младшая дочь Максима Попова Саня вышла замуж за Ивана Ивановича Подольского и в положенное время родила Василия, моего отца.

Мой дедушка сапожничал, шил сапоги, ну и, конечно, крестьянствовал; без этого прожить в селе нельзя. И вот, приехал однажды он из своей Барановки в уездный город Камышин и остановился у родственников, проживающих в небольшом особнячке по улице Тюремной, которая в одну сторону доходила до набережной Волги, а в другую упиралась в городскую тюрьму. Это случилось в 1909 году.

Сын его Василий, мой будущий отец, в это время учился в Камышинском реальном училище.

Дедушка много слышал о существовании кино, но воочию никогда его не видел, лишь мечтал.

Вот и повёл его Вася в городской синематограф на просмотр комедии с участием Макса Линдера. Фильм немой, в черно-белом изображении, под аккомпанемент тапёра.

Впечатление дедушки от фильма было сумасшедшее. В смешных местах он смеялся, как лошадь, и от дикого ослабляющего хохота сползал

со стула, и соседям приходилось периодически вытаскивать его и водружать на место, при этом они не церемонились в приёмах, а, попросту говоря, тащили его за шиворот.

В трагических — дед ревел белугой от жалости к герою и получал тычки от тех же соседей.

По окончании сеанса дедушка выполз наружу полуживой, но довольный необычайно.

— Будет что рассказать своим в селе, — сказал он.

Курильщик он был заядлый. Приехал как-то на косьбу, а махорки нет. Забыл. Молча отправился обратно и принёс курево; двадцать семь вёрст туда и столько же обратно!

Каково? Перед смертью попросил поднести к губам цигарку, и скончался.

Сам полуграмотный, сыну Василию дал хорошее образование; отец закончил реальное училище и, если бы не большевистский переворот, перед ним виделась благополучная служебная карьера и обеспеченная жизнь.

У дедушки были братья, но в начале двадцатого века они в поисках лучшей жизни уехали в Германию, откуда когда-то вышли их предки. Так что, если хорошенько поискать, то и в Германии найдутся люди моего рода.

Бабушка Саня

Помню, к бабушке, она уже была в возрасте, приходил свататься мужчина, пильщик; существовала такая работа раньше, до появления электропил. Здоровенный могучий человек, закалённый в тяжелейшем пильном труде.

Садился в кухне, долго с чувством пил чай, чашку за чашкой, потел; бабушка его принимала и угощала как земляка из Камышина. Жили мы тогда в Калмыкии.

Он, очевидно, был приятен бабушке, но она отказала ему, будучи самозабвенно верной своей семье. Она и представить себе не могла, что её сын и внуки останутся без её помощи и её забот.

Мне казалось смешным, когда она говорила «льзя» вместо «можно».

То ли от поднятия тяжестей, то ли по какой иной причине, она страдала опущением желудка. Лечилась по своей методе.

Она вставала против спинки стула, опиралась на неё животом и давила, вправляла желудок, устанавливала его на место.

Моя бабушка Александра

Ноги лечила, натирая их керосином с солью. От простуды выпивала на ночь стопку водки с шестью каплями очищенного скипидара, накрывалась тёплыми одеялами, чтобы основательно пропотеть. Утром вставала, как огурчик!

От всех остальных хворей ставила пиявки.

Я пробовал лечить простуду водкой со скипидаром. Гадость отчаянная! К тому же, после этого от меня долго несло духом сапожной ваксы. Мало знать, необходимо верить.

Отец и мама

В конце семнадцатого года февральская революция добралась до Камышина, этого степного волжского уездного города, известного, пожалуй, даже знаменитого своими арбузами. В городе постоянно стояли полк донских казаков и полк солдат.

Мой папа Василий Иванович

В первую очередь воины бросились в винные склады; всякой водки и вин оказалось столько, что три недели весь город пил без ограничения.

В следующем году накатилась гражданская война. Красные, белые, всё перемешалось.

Из любопытства, будучи в селе, Василий подошел однажды к краю гигантского оврага, расположенного невдалеке; на той стороне белые, на этой красные. Ударил пулемёт, и Василий упал, пораженный пулей в шею навылет.

Его в полном беспамятстве принесли домой, а затем отвезли в Камышин, в госпиталь.

Пока лечился, отлёживался в госпитале, его первое юношеское увлечение Ниночка Усова вышла замуж за командира красного полка Давыдова, сына Бухарского хана и убеждённого революционера. Своими руками тот зарубил своего родного отца-хана.

Василия вылечили, но с этого времени правая сторона его тела потеряла чувствительность, хотя руки и ноги действовали. Он ходил, брал правой рукой предметы, но не ощущал их.

Моя мама Мария (справа)

— • —

Весной двадцатого года в городском саду на берегу Волги Василий познакомился с Марией, моей матушкой, а год спустя женился на ней, несмотря на открытое несогласие её приёмных родителей с этим неравным, по их мнению, браком. Василий недостоин Марии, таков был их категорический вердикт, хотя отец служил в это время председателем волостного совета, то есть, был на виду.

Молодость моих отца и матушки пришлась на последние годы царской России и период становления Советского государства, которое прошлось тяжелым колесом по их судьбе. Дело в том социальном положении, из которого они происходили. Они были не из бедноты.

Матушка окончила Высшие Бестужевские курсы в Петербурге и имела собственный конный выезд. Её в младенческом возрасте удочерила весьма состоятельная супружеская пара Самарских. Самарский — купец первой гильдии.

Родная мать её, немка, имела от другого человека ещё детей, мальчика Александра и девочку Ольгу, которых отец не оставил, а, напротив, щедро содержал, и, дав им достойное образование, вывел в люди.

Мурманск

Начались тяжелые времена, в Поволжье наступил смертельный голод.

По объявлению о работе на окраинах страны отец дал согласие ехать в Мурманск заместителем начальника морского порта. Выезд через двадцать четыре часа, столько же на сборы. Пункт посадки в эшелон — Саратов. Молодожёны решили, собрались и отправились в неведомое, но в надежде на спасительное; на Волге народ опухал и умирал от голода.

В пульмановском вагоне разместились комендант эшелона и сливки экспедиции — двенадцать семей руководителей предстоящей работой порта. Комендант — разбойного кавказского вида детина с маузером в деревянной кобуре. Питание изысканное: рис, масло, мука-крупчатка.

В остальных товарных вагонах едут татары-грузчики, у каждого по три жены. В пути комендант не выдавал им продукты, так что из шестисот семей, погрузившихся в Саратове, в Мурманск доехали четыреста. Остальные умерли с голода в пути.

Ехали с недельными остановками в Москве, Петрограде и Петрозаводске. В Мурманске коменданта расстреляли, а портовики принялись за дело.

В городе всего двенадцать женщин. Председатель губернского совета Александр Бронштейн, родной брат вождя революции Льва Троцкого. Сорокалетний красавец восточного облика, но без восточного противного менталитета; сторонник Ленина, не выполнил указание Троцкого об отправке ценностей за рубеж. С ним отец, служит заведующим Культпросветом.

Отца назначают заместителем начальника порта по разгрузке судов. В его распоряжении двенадцать переводчиков и три тысячи грузчиков.

Еще в Камышине Самарские, несмотря на своё внутреннее недовольство браком, настаивали, тем не менее, на обязательном церковном венчании. Решили венчаться здесь. «Здешний поп честный, — разъяснили Василию друзья, — липы не даёт». Договорились, и торжественно обвенчались в Мурманском храме. После устроили вечеринку; приглашены друзья и капитаны торговых судов.

Капитаны стран-победителей — выхоленные, в цилиндрах и жилетах, три подбородка, за каждым матрос с ящиками вин и закусок. Напротив, немецкие капитаны бедны и озлоблены; обуты в грубые армейские бутсы.

Случилась во время венчания и досадная неприятность; подъехали к церкви на четырёх тройках, а там отпевание четырёх кочегаров. На одном из кораблей взорвался котёл. Пришлось подождать.

Моя мама Мария с приёмными родителями

Так или иначе, но венчание и торжество прошли прекрасно, а пирушка получилась отменная. Отец в совершенстве владел немецким языком, и германские капитаны нашли удовольствие поговорить с ним и пожаловаться на судьбу.

В то время полагали, что в мурманской атмосфере мало кислорода, в связи с чем у людей иногда перехватывает дыхание, и за панацею считали глоток спирта. Начальству выдавали один литр спирта в день, рабочим — пол-литра.

При разгрузке и погрузке кораблей отец организовывал и наблюдал работу.

Время от времени грузчики проделывали один и тот же фокус: они намеренно роняли ящик с товаром, и, если тот разбивался, рассовывали содержимое по карманам. Отец на эти проделки смотрел сквозь пальцы и

следил лишь, чтобы не увлекались, и это традиционное право грузчиков не превращалось в грабёж.

Возможно, и осталась бы молодая семья надолго в Мурманске, если бы не очередная беда. Мария заболела тифом и воспалением лёгких, а Василий рожей. Оба свалились в страшнейшем жару и в безнадёжном состоянии. Дело из рук вон скверное.

Друзья усаживают их в поезд, дают провожатого и кладут два мешка муки.

Как они живыми доехали до Камышина, непонятно, совершеннейшее чудо. Однако, приехали. На этот раз на Волге их ждало спасение, но и беда тоже. Скончался Иван Иванович, дедушка, и Саня овдовела. Василий даже проститься с отцом не успел.

Дедушка простыл во время купания; он часто по утрам обливался холодной водой, и, если случалось слишком холодно, надевал шапку и валенки.

— • —

Отец мой по профессии экономист, и всю жизнь служил в банковской системе. Профессия осёдлая, тем не менее, наша семья редко засиживалась на месте. Я размышлял о причинах таких частых переездов.

С одной стороны, это можно объяснить спецификой того времени, в течение которого прошла жизнь отца; ему приходилось постоянно искать место жительства, наиболее удобное, чтобы прокормить семью, чтобы выжить. А то ведь как, если заработок неплохой, то в магазинах пусто, на эти деньги ничего не купишь. В Поволжье хроническая голодуха; уехали. Жили в Камышине, Алексикове, Элисте, Зеленчукской, Бобруйске, то есть, в Поволжье, на Кавказе, в Калмыкии, в Белоруссии!

Вот какие переезды, а это дело хлопотное; основная тяжесть ложилась на матушку, у неё трое детей, однако, она не роптала, не такой она человек, чтобы роптать.

Умная, безумно любящая свою детвору, и доброты необычайной; о её участии к людям в семье ходили легенды. Она могла привести с улицы бездомного ребёнка, отмыть его, одеть, накормить, дать на дорогу последний свой кусок хлеба. В этом была её схожесть со свёкром, Иваном Ивановичем; тот вообще, если видел человека в нужде, последнее с себя снимал, чтобы помочь.

Матушка по характеру покладистая, в спорах часто уступала, но если дело касалось детей, она становилась тигрицей, непоколебимо отстаивала своё и поблажки никому не давала.

Отец же, по натуре вспыльчивый и даже порою резкий, требующий в семье повиновения, пережив с матушкой несколько острых ситуаций, отступился и негласно признал все дела, связанные с детьми, за нею. При этом он обычно произносил: «Ну, а это уж как Муся решит».

Всего детей у них было четверо; все мальчики и все родились с интервалом в два года, этакой возрастной лесенкой. Старший Пётр 1922 года рождения, за ним Алексей, затем Николай и последний я.

Коля умер во младенчестве и, по рассказам бабушки, мама была неутешна. Горе её несколько смягчилось моим появлением на свет, хотя я оказался не тем, что ожидалось. Я стал целительным бальзамом, отвлекшим маму от горя.

Интрига же заключалась в том, что ожидали девочку и были твёрдо убеждены в неизбежности этого. После трёх мальчиков должна же появиться девочка, не говоря уже о том, что всем просто хотелось, чтобы непременно была она.

Однако, вопреки этим, вообще-то, весомым аргументам, мама родила меня.

Об истории моего появления на свет много рассказывала бабушка. У нас в семье любили эту тему, и она часто являлась предметом бесед в кругу близких и знакомых.

Мама обнимала меня и говорила: «Девочка ты моя, сейчас я тебе платочек одену». Я млел на её руках, мне это нравилось, но я отвечал: «Нет, я не девочка, а мальчик, и платочек не хочу!»

— • —

Матушка родила меня в Камышине, в небольшом двухэтажном домике на Тюремной улице, которую составляли купеческие и мещанские дома-особнячки. Улица протянулась вдоль берега протока от набережной Волги до городской тюрьмы.

Прошла бездна лет, прежде чем я вспомнил о своём первом гнезде-колыбели и приехал в Камышин. К этому времени я уже стал немолод, и дом узнал с трудом. Первый этаж ушел в землю настолько, что подоконники сровнялись с землёй.

Тётка моя Клавдия, моя ровесница по возрасту, жила на втором, а этот нижний приспособила для хранения всякого бытового хлама; валялись детские игрушки, велосипед, старая мебель, слесарный и столярный инструмент, прялка и прочее в этом ряду. Всё, конечно, ломаное-переломанное, негодное. Отдельно стояли мешки с кормом для кур и несчетное количество стеклянных банок.

Двоюродная тётя Клавдия Камаева

— • —

После Камышина семья наша переезжает в Алексиково.

Я знаю людей, которые помнят детали своей жизни в четырёхлетнем возрасте; я не обладаю такой памятью, и об Алексикове не помню ровно ничего. Знания об этом периоде я почерпнул из семейных разговоров, воспоминаний.

Увы, приходится повторяться, время там было голодное.

К счастью, однажды бабушка Саня, роясь в огородишке, нашла клад! Чугунный котелок, полный серебряных монет.

Отец отнёс монеты в Торгсин и получил за них полмешка пшеничной муки, топлёного коровьего масла и ящик печенья. Хлеба нет, а едим печенье! Вот горько-курьёзные повороты того малопригодного для жизни времени.

Бабушка Саня ходила со мной гулять на железнодорожный вокзал. Мне нравилось, когда при устройстве составов вагоны стукались при сцепке, и я спрашивал:

— Бабушка, толчок?

— Толчок, толчок, — отвечала она.

Калмыкия

В 1936 году отец переезжает с нами в Элисту, под начало управляющего банком Звегинцева Петра Семёновича, близкого своего друга, на должность начальника планово-экономического отдела. А в следующем, печально знаменитом 1937-м началось.

Подписка о невыезде, днём быть всегда на службе. Отцу предъявили статью 58-а, шовинизм, которая в лучшем случае предусматривает пятнадцать лет лагерей. Основание: в разговоре назвал работницу калмыцкой национальности «калмычкой», полагалось — «нацменьшинством».

К счастью, через пару недель всё руководство КГБ Калмыкии, в том числе и следователей, арестовали за «вредительство». Дело отца закрыли.

«Пришла беда, открывай ворота».

Вызывает отца секретарь областного комитета партии: «Вы скрыли своё социальное происхождение; архиепископ Саратовский — ваш отец! Вы обманули партию. Будем выбраковывать». При этом он вертел в руках бумагу, скорее всего, анонимный донос. «Бюро завтра!» На бюро секретарь доложил дело Подольского как доказанное и решенное и предложил поставить его на голосование.

Отец сидел, как оглушенный, не зная, как себя защитить; он знал сокрушительность машины, в которую неожиданно попал. Он попросил слова.

Мой батюшка Василий Иванович и его друг Пётр Семёнович Звегинцев, 1936 год

— Мне-то, можно выступить? Как же так, вы, товарищи члены бюро, решаете мою судьбу, собираетесь голосовать, хотя ничего не доказано!

Я заявляю, что в той форме, как мне объявлено, всё ложь и вымысел! Я в ваших руках, избавиться от меня вы всегда успеете, но дайте мне защитить себя. Я прошу направить доверенных коммунистов в Саратов и Камышин для проверки всех моих биографических данных. Там живут люди, которые меня знают, и в Камышине, и в Барановке, моих отца и мать.

Если подтвердится мне предъявленное, готов отвечать не только в партийном, но и в уголовном порядке. Пусть едут за мой счет и всё смотрят.

Согласились. Проверка шла два месяца. Члены бюро приходят на квартиру к отцу.

— Василий Иванович, всё как Вы говорили, везде хорошие отзывы, а об отце и говорить нечего, обвинение оказалось насквозь лживым. Мы с машины прямо к Вам, в обкоме еще не были.

На следующий день вызывает секретарь.

— Вы честный человек, товарищ Подольский, — и пожал руку.

— • —

На окраине Элисты, в карьере кирпичного завода после выборки глины образовался пруд. Мальчики купались в нём; из подобранных деревяшек соорудили нечто вроде плота, забрались на него и плавали в дальние страны!

Я плавать ещё не умел, но мальчишки, в детском недомыслии и жестокости, столкнули меня с плота, и я стал тонуть — при их полном равнодушии.

Сжалился Бадма; он длинный, ему только по шейку.

Он взял меня за руку, и, уже почти утонувшего, подтащил к берегу. С тех пор при встречах он всякий раз напоминал: «Я тебя спас», на что я неизменно благодарил его: «Спасибо тебе, Бадма».

Запомнились драки дом на дом с применением рогаток, стреляющих круглыми, песчаными, шероховатыми камешками.

Помню, как я дразнил верблюда, привязанного к забору в нашем дворе, и тот в отместку плюнул в меня жвачкой; ну и видик был у меня после этого!

Помню, как в аналогичной ситуации жеребёнок дал мне под дых копытцем; я еле оклемался.

Помню, как в детском несоображении я сунул зажжённую спичку в горловину пустой, но с бензиновыми парами, бочки из-под бензина, и как

Я со своими родными братьями Петей и Алёшей

полыхнуло из неё пламенем, и очень сильно обожгло мне правую руку, и как я орал и бежал домой, и в каком ужасе была мама.

Учился я хорошо. Учитель, худой, длинный и выпивающий, любил меня.

Каждый год в Элисту приезжал проживающий в Москве герой гражданской войны Ока Иванович Городовиков; он воевал в конной армии Будённого, степенно ходил по городу и всем встречным жал руку. Нам, детям, тоже.

— • —

Я и Митя Монахов сговорились сходить на Барский пруд половить раков; Митя, крепкий мальчик десяти лет, остриженный под ноль, сын управляющего банком, присланного вместо Звегинцева, уехавшего в Москву с повышением.

Целый день перед походом мы хлопотали по устройству всего необходимого для промысла.

Притащили с базара железный обруч от кадушки, грязный и ржавый, натянули на него марлю с провисом, как у сачка, и протыкали марлю толстым гвоздём, чтобы обеспечить через неё хороший проток воды. К обручу тремя стропами привязали верёвку, чтобы эту нашу раколовку или, выражаясь рыбацким языком, закиднушку, вытягивать из воды. Оставалось подыскать приманку.

Митя порылся в дворовой помойке и, отмахиваясь от зелёных блестящих крупных мух, извлёк на белый свет дохлую, насквозь протухшую курицу. Смердила она ужасно, но это только нас радовало; лучшей приманки для раков, чем тухлятина, народ еще не придумал.

Курицу мы уложили в центре обруча на марлю и надежно привязали проволокой. Снасть готова; просто и красиво! Из нашего сарая мы стащили старое ведро, в которое намеревались сваливать раков.

На следующий день, часиков в двенадцать, мы встретились и, позвякивая снаряжением, отправились.

До пруда идти километра три, мимо дома Советов слева и городского сада справа, дальше до клуба пионеров мимо одноэтажных домов, сложенных из саманного кирпича. Мы шлёпали по асфальтовому тротуару. Полдень; под мощными огненными лучами солнца асфальт полурасплавлен и горяч. Босыми ногами мы увязали в нём, подпрыгивали, как воробьи, стараясь подольше держаться в воздухе. Чтобы смягчить жар, мы скрючивали свои лапки колёсиком, стараясь уменьшить поверхность соприкосновения их с асфальтом.

Помогало это мало, нам оставалось лишь скакать. К счастью, асфальт, впрочем, как и наш город, закончился, и мы с наслаждением погрузили ноги в толстый слой мелкой, как пудра, пыли серой и приятно горячей степной дороги. Пыль нежно обволакивала ноги, засыпалась между пальцами.

Теперь мы брели не торопясь, намеренно загребая пыль ногами; посвежело, пряно запахло полынью. Дорога пошла по холмам из жёлтой глины: подъём, спуск и всё вверх. После каждого спуска казалось, что вот-вот начнётся последний подъём и за ним озеро, но этого не случалось, и снова холмы, холмы.

Наконец, мы перевалили небольшой курган и увидели внизу, метрах в восьмистах, большой, вытянутый гусеницеобразный пруд с жёлтой песчаной плотиной и ярко-зелёными зарослями камыша, украшенного на верхушках бурыми метёлочками. Под лёгким степным ветерком кисточки раскачивались, камыш шумел, и всё это напоминало буро-зелёное море.

За дальним берегом пруда расположилась плантация огурцов, а еще дальше виднелись бурые на фоне песчаника, бескрайние бахчи с арбузами, дынями и тыквами.

Мы прошли к камышам, нашли удобный кусочек берега и закинули снасть; верёвку привязали к камышинке, так, что она виднелась отчетливо. Каждые полчаса мы поднимали закиднушку, выбирали десяток-другой раков и снова забрасывали.

Слева направо: двоюродный брат Анатолий, Петя, Алёша и я

К вечеру мы возвратились домой с полным ведром раков, честно поделили их и разошлись по своим квартирам.

Бабушка Саня отварила раков; они стали ярко-красные и пучеглазые, были поданы к ужину и съедены с аппетитом.

Война

Когда по радио объявили о начале войны, мальчишки бежали по улицам и радостно кричали: «Война, война!», по-детски не воспринимая суть этого страшного события. Я, так же радостно, поспешил передать маме эту новость.

Мама помертвела, а, придя в себя, долго плакала. Петя уже год как в армии, служит в батальоне аэродромного обслуживания под Брянском. Лёша числится допризывником и в любой момент может стать солдатом. Сердце матери предчувствовало горе.

Германские войска стремительно приближались к Элисте; ежедневно высоко в небе гудели «рамы», самолёты-разведчики.

Семью усадили в грузовик и отвезли в Долбань, что под Астраханью, для эшелонирования по железной дороге на Восток, в эвакуацию. Отец пока оставался в Элисте. Областной комитет партии сколотил из коммунистов нечто вроде ополчения; людей вооружили автоматами и отвезли в село Калмбазар, расположенное на Волге, напротив Астрахани, то есть, на противоположном берегу.

Во главе отряда поставили калмыка Манджиева, который определённо не знал, что ему делать с его воинами. Всё твердил о разведке и высылал ополченцев то на десять, то на пятнадцать километров в разные стороны, но те немцев не встретили ни разу.

Отец ночевал в Астрахани у друга, и однажды, как всегда, сел на катер, чтобы прибыть к месту дислокации отряда к восьми часам утра. Едва катер отчалил, в небе появился германский фронтовой бомбардировщик «Юнкерс» и принялся резвиться, издеваться над их беззащитной посудиной.

Боевая машина для начала обдала её очередью из крупнокалиберного пулемёта, а затем швырнула пять небольших бомб; катер чудом избежал уничтожения, стремительно юркнув в ближайшую бухточку. Переждали. «Юнкерс» потерял катер из вида и, завывая мотором, убрался восвояси. Они добрались до места с опозданием в полчаса.

— Где ты был?! — заорал Манджиев с матерщиной. Калмыкам нравился российский мат.

— Подожди, подожди, не спеши, всё расскажу, — пытался объяснить отец, но тот не слушал и ругался.

Вскоре дело прояснилось. Высланный Манджиевым грузовик с разведчиками наскочил на германскую танкетку из дивизии СС «Мёртвая голова».

Танкетка плюнула из пушки, и от тридцати человек в живых остался один водитель; он раненый лежал около машины, и немцы его не тронули. Водитель приполз к отряду окровавленный, с выбитыми зубами.

Бессмысленная гибель товарищей потрясла отца. У ополченцев не было ни плана, ни конкретного задания, ни военной цели. Просто послали и всё. Погибли тридцать человек впустую, кощунственно впустую.

На следующий день подошли строевые части, и оставшиеся в живых ополченцы разъехались по своим учреждениям.

Отец на катере перевёз семью из Долбани в Астрахань к железной дороге, а сам погрузился с банковским имуществом на баржу и отплыл в Гурьев.

Непостижимо, как он добрался до Гурьева! Огромная, безоружная баржа, а в небе непрерывное завывание «Юнкерсов».

— • —

Ехали в товарном вагоне-теплушке, более месяца, во вшах и недоедании. Раза два на станциях путников отправляли в санитарный пропускник, где люди мылись, а их одежду прожаривали; избавлялись от вшей, но, увы, ненадолго. Эти отвратительные насекомые возникали как из ничего, а по сути, от грязи, скученности и душевных переживаний.

Питались хлебом и изредка похлёбкой, по рейсовым продовольственным карточкам, которые отоваривали на крупных станциях. Чтобы выжить, высматривали нужное среди товаров на железнодорожных платформах. Обычно товарняки охраняли, но однажды мне посчастливилось стащить с открытой платформы свинцовую чушку, килограммов в десять, имея в виду обратить её в дробь для охоты на зайцев.

Так и везли с собой свинец, да еще тяжелую медную ступу. Даже ухитрились протащить их в самолёт, на котором завершили свою эвакуационную одиссею на отрезке пути от Астрахани до Элисты. Но это еще очень не скоро.

В казахстанском Челкаре зиму пережили крайне тяжело. Голодали, но хоть какую-то еду, но получали, а вот топлива не было вовсе. Отчаявшись от холода, мы с отцом отправились ночью к деревянному мосту через какую-то речушку и отпилили от него изрядное бревно. Погрузили на тележку и успешно довезли это драгоценное топливо домой. Его хватило на несколько дней хорошей протопки. Мы немного отогрелись.

Отец в это предприятие брал с собой ружьё, чтобы отбиться, если попадёмся; к счастью, оружие не понадобилось.

Мои братья

Алёшу призвали в армию и направили на Кавказ в город Прохладный, на курсы бронебойщиков — истребителей танков. После курсов он попал в Грозненское пехотное училище, но закончить его не дали.

Алексей Подольский

Германские войска рвутся на Кавказ и уже прорвали фронт под Ростовом. Из кавказских училищ сколотили сводный курсантский полк и бросили его навстречу противнику.

Алёша во взводе разведки. Курсанты ночуют в траншеях; разбудил его нечеловеческий предсмертный отчаянный, какой-то заячий, крик. Ночью незаметно подползли германские разведчики и зарезали несколько курсантов.

Этот ужасный крик время от времени, внезапно и неожиданно, вдруг возникал в сознании Алёши в течение всей его жизни как первая реальность бойни.

По Сальским степям полк отступил к Сталинграду. Под Красноармейском курсантов остановил заслон, выполняющий приказ Сталина «Ни шагу назад!» Полк поставили на оборону города.

Проходя по траншее, Алёша почувствовал некоторое неудобство и обратился к сержанту:

— Помкомвзвода, посмотри, что-то у меня в ушах звенит.

И всё. Провал в сознании, госпиталь. Голова прострелена насквозь. Два отверстия, входное и выходное.

— • —

Вслух мы никогда не вспоминаем Петю, и вовсе не потому, что забыли его, напротив… но так было принято в семье по негласному уговору. Мы щадили маму, а всякое упоминание о нём вводило её в такое горе, видеть которое человеку невозможно. Мама ушла из жизни, а традиция осталась.

В Челкаре, этом маленьком, пыльном, и вообще-то невзрачном городишке, мы крепко голодали, мёрзли и пытались выжить, но прежде всего мы были наполнены ужасной тревогой за Алёшу и Петю, исполнены дикой надеждой, что минует их самое страшное, непоправимое, и они пройдут без погибели безумие всеобщего избиения и смерти, останутся живы для себя и для нас.

Всё, что угодно судьбе, но пусть они останутся живы!

В течение нескольких месяцев 1942 года от ребят не было вестей; ни единого воинского треугольного самодельного письма без марок.

В Челкаре нам выделили комнату в частном деревянном доме; еще в одной комнате жила медсестра из госпиталя.

Хозяин дома, повар из того же госпиталя, хмурый, молчаливый, и его безумная дочь проживали в остальных двух.

Дебильная дочь, здоровенная и толстая бабища, к несчастью, прижила ребёнка, который постоянно вопил, а слабоумная мать не могла его успокоить и только повторяла: «Я его аукаю, баюкаю, а оно всё плаче!»

К медсестре, миниатюрной привлекательной женщине, приходил из госпиталя выздоравливающий старший лейтенант — танкист с одним лёгким, молодой, симпатичный, полный энергии парень. Они закрывались на крючок, и пока я не спал, всё слышал невольно доносящийся из их комнаты мерный скрип кровати.

— • —

Однажды за столом отец странно посмотрел на маму, и лицо его сделалось жалким-жалким. Затем он тихонько засмеялся. Это было неожиданно, неуместно и страшно. Все замолчали и смотрели на него со страхом, еще ничего не понимая, но с нарастающей тревогой.

Ужасный смех перешел в рыдания.

— Петя, — вырвалось из него.

Слово это, вырвавшееся из отца, разом уничтожило нашу надежду.

Горе обрушилось и затопило маму безумием. Дикий нечеловеческий крик, какого я никогда не слышал, даже представить не мог, вырвался из матери.

Отец рыдая, успокаивал её:

— Муся, Муся.

Я обнимал её:

— Мама!

Вид мамы, её состояние повергли меня в отчаяние. Она не видела никого! Ни меня, ни отца.

Бабушка Саня рухнула на колени и молилась.

Мама страшно кричала, а потом жутко завыла. Постепенно душераздирающий крик и вой перешли в колыбельную песню, длившуюся бесконечно. Она раскачивалась на стуле и пела:

— Петя, Петя, сынок, Петенька, — и то было еще страшней.

Не дай Бог видеть горе матери, потерявшей своё дитя!

Петя родился высокоодарённым ребёнком. Поразительные способности в музыке и литературе. В школьном возрасте профессионально играл на виолончели, гитаре, мандолине, балалайке, словом, на всех инструментах школьного струнного оркестра; писал стихи и печатался в местной газете. И всё это будучи еще мальчиком.

Погиб старшим лейтенантом в гибельных новгородских болотах, где сражение в течение нескольких лет горело на одном месте, обильно наполняя землю телами русских людей.

— • —

Война — обжора и гурман. Она любит вкусно покушать и предпочитает молодых или еще не старых крепких мужчин, цвет, опору и будущее общества. Она не приемлет дряхлых, которые уже исполнили свой биологический долг и не представляют ценности, и, тем более, перспективы; они заслужили право доживать свой век, но в такой запредельной ситуации, как война, они обуза.

Если судить о войне с точки зрения жизни и смерти (а как о ней еще судить?), то для нашей семьи она закончилась в 1943 году, за два года до победы.

Алёшу нашли и привезли домой из Челябинска после госпиталя, потерявшим память от тяжелейшего ранения пулей в голову навылет. Он не узнавал нас, своих родных, не знал, кто есть он сам; он вообще ничего не помнил из своей жизни до ранения.

Девятнадцать лет молодой, насыщенной событиями, эмоциями жизни стёрла из его памяти пуля.

Петя погиб в страшных позиционных боях в болотах под Старой Руссой.

Война взяла у нас всё съедобное. Оставила отца, негодного к войне после ранения в гражданское кровопролитие, маму, бабушку, да еще меня, недостаточно выросшего, чтобы быть забитым.

Я пишу всё это кровью, взятой из своего сердца.

Голод

В 1943 году германские войска терпят поражения и отступают. Мы возвратились из Казахстана, где пробыли в эвакуации около двух лет, домой в Элисту; железнодорожным эшелоном, в теплушке, до Астрахани и аэропланом до Элисты. Город в развалинах.

Не помню, осталась ли неразграбленной наша квартира. Спросить не у кого; из всей семьи теперь, когда пишу это, я остался один.

Наш сосед Бадма Чульчинов, мой спаситель, во время германской оккупации поступил в Калмыцкий полк, на службу Германии, и где-то сгинул.

Карцев прислал письмо из Челябинска, в котором сообщил, что видел нашего Алёшу. Якобы, Алёша служит в охране нефтяного склада. Отец немедленно отправился в Челябинск и привёз Алёшу, слабого и потерявшего память. Но он жив, и это для нас главное, наша радость.

Мальчишки, они и остаются ими в любой ситуации. Мы лазим по разным местам, всё что-то ищем. Я нахожу немецкий парабеллум (люгер), он без спускового крючка, но совершенно действующий. Патронов навалом. В степи, в балке мы устроили свой полигон; стреляем в спичечный коробок, нажимая на пружину пальцем с левой стороны пистолета.

У нас много гранат, находим также авиационный пулемёт с «Мессершмитта». Один мальчик неудачно бросил гранату; оторвало пальцы, и мы помогли ему, истекающему кровью, добраться домой.

— • —

В Казахстане мы голодали, но истинный голод нас встретил здесь. Немного хлеба по карточкам — вот всё наше пропитание, да еще Алёша, как инвалид войны, получал порцию затирухи: горячей воды, заправленной горсткой муки.

Это был не тот голод, когда человек, пропустив обеденное время, мечтает закусить. Этот голод длился триста восемьдесят три дня; он стал основой натуры и поведения. Чувство голода нарастало по мере ослабле-

ния плоти; оно занимало всё большую часть времени, не позволяя думать ни о чем ином.

Мысли и устремления имели одно направление, как утолить голод. Человек ни разу в течение вышеуказанного времени не вставал из-за стола с чувством, хотя бы отдалённо напоминающим сытость. Это такой уровень чувства голода, когда организм, плоть вопиет: «Найди пищу, съешь что-нибудь, иначе я погибну!»

Отец в отчаянии; он уехал просить руководство Центрального банка перевести его в иное место, где возможно выжить!

Я пробую добыть для семьи пищу. Одержимый голодом, я воспользовался отсутствием отца, взял ружьё и отправился в степь, чтобы добыть зайца.

Ружьё я подвесил под стёганый кавалерийский ватник в талию и с разрезом сзади, прошел мимо глинобитного базара и далее через глубокую балку вышел в степь.

Зайца я не нашел, а в пути наткнулся на калмыка, который отнял у меня ружьё, и я в ужасе от потери шел за ним не менее километра, униженно упрашивая вернуть. Без ружья вернуться домой я никак не мог.

Человек сжалился надо мной и вернул ружьё.

Мне пришло в голову сварить мыло из собачьего жира. Я тут же поймал бродячего пса, привязал его в сарае и пошел за ружьём. Зная, как это делает отец, я снарядил патрон шестнадцатикалиберной «тулки» половинным зарядом пороха и дроби, достаточным, как я полагал, чтобы прикончить собаку. Вошел в сарай.

Я смотрел на пса и мучился, а он пронзительно глядел мне в глаза; своим собачьим чутьём он распознал моё ужасное намерение и отчаянно выл в тоске, метался на привязи. Невыносимая жалость к животному охватила меня.

Я отвязал его, открыл дверь, и пёс мгновенно исчез. Я облегчённо вздохнул и отнёс ружьё на место.

— • —

В этот тяжелый период моя будущая жена Тоня находилась, будучи в эвакуации, в Павлограде того же Казахстана.

«Мы голодали и были в отчаянии, — вспоминает она, — но вот мать устроилась на работу в столовую, и мы ожили.

Каждый день мать чистила котлы, мы ей помогали, и при этом набирали полные котелки пищи, не слишком привлекательной на вид, но сытной. Работа наша обычно заканчивалась поздней ночью.

Однажды к нам постучали, мама открыла дверь со словами: «Время позднее, столовая не работает».

На пороге стояли посиневшие от холода молодые люди. Они молча протиснулись в помещение с упорством человека, единственной целью которого было остаться в живых, а для этого ему не хватало тепла и пищи. Они стояли в тёплой кухне, и никакая сила не могла их заставить покинуть её. Оказаться снова на лютом морозе казалось им невозможным, как невозможно поверить человеку в свою близкую смерть.

Мать, сердобольная жалостливая женщина, стала их расспрашивать, кто они и откуда.

Они оказались сыновьями весьма известных и влиятельных в то время маршалов, которых правитель объявил врагами народа и убил, а сыновей выслал. Изнеженные привилегиями и неприспособленные к жизни рядового россиянина, они были обречены и вызывали жалость.

Мать накормила их, и они, не уставая произносить слова благодарности, ушли в холод, который на сытый желудок уже не казался им таким фатальным».

— • —

Разные люди переживали голод по-разному.

В одной коммунальной квартире жил удивительный человек. Когда еды не было, а это случалось часто, он за полчаса до обеденного времени голосом избалованного поклонениями боярина, привыкшего повелевать и помыкать своими дворцовыми поварами, изрекал: «Желаю сегодня скушать, — он делал величественную паузу и продолжал, — лепёшки смешанные! А, именно, тридцать мер муки и семьдесят мер толчёной березовой коры, да, да, коры, и ничего иного. Извольте постараться!» Он при этом язвительно улыбался, как бы сознавая трудность решения поставленной им задачи, и добавлял капризным голосом: «Испечь сегодня же!»

Ел он эти малосъедобные лепёшки грязновато-земляного вида торжественно, будто и в самом деле они и есть его голубая мечта. Ел со смаком, причмокивал от удовольствия, строил удивлённые круглые глаза и одобрительно поглядывал на повара Вилю.

«Талант! Награжу, озолочу! Как я горд! У меня, братцы, лучшая кухня Европы!»

Мы тоже ели этот эрзац, чтобы поддержать свои угасающие силы, но такого удовольствия не ощущали.

С таким человеком значительно легче переживать тяжёлые времена. Если к голоду добавить уныние, то это верная и скорая гибель. Позже, когда люди получили возможность питаться вволю, они светло вспоми-

нали то голодное, но удивительно весёлое, благодаря этому человеку, время.

Теперь его, увы, уже нет. Такие люди очень редки; один на сто тысяч, а возможно, и реже.

— • —

После войны я годы не мог наесться и избавиться от ощущения вшей на голове.

Кавказ

Отец выхлопотал себе должность управляющего районным банком в станице Зеленчукская Ставропольского края.

Глубокой осенью, в снегопад, за нами приехал мощный «студебеккер» с кузовом, накрытым брезентом. Мы погрузили свой немудрёный скарб, сели сами: отец, Алексей, мама, бабушка Саня, и отправились, по сути, бежали от голода и неминуемой гибели в надежде обрести землю обетованную.

Уже под вечер, с зажжёнными фарами, ощупывающими дорогу, наш ковчег, покрытый толстым слоем мокрого снега, вкатился в станицу, под лай собак проехал улицу, и, поколыхавшись весьма чувствительно на ухабах, остановился перед станичной столовой.

Отцу власти выделили жильё в бревенчатом доме, и мы могли остановиться там сразу, но он знал, что нам необходимо прежде всего.

Я никогда не ел ничего вкуснее простого картофельного супа, поданного нам.

Итак, в Зеленчукскую мы въехали в крытом «студебеккере» в сильную метель, и по этой причине поначалу не увидели грозного великолепия Кавказа. Нам было не до него.

Еще терзала людей война, а мы отъедались и оживали. Алёша уверенно приходил в себя, многое вспомнил, и вскоре для него стало возможным трудиться. Отец устроил его к себе в госбанк инкассатором; Алёше выдали старый дореволюционный наган, и он развозил деньги.

После отступления германских войск в горных лесах остались бесхозные кубанские казаки, до этого служившие фашистам. Пощады они от Советской власти не ждали, не знали, куда себя приспособить, и просто, но совершенно бесперспективно, без малейшей надежды на спасение жили под покровом густых лесов, пробавляясь пищей от родных да прихватывая овец из пасущихся отар.

Власти неумолимо уничтожали их, для чего устраивали облавы, как на диких волков.

В плен их не брали, стреляли на поражение, да казаки и не думали сдаваться, и так и этак смерть. Получалась своего рода охота на людей.

Убитых привозили и бросали на центральной площади; окоченевшие в смерти, окровавленные и безразличные к миру, они служили наживкой для поимки их родственников.

Люди приходили и смотрели на этот ужас. Время от времени иная женщина с воплем кидалась к мертвецу, рыдая и обнимая его. Тут же контрразведчики уводили её на допрос.

Школа наша располагалась поблизости от этого места, и мы на переменках бегали смотреть.

Весной школьников, и меня в том числе, отправили на Архызский перевал заготавливать дрова. Очень смутно помню, что-то мы делали; еды нам не давали совсем, и мы вскоре убежали домой.

Летом послали в военный лагерь вблизи Черкесска. Среди нас были греки; в сравнении с такими доходягами, как я, они выглядели несокрушимыми крепышами. Греки жили спаянным анклавом, и в продовольствии не нуждались.

После двухнедельной муштры нас отпустили, и я ушел домой, натурально пешком. В пути заходил в частые, тонущие в зелени селения; везде обилие садов и великолепия. Жители просят лишь не ломать ветки. За день утомительного, но и восхитительного пути пройдя семьдесят километров, я подошел к крыльцу нашего дома.

Бобруйск

В Бобруйск мы добирались поездом, с пересадкой в Брянске. На станции этого начисто разрушенного войной города отец закомпостировал билеты, и мы, обременённые багажом, двинулись к своему поезду. Посильно несли вещи и мама с бабушкой, и уж тем более я, к тому времени крепкий шестнадцатилетний парнишка.

Толчея несусветная, неразбериха с поездами и вагонами; навьюченные люди снуют в различных направлениях, кому куда надо. Пассажирский транспорт в то, еще военное, время работал с полным пренебрежением к гражданским пассажирам и вполне комфортно для воров, жуликов и прочего отребья рода человеческого.

Итак, мы пробирались между составами, которые в любой момент могли начать движение, и что тогда было бы с нами, представить можно

Мой брат Алёша и его жена Дина

с ужасом. Мама, слабенькая физически, еле волокла самый лёгкий из нашего багажа чемодан; сердце моё обливалось кровью от жалости к ней, но помочь я никак не мог, ибо сам был перегружен до предела, до хрипа в горле.

На путях шныряла шпана, внезапно один из этих подонков вырвал из маминых слабеньких рук чемодан и скрылся с ним под вагоном.

Мама в отчаянии плачет и ломает руки до истерики, стонет. Именно в этом чемодане лежало самое ценное, самое святое — фотографии Пети и Лёши, их письма с фронта.

Люди! Сколько же можно терзать человека! Мама, еще не полностью вошедшая в себя из безумия от потери сына, получает раскалённый нож в кровоточащую рану! Ведь этому нечестивцу не нужно ничего из содержимого добычи; вытряхнет, письма пустит на папиросы-самокрутки, фотографии с мерзким смехом порвёт и швырнёт в грязь.

Господи, накажи злодея, прошу Тебя! Не прости его. Поддержи мою матушку духовно. Она Мария, как и Твоя Мать, Святая Мария!

— • —

Бобруйск город средний, с какой стороны не зайди и не посмотри; средний по площади, по населению, по расположению, да и по культуре.

До 1950 года числился даже областным центром; но вот «там, наверху, посовещались», приняли своё решение, и все областные департаменты, весь чиновный люд укатил в Могилёв и принялся руководить оттуда. Бобруйск же остался просто районной столицей, а в отношении Могилёва и вовсе провинцией и даже деревней. Хотя, если говорить начистоту, эти два города одинаковые, а для аборигенов Бобруйск даже предпочтительнее.

Проживают в нём около 130 тысяч человек, из них 70 % белорусов и русских, 28 % евреев, и остальные 2 % цыган. Цыгане живут в посёлке, отделённом от города рекой Березиной, в деревянных двухквартирных домах, то есть они, как бы, прогрессивно осознали своё врождённое тунеядское прошлое, перестали кочевать и перешли в социалистическое оседлое состояние.

Цыгане работали, но кровь предков била в них ключом, и всякий цыганский мальчик, то есть, цыганёнок, едва научившись ходить, уже бродяжничал по рынкам и пляжам, неустанно тренируясь в пляске, песнях и воровстве.

— • —

Несметное количество мотоциклов, всё больше «Ява», носилось по городу. Следует отдать должное дисциплинированности бобруйских парней; они были в шлемах и строго соблюдали предписания ГАИ, чего не скажешь о милиционерах. Эти ездили без шлемов и вообще не являли собой положительного примера.

На обширном рынке аборигены торговали картошкой и яйцами, украинцы овощами, а неизменные черноволосые, с дикими чёрными глазами торговцы с благословенного Кавказа — фруктами.

В тёплый сезон на рыночной площади сколачивали деревянный цилиндрический трек, внутри которого с рёвом крутились цирковые мотоциклисты, а в антрактах призывно гремели заезженные песни Эдуарда Хиля.

В будние дни на Березинском пляже пустынно и по-хорошему природно, а вот по воскресеньям истинно вавилонский базар, ступить некуда, сплошь тела. Играют в карты, выпивают и закусывают. По периметру пляжа, подобно навозным жукам, снуют мотоциклисты; иногда они останавливаются и подолгу ревут, обдавая людей удушливым выхлопом.

Молодые самцы в плавках медленно ходят по пляжу; тела их сплошь покрыты татуировкой, иногда с разительным политическим сюжетом: портреты вождей, партийные лозунги. На шее медальон на массивной цепи или крест или что иное, и непременно в руках транзистор. Транзисторы хрипят сольно и хором.

Это малый джентльменский набор; парень, обладающий подобным набором, зримо доволен жизнью. А уж если к тому он еще на мотоцикле! Нет слов, чтобы выразить его величие.

Бобруйск немного напоминает своим колоритом Одессу, но лишь напоминает. Мощь Одессы основана на уникальном населении, а именно на смеси евреев, иных южных людей, буйных украинцев и россиян; весь этот состав динамичен и своеобразен.

В Бобруйске же евреи, напротив, охлаждены безынициативными и вялыми белорусами, но, тем не менее, город интересен. К слову, я вовсе не хочу обидеть белорусов; это прекрасные люди, но натура есть натура, у каждого народа она специфична, что у финнов, что у прибалтийцев…

Вот у танка Т–34, памятника генералу Бахарову, командиру танкового корпуса, ворвавшегося в город в 1944 году, остановилась колонна мотоциклистов; моторы ревут, синий выхлоп стелется, фигуры пилотов устремлены вперёд, ждут сигнала!

Народ смотрит. Люди охвачены энтузиазмом, всем хочется туда, за ними, вперёд, как и они, неважно куда. Эта организация, слитность, целеустремлённость и рёв, особенно рёв, захватывают необычайно, весь город может вздрогнуть, да что там город, нация! Подчиниться призыву… и вперёд!

Потрясающее зрелище, состояние человека на уровне инстинкта, без малейшего участия разума.

— • —

Против старого четырёхэтажного жилого дома из красного кирпича, метрах в сорока, расположилось пожарное депо с каланчой и колоколом.

На небольшом балконе, вернее сказать, балкончике третьего этажа старого дома, стоит, судя по одежде, мужчина в халате и шлёпанцах, то есть, в совершенно не выходном одеянии. Он внимательно и заинтересованно наблюдает за действиями пожарных.

Только что смотрящий на каланче увидел дым пожара и подал сигнал: он ударил в колокол.

Пожарные в брезентовых костюмах с широкими поясами выбежали во двор, выкатили пожарный автомобиль, выкрашенный в огневой цвет и экзотически обвешанный различными сверкающими медью противо-

Бобруйская «Пожарка»

пожарными предметами; они прикрепляли катушки с пожарными рукавами, надевали медные каски, начищенные до адского сияния, и прыгали в автомобиль на своё строго установленное место.

Только один дородный высокий пожарный не суетился; он стоял, контрастно неподвижный, посреди деповского двора с секундомером в правой руке и строго наблюдал вышеуказанную беготню. Мужчина на балкончике в полосатом халате, узбекской тюбетейке и шлёпанцах на босых ногах нервно дёргается в нетерпении. Душой он там, с пожарными, и он совершенно не понимает противоестественного поведения высокого дородного пожарного. Он кричит ему:

— Что ты стоишь? Твои пожарные ребята уже в автомобиле, они сидят. Там пожар, там горят люди, а ты стоишь! Тебе всё равно, что горят люди?

Подумайте только, он еще курит и не думает ехать! Тебя станут ждать? Скорей садись! Боже, на нём еще нет каски. Как ты будешь тушить огонь, придурок?

Высокий, дородный пожарный услышал вопли, обернулся, осознал, что кричат ему, сплюнул окурок и отозвался коротко, но ясно.

— А пошел ты к …

Мужчина от возмущения едва не перевалился через оградку своего балкончика.

Алёша с сыновьями Юрой и Серёжей

— Вы только подумайте, у него ещё есть время послать меня матюком, как будто там не горят люди.

Он смотрит якобы в сторону предполагаемого пожара и громко размышляет.

— По-моему, это горит изба Абрама Левинфиша; так и есть, это его сторона. Придурок, садись скорей, езжай тушить, Абрам Левинфиш горит! Ты не знаешь Абрама Левинфиша? Это тот, кто держит красильню на форштадте. Завтра ты придёшь к Абраму Левинфишу красить штаны, а там одни угли! Как ты посмотришь ему в глаза, если его красильня сгорит?

Высокий дородный пожарный, наконец, положил секундомер в карман и занял своё главное место. Пожарные ударили в колокол, мотор выбросил клуб дыма; пожарный автомобиль тревожно и одновременно торжественно укатил.

Мужчина на балкончике устроил ладони козырьком над глазами и посмотрел ему вслед.

— Я таки напутал. Абрам Левинфиш с красильней не в той стороне, куда умчались эти бравые ребята. Но пусть всё равно тушат; не у него, так у других почтенных людей беда.

Он успокоился и пошлёпал с балкончика к себе, где его ждали завтрак и жена.

Я и Алёша

— • —

В Бобруйске я часто посещал своего одноклассника Аркадия из семьи Ванхадло; удивительно милая семья. Взаимной нежностью и любовью Ванхадло слепились в семейный кусочек такой прочности, что разлучить их могла только смерть. Наивное, почти детское восприятие жизни, очевидная беззащитность исходила из каждого их слова и взгляда.

Кумиром и управляющим центром их чувств, устремлений и поведения, безусловно, являлся Аркадий, единственный ребёнок Семёна Семёновича и Рамсы Исааковны.

Впрочем, ранимость их была насколько очевидной, настолько и кажущейся. Единственно, опасность для Аркадия, их солнышка, в каком угодно виде могла их встревожить и ранить. В остальном Ванхадло, при всей их нежности, надёжно охраняли свой очаг.

Много лет спустя я снова посетил Бобруйск, уже с сыном Дмитрием.

Дима купался в Березине, той самой, в которой тонули славные воины Наполеона в 1812 году. Неудачно наступив на разбитую бутылку, лежащую на дне реки, он сильно порезал ножку, прямо-таки разворотил

коленку. Я разорвал свою рубашку, как смог, замотал ему ногу, закрыл рану, схватил малыша в охапку и поспешил в поликлинику.

Чтобы переправиться на городской берег, взошел на паром. На пароме люди; полная дама очень громко и эмоционально рассказывала о жутком происшествии, которое случилось на прошлой неделе.

— Я видела, две молодые дамы купались в реке, как ненормальные! Зашли на глубокое место, а плавать не умеют! Они стали тонуть на глазах всего пляжа. Эти пижоны, они гуляют по пляжу, как павианы, в неприличных плавках и с транзисторами в грязных лапах. Они только по девкам.

Никто не стал спасать утопающих, а только смеялись! Нырнул в реку, бросился спасать высокий мужчина с усами, капитан дальнего плавания, он умел плавать. Так что вы думаете! Эти молодые дамы, они сошли с ума, они ухватились за его руки и повисли, как водолазные грузила. И они утянули его на дно!

И высокий мужчина, он капитан дальнего плавания, он умел плавать, не осилил их. И они таки все утопли. Никто не спасся.

Паром причалил к берегу, мы сошли. Автобус стоял, но сильно заполненный.

Дама увидела нас и закричала:

— Пропустите мужчину с искалеченным мальчиком. Куда вы все спешите? У вас целые руки и ноги, вы можете подождать. Пустите искалеченного мальчика!

Она энергично помогала мне войти в автобус. Дама кричала и толкалась до тех пор, пока не убедилась, что мы с Димой и она сама вошли в салон.

Она приняла горячее участие в нашей беде и сопровождала по всему маршруту до самой поликлиники.

— Вы извините, я пойду домой. Проситесь к доктору Гольгору, он хороший хирург. Он всё пришьёт мальчику, как надо. Вы меня простите, я пойду домой, у меня дети. Они волнуются, где их мама. Проситесь к доктору Гольгору.

— • —

В автобус ввалился мужчина с многочисленными узлами, за ним старенькая и чрезвычайно энергичная белорусочка. Это её узлы.

— Спасибо тебе, добрый человек. Вот хорошо, и автобус добрый, и люди здесь добрые. Только мужик мой еще билеты не взял. Сейчас придёт.

— Возьмёт! — успокоил её глубокий бас с третьего места.

— Старая! — раздался призывный крик снаружи, — Куда ты подевалась? Вылазь с ёго. Он до Чичевичей не идёт.

— Ох, ох, надо вылезать. Счастливо вам всем, — она снова засуетилась, подхватила свои многочисленные пожитки и покатилась к выходу, одновременно ругая мужа. Но не ощущалось в её нападках на него злости, а напротив, ругала его весело, и очевидно было, что она хороший человек, и всем в автобусе стало хорошо.

— • —

Николай Иванович Симов служил в департаменте власти, то есть, в облисполкоме. В других учреждениях ему не место в связи с особенностью его внешности, которая выглядела фантастически запоминающейся. Скажем, ему никак нельзя трудиться шпионом; мигом отличат, узнают, арестуют и казнят. Черты лица его очень крупные; весь облик обильно костистый, с уникальными большими бородавками на самых видных местах.

У Симова жила собачка, Белка, и решил он как-то купить ей намордник. Пришел в магазин.

— У вас есть намордники? — спросил он Зяму, продавца.

— Есть, но только для собак, — вежливо ответил тот, — могу предложить вот этот.

— Велик! Моя Белка вся в него влезет.

Поскольку дело происходило в Бобруйске, этой маленькой Одессе, Зяма посоветовал:

— А Вы нарисуйте намордник на её морде!

Симов в негодовании покинул магазин. В другом магазине продавец, едва глянув на него, сказал:

— Вашего размера нет.

— • —

Отец с ранних лет страстный охотник. На всю жизнь остались в моей памяти аппетитный крепкий бульон из дикой утки с восхитительной горчинкой и тушёная зайчатина.

Уток ощипывала и готовила бабушка Саня, а зайцев свежевал сам отец. Такое вот разделение труда.

С возрастом охота стала для него трудной, и он увлёкся рыбалкой. Уходил обычно на несколько дней к своему излюбленному месту, недалеко от деревни Красное, в верховье Березины, километрах в двадцати выше Бобруйска.

Река в этом краю протекает очень извилисто, в болотах, минуя по большей части человеческое жильё со всеми сопутствующими ему скверн-нами. Вода чистая и прозрачная; дно песчаное. Место безлюдное; отец ловил рыбу и наслаждался, буквально питался природой. У него была лодка, утлая, но худо-бедно на воде держала; уезжая, он прятал её в зарослях на берегу.

Однажды отец взял меня с собой в этот оазис первозданной природы. Автобусом мы проехали по Минскому шоссе, мимо Еловиков, затем свернули на грунтовую дорогу, и, не доезжая Красного, высадились; дальше три километра пешком.

Отец удил рыбу, а я плавал, загорал и дышал. К обеду он сварил уху, и мы ели её горячую, прямо из закопчённого котелка. Отец, натурально, сливался с природой; он обмакивал кусок хлеба в реку и с очевидным наслаждением жевал.

Рыбы он добывал много.

Краснопёрок, сазанов, карасей он приносил домой (бабушка Саня их жарила), а вот щук относил к своим душевным друзьям Лиакумовичам. Жена Абрама Борисовича, Роня Ефимовна, замечательно фаршировала их и частично возвращала рыболову обратно, в изысканно приготовленном виде.

Щуки попадались очень крупные, до метра длиной, и ужасно зубастые. Отец укладывал их в большую круглую корзину и обильно обворачивал крапивой.

На охоту он взял меня всего один раз, еще будучи в силах. Мотоциклом с коляской нас подбросили в район Рогачёва, в верховье Днепра. До реки добирались пешком, дорога слегка в гору; небольшая возвышенность отгораживала от нас реку. Когда до воды осталось немного, отец предложил проползти, посмотреть с осторожностью.

«Если тут утки, можешь спугнуть», — сказал он. Я последовал его указанию и, держа ружьё за ремень, подполз к краю. Отец оказался прав. На водной глади резвились утки. Они ныряли, долгое время оставались на глубине и выныривали на значительном расстоянии от места погружения.

Отец, сидя позади, тихо подсказывал:

— Подгадай место, где утка вынырнет, и стреляй.

Я долго изучал манеру поведения утки и наконец выпалил. Утка легла на воду и стала неподвижной; течение быстро понесло её вниз.

Я стал раздеваться, чтобы вплавь достать птицу.

— Не стоит, — возразил отец, — куда ты полезешь, осень, вода холодная.

Однако, охваченный охотничьим азартом, я никоим образом не мог допустить, чтобы дичь пропала. К счастью, мы увидели невдалеке лодку с парнишкой на борту, покричали ему, он подгрёб, достал утку и честно отдал её нам. Отец оглядел птицу и сказал:

— Добрый чирок, полярный!

Грехи юности

Человеческая натура вообще, и моя в частности, очень многосторонняя, и потребностей у людей столько же, сколько сторон, ведь каждую надо удовлетворить, а они разные; есть ясные, как солнышко, есть черные и шершавые, как короста, и даже зловонные, подобно поросячьим отходам или выбросам химического производства.

Заглядывая в себя, каким я был в годы ранней юности, находясь в Бобруйске, вижу, что плохое мне нередко не казалось таковым, а способы достижения целей были все хороши. Чувство опасности притуплялось самонадеянным «авось пронесёт!» Различия между добром и злом почти не замечал; оно меня не интересовало и проскальзывало мимо, не тревожа чувства.

Окружающая обстановка высвечивала и будила во мне то или иное намерение; я жаждал выпить и прогуляться с такими же юнцами, как я, с интересом поглядывая на девчонок. Ходил на танцы, на вечеринки, ублажал свои желания, и уходил в этом направлении всё дальше и дальше, твёрдо уверовав, что это самое главное в жизни, больше того, это и есть сама жизнь как таковая.

Вместе с тем, моей мечтой было стать морским офицером. Я знал брата Феди Фиронова, выпускника бакинского Высшего военно-морского училища, который решительно и без остатка покорил и очаровал меня своей выправкой, силой, отвагой, чёрными клёшами, бушлатом со сверкающими, начищенными до адского блеска пуговицами и якорями, бескозыркой с развевающимися лентами и тельняшкой.

О, тельняшка!

Загорелая физиономия и шея, статная крепкая фигура в морской форме стали моим идеалом и целью!

Истинной жизни я не знал, плохо различал суть вещей, и по наивности искренне полагал, что мне достаточно надеть эту форму, чтобы стать таким же бравым, как брат Феди Фиронова, с его физическими и волевыми качествами.

Следует признать, что поступление в училище было для меня необходимо еще и по другой причине, значительно более прозаичной; оно разрешало тяжелую обстановку, сложившуюся у меня в школе. Серия прогулов и провалов на экзаменах поставили меня на грань исключения, о чем однажды, в ненастный день, твёрдо пообещал проинформировать отца директор школы.

Для поступления в училище требовался документ об успешном окончании девятого класса, но так как оный у меня отсутствовал, и по причине, указанной выше, и быть не мог, то я решил достать липу. Одни говорили, что можно купить, но не сообщали, где. Да у меня и денег-то для этого не было.

Я пошел по иному, наиболее доступному для меня, как мне казалось, но, увы, не более честному пути. Я решил изготовить документ своими силами. С этой пагубной целью я изучил множество способов перевода оттиска гербовой печати школы с имеющегося документа на чистый бланк.

Первым я применил способ перевода печати яйцом, сваренным вкрутую. Я сварил яйцо, быстро облупил его, снял плёночку и прокатал им по имеющемуся оттиску. Затем этой стороной яйца покатал на чистом бланке. Те же операции произвёл на другом яйце.

Скажем честно, ничего путного из этого не получилось. Наши усилия (мне помогал мой друг Рудольф Лукьяновский) закончились тем, что мы посолили измазанные мастикой яйца и съели их с аппетитом. В то голодное время яйца мы ели не каждый день.

Пробовали сырой картошкой, делали саму печать из резины; получались такие уродины, что употребить их в дело мы не решались.

Когда чего-то жаждешь, то видишь только это.

Я хотел стать моряком, но видел лишь клёши, тужурку с красивыми пуговицами и якорями да бескозырку. И напрочь не видел тягот и даже трагедий, сопутствующих этой мужественной профессии.

Учился я в Бобруйской средней женской школе. Существовала тогда мода на раздельное обучение. Мужская школа оказалась переполненной, и меня, Серёжу Переяславцева, Рудольфа, Марата и Аркашу Ванхадло временно зачислили в женскую.

Ситуация восхитительная. «Восемь девок, один я, куда девки — туда я». На переменах мы плотной мужской группой били чечётку. Девочки с восхищением на нас смотрели. Учиться было некогда.

Математичка откровенно издевалась над нами; к доске вызывала нараспев, меня даже и по фамилии не называла, ограничиваясь безликим «молодой человек», да и то для того лишь только, чтобы поставить двойку.

Резвились мы, как могли. Особенно любили подтрунивать над Аркашей. Мы, обормоты, бросали его котёнка с балкона второго этажа и с интересом следили за полётом несчастного животного, а однажды устроили ложную пожарную тревогу, чтобы посмотреть, как бабушку спускают с балкона на верёвках.

Стыдно ужасно! Как мы могли?! Что за полоумие юности?

Дружил я с Федей Фироновым, крепким симпатичным парнишкой. Вот еще одна из бесчисленных жертв войны. При взрыве гранаты ему оторвало ладони рук и выбило глаз.

Вот пишу обо всём этом, а меня всего корёжит от стыда и отвращения к себе.

Словом, я, обычно успешный ученик и совершенно нормальный мальчик, забросил учебу ради непонятно чего.

Буза закончилась тяжёлым разговором с отцом. Я никогда не прощу себе, что причинил папе такое огорчение!

Он сказал:

— Ну что ты можешь делать? Мешки таскать слабоват, мало каши ел, ведь выгонят тебя из школы!

Я был уничтожен!

— Папа, — сказал я, — буду учиться.

Этот краткий разговор встряхнул меня и привёл в чувство. Безделье моё как рукой сняло.

Моё поколение

Люди моего поколения участвовали в конкурсе за честь быть убитым на фронте; на этот конкурс не спешили попасть, но избежать его не мог ни один тогда живущий.

Певица была одна для всех — Клавдия Шульженко; она исполняла лирические песни, и каждая её пластинка считалась модной. По радио с утра до ночи пели только Кострица, Нечаев и Бунчиков.

Конкурса при поступлении в вуз не существовало. Если человек молод и уже отвоевался, дорога в институт открыта. Тем более, для парня без шести рёбер или со стальной заплатой на расколотом черепе, прикрывающей серое вещество.

Опасность для себя мы видели в самом грозном её проявлении, в войне, и мы радовались, как и наши старшие, рюмке водки с какой-никакой закуской, чаще всего, мочёной капустой.

Мы смотрели фильмы, ходили на танцы, а чтобы не изнежиться и не потерять бдительность, дрались. Мы играли в шахматы, ухаживали за девушками и спешили стать самостоятельными людьми.

Высшим авторитетом для нас и примером для подражания были фронтовики, то есть, люди, хлебнувшие войны; их от нас отделяла пропасть участия или неучастия в войне.

Вова, один из таких авторитетов, или, если хотите, воспитателей. Воевал в разведке. Грудь увешана орденами Ленина, Красного знамени, Славы: всё высшие ордена, медалью «За отвагу» и прочими знаками его воинской доблести.

Беспощадность вросла в него навечно; идеальный инструмент войны, убивать — внутренняя суть его предназначения. Ударом ноги, походя, швыряет собаку средней величины на несколько метров.

Они, фронтовики, еще не остыли от боёв; драка стала естественным состоянием их души, их потребностью. На танцы приходили не ради танцев, но чтобы подраться. Дрались моряки с лётчиками, лётчики с артиллеристами, артиллеристы с пехотой, то есть, дрались воины различных родов войск, но никогда представители одного рода между собой.

Обычно через два—три танца следовал выстрел из пистолета по люстре, наступала темнота, и мгновенно вспыхивала драка. Зачинщиками чаще всего оказывались моряки Березинской флотилии; их было мало, но дрались они очень компактной группой, ремнями с пряжками, яростно и упорно.

Среди моряков была девушка-морячка, которая часто первая подавала сигнал к началу столкновения, и происходило это следующим образом. Её, скажем, приглашает на танец лётчик; они танцуют, и вот она среди танца разворачивается и бьёт своему кавалеру по физиономии. Драка закипает!

Моряков, ввиду их малочисленности, так или иначе одолевали и выкидывали из окон первого этажа. Однажды, после завершения баталии и полного поражения, в дверях появился один из только что выкинутых моряков.

— Тебе чего?

— Отдайте лейтенантову шинель.

Шинель нашли, отдали посланцу, после чего его вместе с шинелью выкинули в окно.

Среди наших воспитателей случались очень разные. Коренастый краснорожий солдат морщится от триппера и рассказывает о своих похождениях: как он обладал женщиной, стоя на крыше железнодорожного вагона. Та лишь сказала своей младшей сестре отвернуться.

Один опытный сапёр делился с нами способами, благодаря которым девушка перестаёт сопротивляться.

Нас воспитывали продовольственные карточки. Победы нашей армии нас тоже воспитывали: мы гордились этими победами.

Сталинград

В первый послевоенный год я успешно поступил и учился на танковом факультете Сталинградского механического института. Жил у тётушки Оли на Красном Октябре.

Следует знать, что Сталинград протянулся полосой вдоль берега Волги от Красноармейска на юге до Тракторного завода на севере, через город как таковой, Красный Октябрь и Баррикады. Все эти районы соединял единственный трамвайный маршрут, не считая электрички, которая ходила редко и очевидно не обеспечивала транспортные нужды горожан.

Красный Октябрь, это мощное сталелитейное производство; на Баррикадах изготавливали орудийные стволы крупного калибра, преимущественно для военных кораблей, на Тракторном заводе, понятно, собирали трактора, а в войну танки. Перечисленные заводы осуществляли, таким образом, градообразующую функцию; при каждом был посёлок, как часть города, район.

Институт размещался на Тракторном заводе, и я ездил из дома на трамвае. Трамвай хронически переполнен; сесть в него решительно невозможно. Мы залезали на крышу и руководили движением. По пути к нам подсаживались студенты; если мы видели, что наши коллеги спешат к трамваю, но не успевают, мы опускали дугу. Трамвай, естественно, останавливался, ребята залезали к нам, после чего дугу отпускали, трамвай оживал и катил дальше.

Значительно хуже было тем, кто неосмотрительно сумел войти в салон, а именно, в тамбур. Покинуть трамвай на нужной остановке не представлялось возможным, и бедняги просили пассажиров выкинуть их в окно. Окна в трамвае все выбиты, ребят посильно выбрасывали, но как попало, случалось, что мордой о землю.

Мы были молоды, не бросались в уныние, и всему были рады. Это была наша жизнь, и она нас вполне устраивала.

На первые мои студенческие каникулы домой в Бобруйск я ехал вначале пассажирским поездом до Брянска, затем до Гомеля на открытой платформе с углём.

Сижу себе на угольке, лето, не холодно. Рядом сержант, плотный парень, и мужик с огромным чемоданом. Мужик задремал, а сержант вытащил пистолет и поводил стволом перед моим лицом. Дескать, помалкивай! Затем он взял чемодан и прыгнул с платформы: поезд шел медленно.

Мужик опомнился и бросился за ним, вдогон. Они быстро пропали из вида, и я услышал лишь треск выстрела. От Гомеля до Жлобина я доехал на паровозе, а уж до Бобруйска вполне цивилизованно, электричкой.

— • —

В Сталинграде я жил, как уже сказано, у своей тётушки Оли, родной сестры моей мамы. Тётушка выпросила меня в надежде хоть как-то заполнить ужасную душевную пустоту, заглушить боль и тоску по своим детям, потерянным в войне.

Сын её Анатолий, лейтенант-танкист, пропал без вести под Харьковым (убит, конечно), а дочь Галину угнали в Германию на работы после того, как германский десант высадился в тылу наших войск и отрезал большую группу жителей города, роющих траншеи и противотанковые рвы. Как выдержала этот страшный удар тётушка, понять невозможно; она надеялась и ждала.

В душе её дети, безусловно, живы; никто не сказал, что они мертвы. Однако, окончилась война, возвратились из Германии сталинградцы, угнанные вместе с Галиной, а от дочери никаких вестей. Вернулись фронтовики; подали весть о себе попавшие в плен, те, кто считался пропавшим без вести или даже убитым, шло время, а её дети не возвращались, при полном молчании с их стороны.

Кто-то, еще будучи в Германии, слышал, будто Галя вместе с мужем бельгийцем пыталась бежать в Швейцарию; удалась ли эта попытка или они погибли, как многие тысячи других, никто в Сталинграде не знал.

Тётушка ждала и надеялась. Горе иссушило её, избороздило лицо глубокими морщинами, разрушило здоровье и превратило красивую видную женщину в старуху.

Тётушка ждала и надеялась. Заботясь обо мне, она в какой-то степени отвлекалась от всесокрушающего горя, но что говорить, я ей был слабым утешением.

— • —

В августе 1946 года я возвращался в Сталинград из Бобруйска, где прекрасно провёл каникулы в родительском доме и в кругу школьных друзей.

До Москвы я ехал в полном комфорте, на верхней полке плацкартного вагона, благодаря заботам отца, добывшего для меня хороший железнодорожный билет. Дальше предстояла пересадка на поезд до Сталинграда, и от меня требовалось действовать, во-первых, самостоятельно, а во-вторых, предельно инициативно.

Чтобы понять, насколько сложную задачу мне предстояло решить, надо знать, каким образом в то суровое время люди перемещались из одного пункта страны в другой. Тогда разъезжало с казёнными надобностями огромное количество военных и гражданских командированных служащих. По железной дороге в основном грохотали товарные поезда; пассажирских поездов было крайне мало. Товарняк с различными производственными грузами, да воинские эшелоны, загруженные пушками, танками и прочей оружейной техникой, полностью готовые с хода вступить в сражение.

Вокзалы постоянно забиты пассажирами, стремящимися уехать; люди сидят по несколько суток, а вернее сказать, стоят. Духота, вонь и клопы в деревянных лавках.

Обеспеченным правом проезда пользовались, прежде всего, военнослужащие, затем гражданские командированные; в свою очередь, и те, и другие различались по уровню привилегий, в зависимости от ранга и ведомства.

Распределением билетов ведал военный комендант железнодорожной станции; кассы продавали билеты только по его указанию. Впрочем, «продавали» в данном случае не совсем уместно; в подавляющем большинстве билеты выдавали по литерному требованию, то есть, бесплатно.

Остальным путешественникам доставались те жалкие остатки билетов, которые касса «выбрасывала» и коих хватало едва лишь на одну десятую часть ожидающих пассажиров. Как студент, я представлял собой самый бесправный слой общества, и я сознавал это. Я и в мыслях не допускал, что мне удастся законно, по всем правилам, приобрести билет и войти в вагон полноправным пассажиром. Скорее для очистки совести я подошел к Казанскому вокзалу и попробовал втиснуться внутрь, в битком набитый зал ожидания, через сложные петли и узлы живой очереди, крепко связанной с тремя кассовыми окошечками, затерявшимися где-то там, вдали.

«Если занять очередь, — размышлял я, — то недели через две, три, пожалуй, можно приобрести билет, никак не раньше», — трезво оценил я свои шансы. Такой безнадёжный вариант меня не устраивал, но я не отчаивался. Я дитя своего времени, и указанная ситуация для меня привычна, так сказать, норма жизни; я спокойно принялся разрабатывать

иные способы переезда по маршруту Москва—Сталинград. Таких способов существовало немало, и у меня, слава Богу, имелся значительный опыт по этой части.

Можно добираться товарником, но это на крайний случай; долго и, кроме того, связано с неопределённым количеством пересадок и поиском нужных эшелонов. Необходимо знать точно, что состав идёт если не в Сталинград, то хотя бы в его сторону, а на товарнике маршрут не помечен; вот и гадай, еще завезёт не туда!

Можно попробовать сесть в вагон пассажирского поезда без билета; нормально через тамбур не получится, проводника не пройдёшь, но возможно влезть в окно туалета, если оно открыто. Много риска, заметят — выкинут.

Наконец, есть еще вариант, ехать на крыше вагона. Все эти способы я перепробовал ранее, и понимал, что к чему. В этот раз по размышлении я решил, что проще и надёжнее будет крыша.

Первая трудность, не пускают на перрон без билета. Недолго колеблясь, я сел на электричку и доехал до Голутвино, где мой пассажирский поезд делает первую остановку после Москвы. Дождался его и без помех влез на крышу.

Огляделся. Там и сям во множестве располагались люди с мешками и чемоданами; ездить на крыше тогда было обычным делом. Я поставил свой потёртый чемоданишко возле вытяжной трубы вагона, чтобы держаться за неё и иметь надёжную опору при толчке поезда, присел и погрузился в терпение, в дорожное оцепенение. Поезд шел ходко, ветер сильно обдувал и освежал. Ночь тёплая, не замёрзну.

— Куда едешь, Огурчик? — услышал я, открыл глаза и обнаружил стоящего возле меня во весь рост молодого мужчину с орденом Красной Звезды на бушлате.

— Куда едешь, Огурчик? — повторил он.

— В Сталинград.

— Ну-ка, открой свой угол, покажи, — он наклонился над моим чемоданом.

Второй мужик, его бандитский напарник, тряс узлы женщины метрах в трёх от меня.

«Как я мог их проморгать! Видно, задремал, что делать?» В чемоданчике у меня еда на один день да новый шевиотовый тёмно-синий костюм. Жаль, отберут. Мужики дюжие, в расцвете сил; не мне с ними схватываться, да еще на крыше.

Впрочем, это я теперь размышляю, а в тот момент мне просто безумно не хотелось отдавать бандитам свои вещи, я действовал энергично, на

одном дыхании и, следует отдать мне должное, очень точно. Я не торопясь взялся за ручку чемодана, но тут же вскочил и резко рванул его вверх!

Чтобы удержаться на ногах, бандит невольно ухватился за вентиляционную трубу, а я, используя миг, помчался к заднему краю вагона и в безумном риске, держа в левой руке чемодан, прыгнул вниз, в расчете упасть на межвагонный металлический фартук. Правая свободная ладонь при этом скользила в готовности ухватиться за любой выступающий предмет, чтобы не угодить туда, под вагоны, в погибель.

Попал, грохнулся точно на середину фартука (теперь переходы между вагонами наглухо крытые, а тогда было проще, единственно металлический фартук, как мостик). Пока удача на моей стороне, но бандит уже подошел к краю крыши и заглядывает вниз. Своё спасение я теперь вижу только в вагоне. Шагаю на вагонную лесенку, с неё на подножку и колочу в дверь!

Обозлённый бандит уже спускается по лесенке.

— Буду тебя мочить, Огурчик! — объявил он и щелкнул затвором пистолета, загоняя патрон в патронник. — Кранты тебе!

Продолжаю отчаянно барабанить в двери; громко, криком объясняю, что убивают. Безрезультатно. Остаётся прыгать. Поезд мчится вовсю. Будки, семафоры, рельсы, кирпичи, аппаратные ящики угрожающе мелькают внизу; они наглядно предупреждают, что ни единого шанса для меня остаться в живых не существует. Но и от этого подонка пощады не жди!

Спускается он, однако, медленно.

— Если ты, сволочь, сделаешь еще шаг, полетим вниз вместе! — возможно уверенно заорал я. Истинной уверенности в моей душе, увы, не было. — Я прыгну, подонок! — кричу я. — Но и тебя возьму с собой!

Он, однако, притормозил в явной нерешительности. Видимо, не ожидал от пацана такой агрессии; он колебался. «Если пристрелить, так чемодан всё равно пропадёт», — соображал он.

Я колочусь в дверь отчаянно, но безнадёжно, как муха о стекло. Проводники сами боятся бандитов; им не до меня.

Внезапно, когда я уже потерял последнюю надежду на спасение, дверь распахнулась, и я мешком ввалился в тамбур. Это пассажир-безбилетник; он стоял в тамбуре, всё слышал и решился спасти меня.

Первым движением я запер дверь. Тогда только я обрёл себя, своё соображение и стал дышать. Подошел проводник и стал ворчать, зачем пустили.

— Голубчик, — сказал я, — так убивали меня. Я тебе заплачу.

Он молча взял меня за рукав, ввёл в вагон и указал на третью багажную полку. Я проворно взобрался, притиснулся к трубе и забылся. На следующей остановке, это был Воскресенск, я увидел в окно «своих» бандитов, нагруженных до предела награбленным добром, идущих по перрону к выходу в город.

У меня и мыслей не было о несравнимости возможных потерь: шевиотовый костюм и жизнь! Теперь же, по прошествии времени, я полагаю…, впрочем, не знаю и теперь!

Мой дядя Саша

У каждой семья есть свой скелет в шкафу.

Я не знаю причин нескольким, на мой взгляд, странностям в нашей семье.

Первое, почему отец часто менял место жительства? Второе, что за неприязнь у отца к маминой петербургской родне?

Третье, очевидно, прохладное отношение матушки к своей родной матери.

Догадки у меня есть, но насколько они близки к истине, сказать не могу. Менял место жительства отец, скорее всего, из-за боязни преследования за своё непролетарское происхождение.

Маму ребёнком отдали чужим людям; видимо, этого она не могла простить всю жизнь.

А вот отношение к петербургской родне мне непонятно до сих пор.

— • —

Будучи в командировке в Ленинграде, уже не Петербурге и еще не Петербурге, история этого известна, я, прихватив четвертинку «Столичной» и плоскую фляжку с коньяком, отправился на улицу Чайковского, к дяде Саше.

Помещался он на пятом этаже в двух смежных комнатах большой коммунальной квартиры, которая до 1928 года принадлежала тенору Собинову. Потолки высоченные, красивые, лепные, камин с черной массивной чугунной решеткой, огромная люстра переливается огнями, искрится, как алмазная.

— Люстру и шкаф я тоже купил у Собинова, вернее, у его жены. Жадная женщина, миллионерша. Сам-то уж старый был, а она заставляла его петь, — рассказывал дядя Саша. Небольшого роста, широкинький, вроде карася, он давно вышел в отставку из флота, но продолжал носить флот-

ский костюм, хотя и без погон. Перед отставкой он служил корабельным врачом на славном линкоре «Марат».

— Ну как мама, как папа? — спросил он, и в этом простом вопросе, в интонации голоса, в некоторой робости выразилась тайна сложных и запутанных отношений между семьями. Он занимал его, видимо, с момента моего прихода, и дядя не решался заговорить. Я человек другого поколения, и дядя не знал, можно ли со мной говорить о делах и отношениях, сложившихся много лет назад.

Я глянул на него. — Хорошо. У нас мама самая лучшая, ты же знаешь.

Он страдальчески скривился, закрыл лицо ладонями и затрясся в беззвучных рыданиях. Мой приход, как сильнейший катализатор, вызвал у него лавину и приятных, и невыносимо тяжелых воспоминаний. Они потрясли его.

Я ласково потрогал его плечо.

— Ладно, дядя Саша, ничего, что ты, ничего, ничего.

Он отвёл ладони и через силу улыбнулся; слёзы еще катились из его глаз.

— Как проводишь время? — спросил я.

— Хожу в филармонию; вчера слушал органную музыку Баха. Ты знаешь, некоторые говорят, «тот орган лучше» или «дирижер лучше», а я этого не понимаю, не вижу разницы, конечно, при хорошем качестве исполнения. Но вот, при таком уровне, как в филармонии, я разницы не вижу.

Узкая медицинская специальность дяди Саши — ухо—горло—нос, но человек он любознательный и, выйдя в отставку, стал ваять книгу о Цусимском морском сражении.

— Вот ты инженер, — сказал он, взяв меня за пуговицу. — Если через трубку давить на воду в бочке, бочку разорвёт?

— Да, если бочка полна, герметична и давление очень большое.

— А если бочка неполная? — оживился он.

— Если не полная, то не разорвёт, а воду погонит на заполнение.

— Это точно?

— Точнее не бывает.

Проблема, видно, волновала его не на шутку, и получив мой исчерпывающий ответ, он успокоился и даже повеселел.

— Знаешь, — оживлённо заговорил он, — о Цусимском сражении написано три книги: Новикова-Прибоя, Васильева и немецкого автора, которая не переведена на русский.

Я хмыкнул, показывая этим интерес к предмету, который он затронул, но дядю не провести.

— Да ты читал ли Новикова-Прибоя?

— Читал, читал, — успокоил я его.

— Так вот, он показал адмирала Рождественского как очень скверного человека. Может, это и верно, но вот что я думаю. Новиков-Прибой был другом инженера Васильева, а адмирал этого Васильева очень не любил и крепко его прижимал за то, что тот сам с завода и открыто выражал несогласие с действиями адмирала. Тогда не было флотских офицеров-инженеров, как сейчас, а на корабль назначали инженеров-кораблестроителей.

Так что, если адмирал обижал Васильева, а Новиков-Прибой был тому другом, то логично, он показывал его исключительно с плохой стороны.

Я понял, что дядя сел на своего конька. Время шло, а об ужине он и не думал, а я целый день ничего не ел. Наконец, он засуетился, и это продолжалось довольно долго.

— Когда я выпью, — сказал он, приготовив стол, — то сажусь в той стороне, — и он уселся в своё главное кресло номер один.

И на этот раз разговора о взаимоотношении наших семей не получилось. Тайна осталась.

Я распрощался с дядюшкой, вышел, сел в троллейбус, плотно вжался в мягкое сидение и смотрел в окно. Ехать следовало в Ладогу, за Неву, в суровый заводской район. Представьте моё удивление, когда за окном я увидел сверкающие величественные дворцы. Не надо напрягаться, чтобы понять, я заехал не туда, но волшебный вид зачаровал меня, я остался в троллейбусе и поехал дальше, просто так, без цели.

Вышел, долго гулял, смотрел и вдыхал красоту архитектуры; ранее я и представить себе не мог, что каменные громады такие лёгкие, воздушные и ароматные, как розы.

Однако, наступала ночь и следовало ехать спать.

— • —

Отец мой очень общительный, коммуникабельный человек, и он умел выбирать друзей. Я немало размышлял о людях его круга. Среди них русские, белорусы, евреи: Абросимов, Василевский, Лиакумович… всех уж не припомню.

Отец проводил в их обществе много времени, делился с ними своими охотничьими трофеями: утками и рыбой, и дома с присущей ему выразительностью рассказывал о них весело и уважительно. Помню Абрама Борисовича Лиакумовича. Обаятельный, порядочный, умный, исключительно деликатный человек, ветеринар. Отец не просто уважал его, как мне казалось, он любил его как человека.

С другой стороны, в народе, в памяти его, стойко укоренилось презрение к евреям, неприязнь к ним. Для этого существовали причины истори-

ческого толка, и еще основанные на характере иных представителей этого народа.

Жизнь изгнанников отковала в них высочайшую способность к приспособлению. Сплочённо помогая друг другу, они умеют устраиваться на наиболее выгодные места. В промышленности они главные инженеры и заместители директоров по снабжению, в торговле директора магазинов и главные бухгалтеры, в медицине они врачи, и адвокаты на юридическом поприще.

Их не замечено среди учителей школ, рабочих и крестьян. Не доходное это дело.

Увы, среди них немало людей пронырливых, заносчивых, наглых, высокомерных, зазнаек, но отец умел отбирать своих друзей среди интересных и порядочных.

История, через недоброй памяти Хазарский Каганат, предупреждает об исходящей от них опасности. Российские власти в своё время установили для их проживания черту оседлости, а в Советский период существовал негласный и даже засекреченный запрет на занятие ими руководящих должностей.

Власть им была, таким образом, заказана.

Отец видел неприятные стороны этого народа, но он не был антисемитом. Вместе с тем, отец решительно не хотел, чтобы судьба этого талантливого народа, неугомонного, всюду гонимого и презираемого, коснулась его и его близких. Он решительно отстаивал своё русское происхождение и дистанцировался, хотя бы в глазах окружающих, от еврейства, чтобы ни у кого не возникало ни малейшего сомнения в его русской истинности.

Странно, но он даже боялся походить на еврея, хотя он и не походил на него, ибо был истинно русский человек. Он опасался хотя бы случайно навлечь на себя их беды и гонения и безмолвный, но убийственно красноречивый взгляд любого подонка: «Ты еврей», и презрение. Людям нравится увидеть в человеке еврея, им это приятно.

Самый мерзкий, презренный человек, унизив таким образом другого, ощущает себя выше и значительнее.

К евреям, которых отец не знал, он относился ровно, как ко всем. Вместе с тем, он отсекал любую возможность или намёк на то, что он сам, Василий Иванович, имеет хоть малейшее отношение к еврейскому роду по крови.

Помню, в начале войны в Элисту приехали люди, эвакуированные с Запада, и среди них еврей, тоже Подольский и тоже Василий Иванович.

Батюшку не узнать! Он был вне себя и переживал ужасно из опасения, что этот факт может внести сомнение в его истинно русском происхождении. Возможно, такой настрой происходил от влияния среды, в которой формировался отец; юность его прошла в обществе православного священника, и он пел в церковном хоре.

Вот такое отношение отца к выбору знакомства и к друзьям евреям. Словом, вражды к этому народу у него не было, и лишь тревожила мысль, опасение разделить его судьбу. Вот в чем заключалась двоякость отца по этому вопросу.

Сердечная дружба с милым умницей Абрамом Борисовичем — да!

Принадлежность к его роду — ни в коем случае!

— • —

Сегодня у меня невыразимо тяжелый день. Не стало Алёши, брата моего. Мой поезд прибыл в Могилёв рано утром. С разбитым сердцем прошагал с вокзала к дому. Меня ждали.

Обняв родных, я прошел в комнату. На широкой супружеской кровати, на своей половине лежал на спине Алексей, мой родной старший брат, которого я нежно любил и безмерно уважал.

Алексей очень красивый от природы человек; не той, порою слащавой красотой актёра-любовника, а классической, идущей от своего безусловного начала. Той красотой, к которой интуитивно тянется озарённый творческой энергией истинный художник.

Я смотрел на брата неотрывно, будто притянутый магнитом.

Смерть преображает человека, но одни становятся ужасны и видом своим олицетворяют её, как конец всего и тлен, а другие, напротив, наполняются Божественной красотой и величием. Что Господь желает сказать людям этим преображением, человеку не познать.

Возможно, Господь образно отмечает греховность пройденного жизненного пути человека и страх его в ожидании Суда?

Или, напротив, награждает за праведную жизнь, снимает страх его и показывает отблеск духовного мира, в котором отныне пребывает этот человек? Кто знает!

Красивый при жизни, Алексей оставался таким же и теперь передо мной, лежащий недвижно. Но, если прижизненная красота его отражала природу, она была соткана из чувственных проявлений человека, то отныне эти природные эмоциональные черты потускнели и уступили пронзительному взгляду «Оттуда».

Алексей улыбался. Это была его лёгкая добрая улыбка, привычная мне при нашем общении и, одновременно, мудрость вечности, абсо-

лютное спокойствие, и этот невыразимый таинственный взгляд «Оттуда».

Видите, я пытаюсь, но понимаю, что выразить словами Это мне не по силам. Подобное творческое чудо удалось сотворить лишь одному гению от человечества, да и то единожды, Леонардо да Винчи. Только в улыбке его Джоконды, по моему мнению, больше печальной суровости, и выражает она скорее мудрость женщины как рода.

Будем, однако, справедливыми. Взгляд «Оттуда» великий художник всё же изобразил.

Из старшего поколения Подольских остался я один последний. Все ушли из жизни.

Ступа

На шкафу доброго венгерского дуба, с правой стороны, рядом с двумя черными лакированными китайскими шкатулками, инструктированными благородно желтоватыми пластинами из слоновой кости в виде фигурок древних китайцев, неизменно стоит тяжелая, вместе с пестом полупудовая, старинная ступа.

В семье считалось, что ступа бронзовая, однако, некоторые обстоятельства давали основание сомневаться. Прежде всего, ступа не тускнеет и уж вовсе не покрывается окисной плёнкой обычного для бронзы зелёного цвета. Она стоит на шкафу неизменно сияющая, как новенькая.

Далее, происходит ступа по наследству от прадеда моего Максима Попова, состоятельного подрядчика по возведению церквей. Примечательно, прадед сам оберегал ступу и завещал беречь её, ни при каких обстоятельствах не передавая в иные руки, кроме прямых потомков.

Невольно возникает вопрос, а по какой причине Максим Попов придавал ступе, в общем-то заурядному кухонному предмету, такое важное значение. Размышляли и так и этак, но ни к чему определённому не пришли. Ясно одно, ступа не простая, а некая загадочная ценность. Суть же этой ценности представлялась по-разному.

Возможно, у прадеда со ступой связан успех в делах; он ведь из простого крестьянского рода, и, как говорится, благодаря природной своей смекалке выбился в люди. Или она досталась ему от дорогого человека и высоко ценилась как память об этом любезном друге.

При любом раскладе нельзя отбрасывать и вероятность того, что ступа таит ценность в себе самой, то есть, что она материально драгоценная как таковая.

Да уж, из бронзы ли она отлита?! Вот этот желтоватый солнечный блеск, и то, что не окисляется! Тема тайны ступы неоднократно становилась предметом семейного обсуждения. Находились аргументы «за» и «против».

— Как ни крути, — подытожил я, — ступа очевидно не простая. Вот если предположить, — я обвёл взглядом домочадцев и помолчал, — если предположить, что она из золота, то всё становится на своё место.

У ребят захватило дух; им очень хотелось, чтобы ступа оказалась золотая, но они засмеялись и восприняли мои слова как занимательный застольный разговор и не более того, то есть, не придали им значения по сути.

Дальше пойдут события, которые человеку с разумом, безнадежно испорченным материалистическими воззрениями, не понять и не принять.

С некоторых пор стали мы замечать странности, непонятные сами по себе, но имеющие очевидное отношение к вышеуказанному предмету. Временами, без всякой внешней причины, ступа издавала мелодичный звон, будто её трогали лёгким нежным толчком.

Собственно, звоном её звучание называть не совсем верно; скорее, этакая мелодичная вибрация, вначале отчетливая и длительная, но постепенно слабеющая, до полного растворения в эфире, настолько постепенно, что трудно с точностью утверждать, звучит она или уж нет.

И вот, еще я обратил внимание, что ребята стали обходить ступу. Както, в минуту откровения, они признались, что возле неё невозможно врать, не получается.

Исчезают слова, мутится в голове; чтобы говорить от души, они уходили в кухню, подальше. Я натурально отнёс это к детским фантазиям. Сам был когда-то таким же.

Ничего иного ступа не выказывала, а звучание, так мало ли какие звуки раздаются в природе. Словом, мы не придали всему этому никакого далеко идущего значения.

— • —

Потомки добросовестно исполнили волю прадеда. Даже когда в начале войны германская эсесовская дивизия «Мёртвая голова» подходила к Волге и власти эвакуировали семью в Казахстан, ступу взяли с собой, и это несмотря на её очевидную тяжесть и, в определённой степени, обузу.

— • —

Когда человек уходит из жизни, все связи с ним обрываются; всё, что он знал, но не договорил, становится недостижимым. Узнать правду о событиях, к которым он был причастен, невозможно, и все эти знания переходят в вечно тайное и непостижимое. Сколько важного для живущих пропадает втуне!

Ах, как хотелось мне пробить эту непроницаемую стену между жизнью и смертью и заглянуть!..

Однако я, как здравомыслящий человек, хотя и глубоко верующий в Господа нашего Иисуса Христа, но совершенный рационалист, понимал неосуществимость своей мечты. Возможное для Него недоступно простому смертному. Так я полагал.

Однажды глубокой ночью, измученный бессонницей донельзя, я без всякой конкретной мысли, а скорее по наитию и в попытке отвлечься, снял со шкафа ступу, поставил её на широкий мраморный подоконник и отдёрнул шторы. Передо мной распахнулся восхитительно прекрасный вид: роскошный лесной массив, уходящий от самого дома за горизонт, ярко освещенный луной во всей её полноте и блеске. Зелено-

ватый луч сверкнул в окне и сфокусировался на ступе, которая тут же волшебно изменилась и предстала по-новому в таинственном лунном свете.

Я коснулся ступы рукой, и лунная энергетика ощутимо заструилась мне в ладонь; треснуло подобно электрическому разряду, нежно зазвенела ступа, и… я обнаружил себя на сверкающей под солнцем, пронизанной сиреневым светом поляне. Луна исчезла.

От этой внезапной перемены, испуга я, однако, не ощутил; место мягко и доброжелательно обволакивало меня. Я услышал голос, поначалу вроде незнакомый, но в котором вскоре ощутилось нечто своё, во всяком случае, совсем мне не чужое. Я удивился. Интуитивно, каким-то седьмым чувством, я узнал его, хотя, понятно, меня и на свете не было, когда он ушел из жизни.

— Здравствуй, прадедушка Максим, — просто сказал я.

— Здравствуй, а ты из каких будешь?

— Подольский я.

— Подольский? Да уж, не Ивана ли внук?

— А, а, от Аксиньи, значит. Да, Иван хороший мужик; он мне нравился. Степенный и работящий, только не было в нём моей деловой изворотливости.

— Кто первый из вас скончался, дедушка Иван или ты?

— Иван, не я. Слава Богу, не застал этой окаянной новой власти.

— Ты разреши звать тебя дедушкой, а то как-то прадедушкой неудобно. Так не говорят.

— Давай, милок, называй.

— Дедушка, что ты знаешь о сегодняшней нашей природной жизни?

— Да ровным счетом ничего. Что-то из своего прошлого еще помню, а твоё сегодняшнее, нет, не знаю.

— Как ты теперь представляешь себе природную жизнь, когда ты уже находишься в ином мире?

— Да как, обыкновенно, было и было. Мать-то у тебя кто?

— Мария.

— Маруся, это же какая Маруся?

— Приёмная дочь Самарских. Знал таких таких купцов в Камышине?

— Как же, о, гильдия!

— Сам-то ты не гильдия?

— Может, и гильдия, да я как-то не задумывался, — он замолчал. — Тебе, значит первому открылось оконце.

— Не знаю, первому ли, но открылось, только не знаю, за какие заслуги.

— Ты так не говори! — строго произнёс он. — Господь знает. А отец-то твой кто?

— Василий.

— Вася? Моей Саньки сын, — он снова задумался. — Вот, Мишка у меня был, Башка! Даже не знаю, в кого; жалко, ушёл рано.

— Не плачь, дедушка. Ты здесь, оказывается, и плакать можешь?

— Это как бы о прошлом. Теперь я совсем иное.

— Плакать-то тебе разрешают?

— Эх, ты, ничего не знаешь и не понимаешь!

— Общение у вас есть?

— Только по крови.

— Дедушка, откуда у тебя ступа?

— Ставил я церква, жил в достатке и разгульно! Но вот задумался о душе. Молился и томился сердцем, что не узнаю про своё потомство и куда пойдёт мой род. В какой-то срок мне сказано: «Захвати заступ, ступай и возьми!» Я тут же поднялся и зашагал, как во сне, но чуя сердцем, иду правильно, а что значит «правильно», не понимаю.

Ведомый, пришел в поле, твёрдо зная, воткнул заступ в землю и копнул на штык. Звякнуло, и вот она, ступа. И еще сказано мне: «Молись, и вещь сия станет окном для потомков твоих к тебе и иным усопшим из рода твоего. И они услышат их».

— Иного общения нет? А как же спиритизм, призраки и прочее?

— Ерунда. Выдумки людей и мошенничество, самообман. Общение возможно только через молитвы и добрые дела.

— Что ты скажешь о рае и аде?

— Это притчи, аллегории, понятые людьми безхитростно, по темноте своей. За греховную жизнь людей наказывают недопущением к вселенским знаниям. Это и есть ад; он страшнее тех мучений, которые показывают на рисунках. Пока тебе этого не понять, а я не силах объяснить.

— Куда движется ваше состояние?

— К вселенскому совершенству.

— А дальше?

— Не знаю, так же, как ты не знаешь наш духовный мир. Пока знаю одно: рай — это место, где живёт душа, очищенная от грехов. А теперь уходи, пора.

— Дедушка! — возопил я.

Тишина. Лишь огромный сверкающий диск луны и холодный, безмолвный блеск полированной ступы. Связь с дедушкой Максимом оборвалась.

Тщетно я всматривался в ступу, трогал её ладонями, пытаясь внутренне слиться с нею и снова проникнуть в только что исчезнувший мир, ощутить себя в нём, продолжить общение с прадедом. Охваченный сильнейшим возбуждением, измученный, я долго не мог заснуть, крутился в постели и, наконец, провалился в сон.

Последующие ночи я неизменно проводил возле ступы, даже накрывался с головой вместе с ней для большей слитности, всё напрасно и безрезультатно. Стал размышлять в мельчайших подробностях, каким же образом я в тот удачный момент проник в таинственный мир. Повторял попытки, но, увы, с тем же огорчительным результатом.

Всё же, благодаря своему терпению, я пришел к убеждению, что таинство происходит именно в полнолуние, только в максимум его и очень краткое время. Оставалось точно определить этот краткий момент, терпеливо дождаться его, и ни в коем случае не пропустить. Так я полагал. Я многократно сверился с календарём и тщательно подготовился.

Задолго до расчетного момента я бережно установил свою драгоценную ступу на мраморный подоконник и, не отходя ни на секунду и не отрывая от неё глаз, с величайшим терпением и едва переносимым волнением ждал. На этот раз моё терпение было вознаграждено.

Я ощутил, как лунная энергетика заструилась мне в ладонь. Раздался уже знакомый мне треск разряда, я обнаружил себя на той же самой сверкающей сиреневой поляне, и тут же задохнулся от нежности.

— Мама! — родная волна проникла в меня. — Что было самое ужасное в твоей жизни?

— Много чего, сынок, но самое страшное — это потеря Пети на войне и страх за Лёшу. Еще когда мы ехали в Бобруйск, скверные люди отняли у меня чемоданчик, а в нём Петины фронтовые письма, фотографии… Будто я ещё раз потеряла своего сына. Вот, еще смерть маленького Коли, а остальное — так, житейские мелочи, неудачи, чепуха… Страшно только терять детей!

«Вот так, только потеря детей! — подумал я. — Только потеря детей есть истинное горе для матери!»

— Мама, ты видишься с Петей? — спросил я с волнением.

— О да, и это великое счастье!

Общался я и с дедушкой Иваном, и с тётушкой Олей. Бабушка по матери не устремилась к разговору со мной, а как-то стеснительно молчала, однако внезапно жадно вгляделась в меня и прошептала:

— Это Марусин.

В беседе с родными я неизменно касался главного для меня вопроса, который беспокоит человека в тех редких случаях, когда он посильно отрешается от природы и размышляет о своей духовности.

«Что ты есть и для чего ты здесь?»

Сознаюсь. Я не созрел до понимания полученных ответов. И это мягко сказано, хотя они всё же кое-что к моему познанию духовности добавили.

Теперь я знаю, что наряду с сиреневым миром, наполненным знаниями о сути и судьбе природного человека, миром сумрачных ощущений, позволяющим проникнуть в собственное «я», существует еще духовный мир общения с ушедшими родными людьми.

Молитвами и добрыми делами мы сообщаем свои чувства туда, к ним, но истинное осязаемое общение подарил мне мой родной прадед Максим Попов через свою ступу.

Эти встречи неизменно вызывали во мне ощущение собственной вины; просыпалось запоздалое покаяние перед родными за поступки прежних лет. Ощущаю душевную боль, мне всё кажется, что я был недостаточно внимателен и заботлив в отношении своих родителей, несправедлив к тётушке Оле, проявляя юношеский эгоизм и тем огорчая её.

— • —

Тяжко давались мне возвращения после встреч с родными. Особенно сегодня.

Я завис во времени и томился в непонимании себя, пока не зацепился за реальный и надёжный ориентир, асфальтовую нашлёпку на Странном шоссе. Осторожно, страшась затеряться, я ступил на неё и тут же невдалеке увидел ступу. Решился и зашагал по шоссе от нашлёпки к ступе и дальше, по пути воспоминаний и осознания себя в этом моём природном мире.

Я внимательно вгляделся в шоссе и различил его; оно постарело и покрылось трещинами, как морщинами лицо старика. Вдалеке, но отчетливо завиделся среди болот оазис воинского захоронения. Заскоблило сердце.

Я вошел через калитку в квадрат, составленный из высоких тополей и, как подрубленный, пал на колени перед надгробием Петра, моего брата.

— • —

Как уже сказано, тётушка Оля в войну потеряла своих детей. Томилась, металась, страдала в неизвестности о Гале, а позже получила похоронку на Анатолия и погрузилась в бездну горя.

Вот что стало мне известно из разных источников. Галя, угнанная в Германию, осталась жива.

В конце войны российские люди, попавшие в Германию не по своей воле, пребывали в растерянности. Если в течение войны мысли и дела сужались до элементарного «выживания», то теперь надо решать куда ехать. По слухам и всяко, знали, что союзники теснят германские армии с запада; Россия стремительно рвётся с востока.

Казалось бы, ясно, домой, на родину! Большинство людей решительно планировали возвращаться домой; то, что на родине их станут преследовать за плен, думать не хотелось. Иные, напротив, полагали, что возвращаться домой им никак не возможно, ибо ждёт их на родине, в лучшем случае, сибирский тюремный лагерь. Дорога только на Запад!

Многие не знали, на что решиться.

Горе тебе и позор, несчастная, непутёвая Россия, если ты, родина, не можешь принять, обласкать, обогреть, накормить и защитить измученных детей своих, вынуждаешь их искать себе приют на чужбине.

Галя с Фёдором, мужем своим, по размышлении твёрдо решили стать «невозвращенцами». Их решению благоприятствовало то обстоятельство, что они по воле германских властей оказались на западной стороне; с приходом союзников их поместили в лагерь для «перемещённых лиц», где они с тревогой ожидали свою судьбу. Имели место опасения, что Советская власть могла потребовать от союзников выдачи всех россиян. Однако, обошлось.

В Германии они прожили более двух лет, но послевоенная страна, разрушенная и униженная поражением, представляла собой малопривлекательное и слабо пригодное для проживания место. Кое-как перебивались и жили ничуть не лучше, чем Галя у своей богатой госпожи-благодетельницы, а Фёдор на заводе.

Еще в Германии у них родился сын, первенец, которого назвали Львом, в мою честь — как двоюродного брата Гали.

Через год, собрав всякого вида справки, семья отплыла на теплоходе в Соединённые Штаты Америки, с надеждой полагая, что это их земля «обетованная». Там трудовая жизнь: Галя на авиационном заводе фирмы «Дуглас», в цехе сборки всяких магнитных штучек-дрючек, а Фёдор техником-конструктором на том же заводе в бюро по проектированию боевых и гражданских аэропланов. Он по образованию авиационный инженер.

Постепенно укрепились, оперились, купили в рассрочку дом в Спрингфилде, это недалеко от Бостона; дом с небольшим садом, зимним бассейном и со всеми мыслимыми удобствами. Фёдор всю жизнь гордил-

Галя (Германия, 1945 год)

ся своим этим жильём и благодарен Америке, приютившей его семью и давшей такую устроенную жизнь.

Родили сына Юрия и дочь Наташу; жили, поднимали детей, дали им хорошее образование. Словом, стали Галя с Фёдором истинно американцами!

Время, однако, течёт быстро; с возрастом они вышли на пенсию и жили себе, благоденствовали в своём прекрасном доме обеспеченно и довольно. Фёдор, человек верующий, христианин, пел в церковном хоре и исполнял обязанности казначея церкви в этом маленьком православном мирке русских людей, затерявшемся на севере Штатов, неподалёку от Канады.

А вот дальше не знаю, как вести рассказ. Разум мой отказывается служить и понять ту нелепую, страшную нечеловеческую государственную систему, которая называлась Советским Союзом, созданную гениальным злодеем, грузином-кормчим.

Мать не знает, где её дочь и жива ли, а дочь, опасаясь нанести вред матери, молчит о себе. Вот и получается, любовь дочери убивает мать. Это же надо придумать общественное устройство, власть, такую химеру, которая творит такое!

Галя с мужем Фёдором Коноваловым (США, 1989 год)

Молчали до 1987 года, боялись, что пострадает каждый, кому они себя обнаружат. Я же честно сообщал в анкетах: «за границей родственников не имею». Скажи я не так, и моя служебная карьера загублена. К этому времени тётушка Оля, с быстро постаревшим от горя сердцем, скончалась. Овдовевший отец Гали, Яков Алексеевич, женился, но вскоре и умер.

Первая весточка от Коноваловых, такова фамилия Фёдора, пришла ко мне и к Алексею: они купили себе туристические путёвки в Россию, предполагая встретиться с нами и посетить могилы родителей. Просили узнать место захоронения. Несказанно обрадованные тем, что наши родные оказались живы, этим чудом, я, племянник Юра и мой Дима немедленно отправились в Сталинград, или, если угодно, Волгоград (теперь он назывался так), чтобы выполнить их просьбу.

Поездка нам удалась: после изрядных поисков мы отыскали место, и не на Красном Октябре, где они проживали во Французском посёлке завода, который французы строили еще при царе, а на городском центральном кладбище. Такое местоположение было для нас странным, но главное мы сделали, могилу отыскали.

Приехали наши «американские туристы», состоялась трогательная сердечная встреча с застольем; взаимным рассказам не было конца. После чего Коноваловы отправились в Волгоград, где и осуществили главную цель своего пребывания в России.

— • —

Страна наша в это время находилась в глубочайшем кризисе. Советская власть доживала свои последние дни; она агонизировала.

Коноваловы ощущали себя состоятельными людьми, гражданами великой Америки, и, увидев наше убогое жизнеобеспечение, нашу неустроенность, хроническое отсутствие самых необходимых продовольственных и иных товаров, два—три года высылали нам и всей своей родне деньги, продовольственные и вещевые посылки.

Всё у них шло путём, но вот навалились на них беды.

Заболела Галя, неполадки с суставами: дикие боли, невозможность ходьбы, перенесла несколько операций, лечение всякими препаратами, впрыскиванием в кровь золотого раствора и прочее, и прочее. Всё тщетно, болезнь прогрессировала. Вскоре оказались пораженными все суставы, инвалидная коляска, затем слегла полностью, болеутоляющие наркотики, приходила в себя не более, чем на полчаса. И всё, Галя скончалась.

Беды на этом не закончились: через месяц после похорон матери Лёва упал, спускаясь в подвал по лестнице, не один раз ударился головой о ступеньки, сильно разбился и, не приходя в себя, скончался.

Как Фёдор всё это выдержал, мне не понять.

Лёва жил у отца после урагана во Флориде, который разрушил фирму, где он служил; фирма прекратила своё существование, и Лёва остался без работы.

Фёдор позвонил нам и сообщил о случившемся. Я молился за души моей сестры и её сына, и утешал Фёдора, как мог, по телефону и в письмах.

Фёдор остался один. Юра и Наташа живут во Флориде и при таком расстоянии не имеют возможности находиться постоянно возле отца. Больной, старый, сгорбленный, он всё еще управляется в доме, ездит на своём «Крайслере» в церковь и продолжает посильно быть казначеем в церкви.

Мы с ним обмениваемся письмами, звоним. Но с такой болью даются мне эти письма и переговоры, ибо не знаю, как с Федей при его-то бедах разговаривать.

Трудно это.

Пятьдесят лет спустя

Еще в 1943 году из страшной похоронки мы узнали о гибели Пети. Вот её текст: «Ваш сын, старший лейтенант Подольский Пётр Васильевич пал смертью храбрых… в боях под Старой Руссой». Однако, бумага не сообщала, где точно это место, чтобы возможно было поехать, постоять в скорби, поклониться праху родного человека, положить цветы к его изголовью. Знать, что Петя покоится именно здесь, и он, хотя и ушедший из жизни, но находится в известной нам могиле, реальной для нас, а не где-то там, «под Старой Руссой».

Лишь через полвека нам сообщили: «Воинское захоронение, деревня Загоска Парфинского района Новгородской области». И вот в жаркое июльское лето 1990 года я отправился по указанному адресу.

Из Москвы ехал ленинградским поездом, а в Бологом, прождав два часа и начисто съеденный комарами, в изнеможении плюхнулся в вагон псковского поезда. Вагон старенький, истинно раритет, расхлёстанный, раздолбанный, с битыми стёклами окон и грязным жёлтым, мерзкого вида гальюном. Остановки по расписанию частые, но сдаётся мне, стояли и просто так.

Но комаров не было.

Худо-бедно, часам к одиннадцати догромыхали до станции Парфино. Покинул вагон. Зной. Спрашиваю у мужиков, сидящих на бревне в тени громадного тополя возле маленького вокзала: «Где воинское захоронение?» Показали рукой направление.

Я вышел на асфальтированное шоссе, устроенное на высокой насыпи и уходящее к западу по совершенно болотной равнине. Трёхметровой высоты насыпь шоссе, и вокруг, сколько видит глаз, болото; комары, слепни, мухи тучами ждут путника, накидываются на него и пьют кровь. Редкие деревья, кустарник, и всюду проблески воды в траве.

Сразу за железной дорогой, слева река Ловать, впадающая в озеро Ильмень, символ обитания древних славян. Не видя ни автобусов, ни попутных машин, я двинулся по шоссе, не зная, сколько пройти; аборигены сказали, восемь с гаком. Мне ходьба привычна и не в тягость, если бы не летающая нечисть; нет от неё спасения. Ветер отогнал бы летающих кровососов, но, увы, ветра нет. Солнце палит огнём, но кепка спасает.

Иду. За весь путь меня обогнала одна, и то переполненная машина. Слева по-прежнему Ловать и её заливы. Но вот впереди завиднелось, отчетливое на плоской равнине, квадратное место, ограниченное высоки-

ми деревьями, очевидно, высаженными людьми. Чем ближе я подходил, тем более убеждался, по расположению и форме, что это, несомненно, Захоронение.

Уже видна железная ограда по периметру и серые асфальтовые дорожки, подбегающие радиусами к центру. Волнение моё нарастало. Найду ли то, ради чего приехал? Прошел по дорожке к железной, окрашенной суриком калитке и проник внутрь. Там, также по периметру, чередой с интервалом в два метра расположились мраморные надгробия. Каждое густо покрыто фамилиями сраженных в боях воинов.

Стал читать, начав с первого слева. Звание, фамилия, имя, отчество, год рождения. Прочитал не менее сорока фамилий, перешел к следующему надгробию, к следующему, к следующему…

Все молодые люди от восемнадцати до тридцати лет, цвет, опора и надежда нации! Убит, убит, убит…

Да как же это, как можно? Что за мироздание? Кто придумал такое душегубство? Читаю. Сердце на пределе от душевного напряжения. Жду найти родную фамилию и страшусь увидеть её. Но вот, на девятнадцатом надгробии, когда справа оставалось их не более десяти, по прочтении его в середине списка мне в глаза молнией ударило: «Старший лейтенант Подольский Пётр Васильевич, год рождения 1922».

Ноги мои подкосились; от долгого ожидания в напряжении и волнении сердце зашлось, сознание помутилось, слёзы невольно хлынули из глаз. Всё напряжение, в обилии накопившееся за годы и особенно в последние часы, вылилось в трудное и вместе с тем облегчительное рыдание.

Хоть такого Петю, в виде надгробия и одной строки на нём, обелиска и квадратного захоронения, деревни Загоска и станции Парфино, но я отыскал!

Я опустился на колени с ощущением некоей своей вины, хотя какая вина могла быть у меня, тогда еще мальчика, когда бессовестные политики и бездарные полководцы убивали моего брата!

Я стоял на коленях и говорил с Петей, как с живым; рассказал ему, как мы жили все эти годы, как мама наша несколько лет была в безумии от горя, и как едва не помешался отец, как мы, несмотря ни на что, надеялись увидеть его живым.

Не знаю, как долго продолжался мой рассказ. Я поднялся на еще слабые ноги и тихонько пошел в обратный путь. Напряжение отпустило меня после завершения праведного дела и исповеди.

Удивительное и странное дело. Война убила Петю, покалечила Алёшу, лишила жизни миллионы, миллионы! людей, созданных по образу и

подобию Господа, повергла в нечеловеческие страдания народы, а я, полковник, более тридцати лет создаю оружие для этой проклятой войны. В какие же противоестественные несообразные ситуации, в парадоксы кидает судьба человека!

Я ненавижу войну и политиков, готовящих её.

Мои дети

Правдивое повествование о двух милых мне детях в очаровательный период их раннего возраста, так знакомого, но, увы, быстро забываемого человеком. Период, когда он жадно впитывает в себя опыт окружающего мира и набирает силы для жизни.

Зарисовки, воспоминания, рассказы родных людей, очевидцев, и ни слова выдумки или даже благородной фантазии. Ничего такого, что, пусть даже с похвальным желанием приукрасить, скажем, из воспитательных соображений, но противоречит правде, то есть, отображению реального образа реальных детей.

— • —

У нас с Тоней двое ребятишек: восьмилетняя дочь Оля и сын Дима на четыре года младше.

Дима вспоминает:

— Я лежал в кроватке, в роддоме, и слышу: «Дима, Дима!» Мама услышала и сказала, вот тебя и назовём Димой. И назвали.

Оля возмущена:

— Ты, Димочка, лежал маленький и не мог ни одного слова вымолвить. Ты только ручками и ножками шевелил.

Дима научился говорить довольно поздно, к двум годам, но это обстоятельство меня не огорчало: баба Маня, наша давнишняя соседка и авторитет, уверяла, что это нормально, ибо мальчики менее сообразительны, чем девочки.

Первые три слова — «папа», «мама», «баба», а также слова детского сленга типа «ням-ням» и «бай-бай», он знал уже к одному году, и вот четвёртым словом стало «семь». Почему «семь», понятия не имею; слово-то не кажется таким уж необходимым малышу, но факт есть факт. Выговаривал он его четко, и очень любил, пока не научился иным словам.

Как-то в воскресенье мы отправились в магазин на Щукинской улице, который до прошлого года имел честь быть филиалом Центрального военторга. Теперь это заурядный универмаг, а от военторга остался

небольшой прилавок с чисто воинскими товарами; здесь продавали пуговицы для обмундирования, петлицы, погоны, асидол, конфеты, пряники, сигареты «Шипка», игральные карты и прочие предметы, необходимые солдатам в их воинском быту.

Тоня вошла в магазин, а я с Олей и Димой остался на воздухе, возле универмага. Солнце сияет, снег искрится, мягкий морозец уничтожил сырость, сделал воздух приятным и улучшил настроение.

На этот раз продавали резиновые женские сапоги, и Тоня, естественно, встала в очередь.

— Дима, — спросил я, — сколько будет три плюс четыре?

Дима посмотрел на меня весёлыми глазками и мгновенно ответил:

— Семь!

Вокруг произошло мягкое движение; на нас обратили внимание. Будь я на месте этих людей, наверняка заинтересовался бы. В самом деле, мальчик почти в пелёнках, а знает арифметические действия.

— А теперь скажи, сынок, сколько будет два плюс пять?

— Семь! — был ответ.

Мы оказались в плотном окружении. Бабка ахнула:

— Сыночек! Да неужели считает? Так ведь, такая крошка!

Я понимал: фокус должен быть коротким, иначе нас раскусят, и поэтому задал последний вопрос:

— Димочка, крошка, а сколько будет, если четырнадцать поделить пополам?

— Семь! — не задумываясь, отрапортовал малыш. Я проявил мудрую осторожность и больше Димку не пытал.

Люди смотрели на моего Диму с восхищением, даже молодые мамаши, которые обычно ревниво реагируют на успехи чужих детей. Математические способности моего сына оказались настолько поразительными и даже невероятными, что подавляли воображение.

Некоторое время я грелся в мощных лучах Диминой славы, но всё же быстро увёл его, ибо заметил, что отдельные чересчур любознательные граждане пытаются подвергнуть Диму дополнительной проверке. Словом, мы ушли вовремя и в зените славы.

— Вот это отец того ребёнка, — сказала старушка своей дочери, показывая на меня пальцем. — А с виду человек обыкновенный, — добавила она.

— • —

Плотно пообедав, что, признаюсь, со мной случается нередко, хотя постоянно даю себе зарок посильно ограничиваться, я уложил детей

Математик Дима

спать, а сам рухнул на тахту, строго наказав не шуметь и меня не беспокоить. Уснул.

Вскоре, однако, сон мой стал прерываться, ибо ребята затеяли шумную возню. Запустив мозги на самые малые обороты, я попытался вникнуть в суть дела. Оказывается, ребята не могли мирно поделить своего папу, то бишь, меня. Каждый кричал: «Мой папа!» «Нет, мой!» — возражал другой.

«Чудаки», — подумал я растроганно. Нашли о чем спорить. Оба вы мои. Однако, спор разрастался; стороны пошли на недозволенные приёмы.

— Мой папа, — и Ольга коленкой нажимает мне на живот.

— Нет, мой! — и Димин локоть проезжает по моим рёбрам.

Желание спать столь сильно, что, несмотря на вышеуказанные помехи, я всё еще пребываю в дремоте. «Милые детки, — думал я, — нельзя ли выражать свою преданность вашему папочке полегче?»

Образовалась такая диспозиция: я лежу на боку, Оля улеглась за моей спиной, устроив из меня крепостную стену. Дима прижался ко мне мор-

Оля и Дима

дочкой по другую сторону. Всякий раз получалось, что если один пытался огреть другого, попадало неизменно мне.

Но вот бойцы перешли в ближний бой, для чего уселись на меня верхом. При этом Оля сидела на верхней части моей груди, плотно прикрыв своей тёплой попкой мой рот и нос, а Дима укрепился на животе. Раз за разом они подпрыгивали, сокрушали мои внутренние органы и выбивали сон.

— • —

Утром Дима наелся каши и, приблизив мордашку вплотную к моему лицу, спросил, заранее хитро улыбаясь:

— Ты в лесу был?

— Был.

— Волков боялся?

— Боялся.

— А собаков боялся?

— Нет.

Дима не знал соль этой игры: на моё «нет» он должен помахать рукой перед моими глазами, испугать. Вместо этого он продолжал перечислять:

— А Бабу-ягу боялся?

— Нет.

— А медведев боялся?

Ольга не выдержала и решила подсказать, но он закричал:

— Не лезь, Оля! — чтобы заглушить её, он громко затянул, — а, а, а…!

Оля махнула рукой и отошла, а Дима сел пить чай с сахаром. Пил пыхтя и долго, чтобы не осталось на донышке чашки самого сладкого. Потом позвонил врачу.

— Дмитрий, четыре, восемь, пять. Алло! Это врач? Приезжай, у меня Мишка заболел; на улице заболел. Я же не могу приехать! Приедешь? Ну, давай.

— • —

Утром сидим в кухне, завтракаем. Оля рассказала, как её коллега Баранов, ученик второго класса, на уроке вытащил яйцо, баночку с солью и хлеб с маслом, постелил клеёночку, завесил грудку простынкой и покушал.

— Вот видишь, — заметил я, — какой аккуратный мальчик, не то, что вы, макаки. Небось, лазали по стенкам и одновременно жевали.

Ребятам это показалось таким смешным, что у Димы от смеха каша полезла из носа, а Ольга забулькала в стакане с чаем.

— • —

— Папа, будем играть в театр.

Он вступил на середину комнаты, подтянулся и звонким голосом начал:

— Выступает нескладный оркестр! Народный артист республики Дима Подольский. Песня «Родина зовёт», — и он запел.

— Утя-утя, длинный нос, купил Диме паровоз. А теперь начинается спектакельный театр! — продолжил Дима. — Ёлочка красивая, большая, румяная, весёлая. Сейчас я побегу! Сюда, ребята!

— • —

— Вот, папа, — сообщила Оля. — Буряков, тот самый, что шоколадки ест, принёс курицу, почти целую, и съел её. Тетрадку по арифметике дома оставил, а курицу не забыл!

Моя жена Тоня

— • —

— Чем чай пить, лучше бы мусор отнёс, — справедливо заметила Тоня.

— • —

— Ты меня, папа, не буди, когда ночь, — попросил Дима. — Я сам разбужусь и приду к тебе, ладно?

— • —

Мы с Димой гуляем в лесу. Он и Света четырёх лет играют в дочки-матери. Кто из них дочь, кто мать, я не понял, но кашу они варили и кулич пекли.

Света подошла ко мне, взяла за руку и сказала:

— Мой папа.

Дима погрустнел, молча некоторое время постоял и произнёс:

— Папа, нам пора. До свидания, Света.

Поднимаясь по лестнице в квартиру, Дима объяснил причину нашего спешного ухода домой:

— Если бы тебя, папа, забрала Света, у меня не осталось бы папы.

Я обнял мальчика и твёрдо сказал:

— Я никогда, никогда не уйду от тебя, Дима!

— • —

— Лев забрался в клетку и начал спать, — рассказывает мне Дима. — Заходите, дяденька, в клетку, не бойтесь Льва! Папа, давай играть во Льва.

Потом он подошел к окну и принялся вертеть луковицу, пустившую корни в баночке с водой.

— Дима, перестань терзать лук, он же погибнет! — сказала Тоня.

— Слышишь, Дима? — поддержала её Оля. Она не пропускала случая покомандовать, и это сильно раздражало Диму. Слова родителей он воспринимал как должное, но чтобы Оля указывала ему, это просто нестерпимо.

— Молчи, Олечка, тебя не спрашивают, поняла? А то получишь! — он еще долго ворчал на Олю, придумывая и находя всевозможные доводы для своего недовольства ею. Нашел бумажку, якобы изрезанную Олей, и поругал её за это, и ещё, и ещё…

Потеряв терпение, Тоня одним шлепком пресекла его ворчание. Тогда он надел мою военную рубашку, сидевшую на нём, как плащ, навесил саблю, нахлобучил фуражку и принялся маршировать по комнатам.

— • —

Удивительное дело, достаточно мне зайти в туалет, как всем сразу понадобилось то же. Время от времени человек подходил к двери и деловито спрашивал, скоро ли я выйду. Особенно допекал Дима; он дотошно и в подробностях выспрашивал:

— Папа, ты где?

— Здесь, — отвечал я.

— Где здесь, в туалете?

— Да.

— А что ты там делаешь? — я молчу.

— Папа, я спрашиваю, что ты там делаешь? Папа, скорее выходи.

— Ладно, Дима.

— Папа, ты что, спишь там? Что так долго?

Оля возмущена и ругает его:

— Что ты пристал к папе. Дай ему посидеть в туалете.

Наконец, я выхожу под радостный рёв Димы.

— • —

— Папа, накорми меня кашей.

— Нет, Дима, — возражает Оля, — мама тебе десять ложек, а папа только одну!

— Нет, Оля, я все ложки съем.

— • —

— Мамочка, давай играть в дочки-матери?

— Давай, — согласилась Тоня.

— Ты, мама, будешь дочка, а я мамой. Доченька, иди гулять, — разрешил Дима строгим голосом. — Только сначала пописай.

— Я не хочу.

— Хочешь, хочешь, я вижу, ты даже дрожишь!

— • —

Дима расшалился. Я за него заступаюсь. Типичный четырёхлетний мальчик, в меру капризный. Что мы, как цепные псы на ребёнка?

— Папа, можно я пойду без шапки? — спрашивает он.

— Можно.

Он снимает шапку и удовлетворённо произносит:

— Ну вот, как хорошо, голова теперь пустая! — и он погладил себя по головке.

Он задал мне два вопроса.

— Мало времени, папа? — он имел в виду, что спать еще не пора.

— Мало.

— Почему мало?

Если на первый вопрос я ответил четко, то на второй, хоть убей, ответить не в состоянии.

— • —

Я спел песенку, и ребята так смеялись, что попадали на землю, а потом Димуля смотрел, смотрел на меня, потом нарисовал и сказал:

— Это ты.

Он забрался ко мне на колени и обнял.

— Папа, ты знаешь, почему я тебя люблю?

— Нет.

— Потому что у тебя палец болит, а когда не болит, я тебя тоже люблю.

— А почему балуешься?

Он уклоняется от ответа и заявляет:

— А зачем я тогда тебя в кровати поцеловал? Вот потому, что люблю.

Я задремал.

— Папа, ты спишь сквозь сон?

— Дима, я тебе нашлёпаю по тормашкам.

— Полетел вверх тормашками! — радостно закричал он.

— • —

Я полагаю необходимым поощрять инициативу ребёнка. Вот, скажем, вышли гулять: ранняя весна, всюду вода и грязь, не ландшафт, а болото. Жена в этой ситуации непрерывно давит на ребёнка, гасит его инициативу.

«Дима, не лезь в грязь! Дима, куда забрался», и так далее. У меня всё наоборот. Я делаю вид, что лезу в грязь. Дима замечает это и говорит:

— Папа, дай я сам пойду, папа, не ходи здесь, ты хлюпнешься. Сейчас мы пройдём по сухонькому. Да, папа?

— • —

Мы гуляем в лесу, не торопясь движемся по тропе. Дима не переставая делится своими впечатлениями.

— Дяденька сидел на скамеечке, рыбу ловил, щука называется. Он дёргал воду, и вода полетела! Дяденька испугался, что она полетела, и сам полетел за ней! Потом он повесил рыбку на верёвочке и не смог ходить. У дяденьки пистолет, папа, надо его арестовать, дяденьку. Надо, знаешь, что с ним сделать? Надо его под снег закопать, чтобы он не вылазил и своим пистолетом не баловался.

— Дяденька упал в воду, и шапка упала, и рубашка упала, и голова у него отскочила и он не достался оттуда, и полетел в мусор. Кверху ногами. Кверху ногами, — значительно повторил Дима.

Затем его внимание привлёк другой предмет.

— Надо починить пенёк, — развивал Дима свою мысль, — надо его порезать ножиком, полить водичкой, чтобы он хорошенько сгорел, и палкой его починить, вот так, — удовлетворённо заключил он.

— Дима, — спросил я, — ты собак боишься?

— Нет.

— А почему убегаешь?

Дима подумал и ответил:

— Я не хочу, чтобы она немножко, понимаешь, немножко, — он убедительно таращит глазки, — нас укусила. Волка я не боюсь. Я его на верёвочке поведу.

Насчет Волка, это пока фантазия, а в настоящий момент он тащил санки, на которых восседала его любимая кукла Вова. Дима на ходу сетовал на его поведение.

— Я Вовочку на санках везу, везу, а он падает и санки, бух, на скорости свалились. Я говорю Вовочке, «не сваливайся!», а он продолжает сваливаться. Ну, ты подумай, что это делается!

— • —

После ужина я лёг на тахту, положил ноги на спинку; через дырку в носке скорбным укором виделся мой большой палец. В комнате стоял полумрак, день кончился, а ночь еще не наступила. Был вечер. Оля сидела на мне и рассказывала про Диму; свой рассказ она разнообразила заявлениями типа «мы в понедельник не учимся». Дима в это время сидел за столом и делал «косые глаза».

— Дима, перестань таращить глаза, а то они выскочат! — закричала Тоня. Но он продолжал.

— • —

Мою Диме ручки, мордочку, переодеваю; для этого кладу его на спину, стаскиваю выходные штанишки и надеваю ночные. Он болтает ножками и всяко мешает.

— Папочка, иди, я тебя хочу поцеловать.

Целует.

— А кто пожалеет? — спрашиваю я. Он гладит меня по голове, жалеет.

— Не зови меня больше, спи, ладно?

— Ладно, — отвечает он, и это звучит убедительно. Ухожу, и через несколько минут слышу:

— Папочка, ты что же, забыл мне яблочка дать?

Очищаю ему яблоко и вручаю. Вижу весёлую, прямо-таки сияющую мордочку. Он съедает яблоко и предлагает опять меня поцеловать.

— Я в ванне, Дима! — кричу я. Он, однако, меня мгновенно раскалывает, обман раскрывается, и он громко констатирует этот факт.

— Ну вот, папочка, ты уже не в ванночке!

Я строго кричу на него, и после некоторой возни он начинает засыпать.

— А кроватку подвинь!

— Подвину, когда уснёшь.

— Нет, сейчас подвинь, — засыпает.

— • —

«Диму следует сажать за обеденный стол голеньким, чтобы проще было отмывать его после еды», — соображает Тоня.

— • —

Дима впервые в жизни сам (!) надевает штаны. Оля внимательно наблюдает и подаёт реплику:

— Дима, это же зад.

Он долго изучает ситуацию.

— Ну что ты, Оля. Это же не зад, пожалуйста, — подумал и добавил, — это почти зад.

— • —

Сегодня праздник, Новый 1968-й год, но без происшествия не обошлось. Оля и Дима во время обеда повели себя неправильно и были с позором изгнаны от стола. Я с ними не разговариваю, Тоня их ругает.

Дима прожил некоторое время в изгнании, но не выдержал и покаялся.

— Папа, — сказал он, уткнушись в меня своей тёплой головкой, — я больше не буду.

— Что не будешь? — сурово спросил я.

— Не буду, что не буду суп, — пояснил он, глядя на меня преданными глазами.

— Ну хорошо, — вздохнул я и поцеловал его в головку. Малыш не знал, что внутри себя никакой суровости я напрочь не держал.

— Попей кисельку.

Он ухватил бокал и принялся пить, целиком засунув мордашку в посудину так, что поверх бокала лишь таращились невероятно хитрущие глазёнки. Пил долго, долго, с чувством, а глазёнки всё так же хитро блестели.

— • —

Дети воспринимают животных как равных себе.

— Собака, уходи, у меня же нет колбаски, — объясняет Дима, — уходи, собака.

Дима не ощущает своего человеческого превосходства над собакой, больше того, видит и признаёт её преимущества.

В нём характерно сочетание наблюдательности и выдумки; его всё интересует, но, сосредоточившись на одном предмете, он весьма вольно его трактует, и недостачу строгих знаний (в связи с малым возрастом) он с лёгкостью возмещает обильной фантазией.

Мы вышли с ним гулять на Москву-реку. Зима. Лодки и теплоходы вмёрзли в лёд.

— Корабль стоит, потому что воды нет, — изрекает Дима.

— Папа, пойдём, покатаемся на пароходе!

— Они не ходят.

— Нет, ходят, мы с мамой катались.

— Когда?

— Вчера, летом. Я сказал: «Мама, пойдём на пароходе кататься», и она сказала: «Пойдём, Дима».

— Хорошо, давай, как будто сейчас лето, и мы станем кататься на корабле.

— Вот видишь, папа, значит, можно. Папа, сядем внизу.

Я не возьму в толк, и он повторяет несколько раз. Наконец до меня доходит смысл: «внизу» значит «в каюте».

— Ну да, папа, в каюте. Наверху нехорошо, там стул горячий и скрипит. А это что?

— Спасательный круг.

— Для чего он?

— Кто станет тонуть, за него ухватится.

— И будет плавать?

— Да.

— Папа, здесь вода и много лягушек, — он показывает на лёд, — и они кусаются!

В Москве-реке сроду лягушек не водилось, но Дима помнил, что в Сиваше у Азовского моря на Арабатской стрелке лягушек пропасть, и он приносил с прогулки домой полные карманы лягушат.

— Папа, а вон флаг.

— Вижу.

— Да вон же, флаг! — он не успокоился до тех пор, пока я не посмотрел в сторону флага.

— Как эта лодочка, корабль называется?

— «Ветер».

Дима швыряет снег и строит свирепые рожицы. Мы двинулись по понтонному мосту через реку.

— Почему мост качается?

— Потому, что он стоит на лодочках.

— Где? — Я ткнул понтон ногой.

— А-а… — протянул Дима и тоже тронул его сапожком. Мы вышли на берег и двинулись по снежной тропе к пляжу. Солнце заливает воздух, снег сверкает.

— Дима, перестань лепить снежки, будешь мокрый.

— Нет, еще надо лепить, — он ушел вперёд, я немного отстал.

— Что же ты стоишь, папа? — отчитывает он меня. — Я пошёл, а ты стоишь!

— Дима, я не заметил, что ты ушёл, а ты не сказал.

— Как же так, я обошел вокруг тебя, тронул за руку и сказал «пойдём». Папа, смотри, собака! — он прижался ко мне.

С нашей стороны реки рыболовы потянулись на противоположную сторону, а с той те рыбаки двинулись на нашу. Так сказать, поменялись местами (не ловилось ни здесь, ни там). Шли не торопясь, таща ящики-сиденья и снасть. С ними много детворы и женщин. А на вышке надрывался дежурный:

— Граждане на мосту! Возьмите детей на руки, не балуйтесь, не раскачивайте мост, не хулиганьте!

— • —

Трагедия. Оля потеряла авторучку! Боже! Как она рыдала!

— Оленька, ну что ты так плачешь?

Она захлёбывалась в рыданиях и лишь мотала головой.

— Ты будешь меня ругать! — наконец, выговорила она, и с плачем рассказала, как это произошло. Я не успел открыть рот, как она тут же сказала: — Вот видишь, ругаешь, а говорил, что не будешь!

— • —

Кто виноват?

Дима любил проводить время у Миши, мальчика с третьего этажа. Иногда его не пускали, и тогда Дима очень переживал, даже скандалил. Сегодня он побывал там, но захотел пойти снова.

— Нет! — решительно заявила Тоня. — Раздевайся, будем ужинать.

Дима ужасно расстроился.

— Хитренькая ты, мамочка! — укоризненно запричитал он. — Никогда меня к Мишеньке не пускаешь, а я хочу пойти к нему поиграть.

Тоня непоколебима. Тогда Дима в состоянии аффекта совершил дерзкий проступок: он в знак протеста швырнул свой новый пистолет на пол и с громким плачем убежал в спальню.

— Хорошо, — внешне спокойно, но громко сказала Тоня, подняла пистолет, отнесла его в туалет, положила на верхнюю полку и спустила воду в унитазе.

— Так вот, Дима, — сказала она, — свой пистолет ты бросил, значит, он тебе не нужен, и я его выбросила в канализацию.

Диму это потрясло. Он плакал и даже кричал.

— Что ты наделала, мама!

— Но кто виноват? — спросила Тоня.

— Ты, мама, — было ответом.

— Почему?

— Потому, что ты выбросила его в туалет!

— Но ведь ты бросил его на пол.

Дима помолчал, а потом сказал:

— Это Мишин пистолет, он узнает, что пистолет выброшен, и поколотит того, кто виноват. Миша сильный: он одного мальчика взял на приём, того увезли в больницу.

Следует сказать, что Миша вовсе худенький.

— Так кого же Миша поколотит? — грозно обратилась к нему Тоня, с трудом сдерживая смех.

— Кто виноват, — ответил Дима. Не мог же он выговорить, что колотить надо маму.

— А кто виноват?

— Кто бросил в унитаз.

— Нет, Дима, виноват тот, кто бросил на пол.

— С пола можно поднять, а из унитаза нельзя, — в логике нашему малышу не откажешь.

Минут через пятнадцать этого ученого толчения воды в ступе, под натиском взрослого большинства Дима нехотя признал, что виноват он. После просьбы о прощении я «делаю попытку выловить пистолет». Конечно, «вылавливаю его», как бы «долго мою» и вручаю его Диме с подходящим назиданием.

— • —

Сегодня типичное воскресное утро. Дима забрался к нам на кровать, энергично подышал мне в ухо, пощекотал пёрышком в моём носу; этого оказалось достаточным, чтобы я проснулся.

— Не мешайте мне спать, — недовольно, сквозь сон, сказала Тоня и отвернулась.

— Хорошо, — уныло согласился я.

— Хорошо, — бодро подтвердил Дима и добавил, — мама делает так, — и он шумно несколько раз посопел носом.

— Ну уж так я не соплю, — возмутилась Тоня и тут же проснулась.

Она рефлекторно не выносила суждений, порочащих её наружный вид или поведение. Лично я разделяю этот её взгляд: дай волю критикам, так они дойдут неизвестно до чего.

Дима обнял меня за шею:

— Пойдём, папа, кашу варить?

— Пойдём.

— Оденьтесь! — приказала Тоня.

Мы надели колготы, но наизнанку; на коленке укоряющее смотрела большая заплата. Надо переодеваться.

— За картошкой сходить, что ли? — осведомился я.

— Сходи.

Оля и Дима боролись. Дима, будучи на голову ниже Оли, тем не менее решительно схватывал её за кофту и валил на тахту.

— Оля, неужели ты не справишься с ним?

Оля уверяла, что несомненно справится, но снова шлёпалась на тахту, сбитая яростным наскоком Димы.

— • —

Мы нагулялись в морозном лесу, набегались с санками, навалялись в снегу, натолкались, пришли домой, наелись супа, рыбы и легли спать. Дима спать не хотел.

— Спи! — прикрикнула на него Тоня, больше для порядка.

Накрывшись одеялом с головой, он то посвистывал, то постукивал по стенке, то начинал глубоко и шумно дышать. Это раздражало Тоню. Она ворчала, но одновременно понимала безнадежность ситуации.

— Я же закрывал глазки, но они сами открываются, — горячо объяснял Дима. В итоге он победил и, получив разрешение встать, немедленно ворвался к нам в комнату. «Может, не станет нас будить, а тихо поиграет?» — с надеждой подумал я, хотя прекрасно понимал, что так не получится. Дело в том, что Дима мальчик очень деятельный и ни секунды не посидит без достижения какой-либо одной из его многочисленных целей. И возникают они у него непрерывно. На этот раз его жизненно важной целью было разбудить меня.

Начал с просьбы:

— Папа, вставай, — на что я только усмехнулся во сне. «Не выйдет, сынок.» Тогда он принялся громко топать, но с тем же нулевым результатом, ибо я был сильно закалён по этой части. Дима еще маленький; он еще не всё осознаёт. Поспит, а потом спрашивает: «я спал, мама?»

Стало тихо, но я понимал, это всего лишь пауза: Дима размышлял. Но вот он подошел ко мне вплотную, потянул за одеяло и оголил меня, но я приспособился, если холодно, натягивать на себя одеяло, не просыпаясь, и у него ничего не получилось. Тогда Дима пошел на крайние и решительные меры.

Внезапно я почувствовал, что мне нечем дышать; это Дима своими тёплыми, нежными пальчиками, как клещами, сдавил мне ноздри, пере-

крыв тем самым доступ воздуха в мой организм. Я мгновенно переключил дыхание на рот, и даже не проснулся. Он прибег к прессингу: вскочил на мой живот и энергично поплясал.

Я заставил работать свой пресс, оградил внутренние органы бронёй мышц и продолжал посильно спать. Дима свистнул мне в правое ухо, а когда я повернулся на правый бок, закрыв таким образом уязвимое место, он свистнул в левое. Некоторое время мы соревновались в скорости: я отворачивая голову, а Дима производя свисток в открывшееся ухо.

Мне было проще вертеть головой, чем ему определяться со свистком, и понятно, из его затеи ничего путного не получилось. Никакого ожидаемого эффекта. Обдумав, в каком направлении действовать дальше, он сел мне на грудь и стал открывать мне глаза. Я едва не рассмеялся во сне: никогда еще не удавалось ему разбудить меня подобным способом! Дима это быстро понял: он на редкость толковый мальчик.

Он стал щекотать мои пятки, но не учёл, что всё лето я хожу босиком по земле, и кожа на пятках приобрела прочность и нечувствительность броневой стали.

Простодушный и легковерный человек решит, что Дима после стольких неудач оставит меня в покое. Не тут-то было! Этот четырёхлетний, румяный, как помидорчик, стройный и сильный, как атлет, мой сынок поставил стульчик на стул и включил электричество.

Яркий свет ударил мне в глаза, и если бы не моя реакция — я мгновенно, не просыпаясь, прикрылся одеялом — то, пожалуй, на этот раз он достиг бы цели. Сон, однако, стал проходить, и я стал обдумывать, как наказать мальчишку.

Я мысленно организовал состав суда и обстоятельно доложил присяжным перечень проступков мальчика по имени Дима, четырёх лет от роду, проживающего по адресу: Москва, 3-й Волоколамский проезд, дом 6, квартира 57. Россия.

— Граждане судьи, — произнёс я мысленно прочувственным голосом. — Я сознаюсь, что указанный мальчик Дима мой сын, но надо быть объективным, он заслуживает наказания.

Самый заслуженный член суда присяжных, моя дочь Оля, задумчиво почесала правую ногу и спросила:

— А он спал днём?

— Нет, — ответил я, — это тоже проступок, ибо должен был спать.

— Во сколько он обычно ложится спать? — задала свой второй вопрос Оля, почесав левую ногу. Чесать ей было легко, так как она сидела, закинув ноги за шею. Чуть подняла руку и почесала.

— В девять вечера, — ответил я, еще не понимая, куда клонит моя безусловно гениальная дочь. Тогда Оля, посовещавшись с присяжными в лице Тони, торжественно объявила вердикт:

— Предлагаю приговорить его, а именно, Диму, к «лечь спать в семь вечера»!

Публика содрогнулась от суровости приговора!

— Принимается! — проорал я и окончательно проснулся.

Пока суд заседал, Дима успел побрызгать на меня водой, фальшиво спеть в ухо песню о Кузнечике и посидеть на моём лице своей тёплой задушкой, ровно столько, сколько нужно, чтобы пукнуть. Потом он, моя крошка, поцеловал меня и прошептал:

— Папочка, проснись, пожалуйста.

И я тут же встал, прижал его к моей истерзанной груди, счастливый, что у меня такой сын.

— • —

— Дима, я сбегаю за молоком, а ты подожди меня. Приду, будем варить кашу.

— Нет, я с тобой.

— Тогда ты иди, — предложил я.

— Хорошо, — но сообразив, что он еще мал и купить молоко самостоятельно не сможет, дал обратный ход:

— Я приду, а молока нет, один кефир.

— Иди в другой магазин.

— Я приду, а рубль в кассу не достану.

— Достанешь.

— Я приду, а там молока совсем нет, только два кефира. Папа, давай лучше читать Ходжу Насреддина.

— • —

Дети играют в прятки. Кричат считалками:

— Раз, два, три, сзади не стоять, по бокам не стоять. Я иду искать. Дыр, дыр, Толя. Дыр, дыр, Серёжа! Топор, топор, сиди, как вор. Давай, Андрей, жмурись! Я задыркался. Пила, пила, лети, как стрела.

Дима плачет: ему не дают жмуриться. Не доверяют. Оле девять лет, Диме пять.

Дима подошел к входной двери, где его по пыхтенью немедленно обнаружила бдительная Оля. Стучать в дверь он не хотел, а пытался с помощью длинной палки, приподнимаясь на носочки, надавить на кнопку звонка. Пыхтение усиливалось, а кнопка не поддавалась.

Оля все эти его потуги наблюдала в замочную скважину и комментировала, при этом шипя на меня:

— Тише!

Сама же икала от смеха столь явственно, что лишь чрезвычайная занятость Димы мешала ему обнаружить присутствие Оли по другую сторону двери. Оля, в конце концов, не выдержала, открыла дверь и впустила его со словами:

— Иди уж, всё равно у тебя ничего не получится!

Дима весь в снегу. После того, как я с треском и скрежетом соскоблил столовым ножом с его шубки корку твёрдого обледенелого снега, он поволок меня в туалет и по дороге торжественно сообщил:

— Папа, я обкакался!

При этом глаза его сияли от еле сдерживаемого смеха.

Я заворчал, заглянул в штанишки и убедился, что там чисто. Это был тот кульминационный момент, которого с величайшим нетерпением ждал Дима, и он закричал:

— Обманули дурака на четыре кулака!

Дима в полном восторге и совершенно счастлив.

— Дима, — укоризненно сказал я, — папе нельзя такое говорить.

Но он в своём счастливом состоянии не успокоился, пока не пропел то же еще три раза. Сердиться на него решительно невозможно. Я вижу, что он охвачен неподдельной радостью, а искренние чувства вызывают у меня уважение, разумеется, если они не выходят за рамки приличия и не шокируют общество.

Оля умна; она на всю катушку использует это своё качество в кознях против Димы, который это чувствует и обычно кричит: «Чего обманываешь, Олечка!» Оля могла позволить себе в процессе общения с Димой нарочито ласковую форму обращения, и это еще больше обостряло ситуацию. «Димочка, я тебя не обманываю!» — говорила она честным ласковым тоном.

— Димочка, сколько стоит четырёхкопеечная булочка?

— Двадцать копеек, — рубит правду-матку Дима.

Дима видит, что мы утомились на прогулке, он заботливо укрывает нас простынкой и настраивает будильник, который прозвенел уже через пять минут!

— Хулиган! — взорвалась Тоня.

— • —

Я ухожу на службу. Во дворе осматриваю свои деревья. Дима стоит на балконе, наблюдает за мной и напутствует:

— Папа, ты авторучку не забыл?

— Нет, Дима.

— Покажи. А ты, папа, ничего не забыл? А ты, папа, почему дверь не закрыл?

Я покидаю двор, а он машет ручкой.

— • —

— Атаман плохой или хороший? Царь плохой? Кто хитрее, лиса или волк? Почему? — спрашивает меня Дима. Я посильно отвечаю.

Когда я уехал в командировку, Диме разрешили спать с мамой, но с условием: «если будешь хорошо себя вести».

— А, что, папа плохо вёл себя? — тут же спросил Дима. Дней десять тому назад имел место факт, когда я пришел домой «хвача» и в наказание не был допущен на супружескую кровать.

— • —

Я, Оля, Дима и Лена шли в кино на «Фантомаса». Оля время от времени переходила на движение спиной вперёд перед нами и оживлённо рассказывала.

— Оля, — сказал я, — надо идти мордочкой вперёд. Вот ты идёшь вперёд спиной, а ведь в спинке глазок нет. (Лена смеётся). Вот ты сбила честную тётеньку, — продолжал я, — тётенька упала, а ты на неё вверх тормашками! Куда это годится? (Лена заливается смехом). К тому же, Оля, тебя еще в милицию заберут. Приведут в милицию и спросят: «Девочка Оля, зачем ты честную тётеньку вверх тормашками опрокинула? (Лена с трудом удерживается на ногах от хохота). А мы с Димочкой и Леной станем рыдать, потому что наша Оля вверх тормашками сидит в тюрьме. Правда, Димочка? (Ребята просто обессилили от смеха и только хрюкают, ухватившись за бока!)

Когда они успокоились, отошли от смеха, Дима стал рассказывать своё.

— Дедушка, не этот, а с длинной бородой, уснул. Спал, спал и умер, а утром проснулся, и его понесли.

Фантазировал, конечно, но с какой убеждённостью в реальности сказанного! Эта убеждённость поражала. Впрочем, она свойственна не только детям, но иногда и взрослым; она и добродетель, она и недостаток, в зависимости от целей, которые преследуются.

— • —

Читаю толстую книгу философского содержания, мест, трудных для понимания нормальным человеком, пропасть. Интереса к ней с моей сто-

роны ноль. Перелистывать листы приходится не так часто, как хотелось бы; словом, дело практически не двигается.

К тому же, ко мне периодически врываются ребята и наводят мощные помехи. Вначале просто бегали, затем перешли на игру в прятки. Играли самостоятельно, лишь эпизодически привлекая меня, это когда Ольга пряталась и просила меня сказать Диме, что еще не пора искать, затем пригласили в игру официально.

В принципе, я не возражал, но не теперь. Я изучал философию социализма, и по этой важной причине вынужден был отказаться от чрезвычайно соблазнительного предложения ребят.

В какой-то момент Дима использовал меня в качестве подставки: он снимал с секретера дворника Гаврилу и курильщика Чомбе. Затем наступила пауза, которая, однако, не принесла мне вдохновения, ибо в соседней комнате резко усилился шум. Я понял, что мои ребята крупно ссорились; к мелодичным детским голосам присоединились взрослые, Тони и бабы Дуни.

Я смотрел в книгу, а видел «фигу», как говорят в народе. Шум постепенно стих, вошел Дима, очень серьёзный, плотно закрыл дверь и тихо, почти трагически произнёс:

— Папа, не играй с Олей, она меня ударила пяткой.

— Куда, сынок? — он молча указал на ротик.

Дверь тут же распахнулась и на пороге возникла Оля.

— Папа, не верь ему, он врушка!

— Папа! — закричал Дима. — Лови её!

Я растопырил руки и поймал Олю.

— Что будем с ней делать? — осведомился я.

Не колеблясь ни секунды, Дима объявил самый суровый приговор.

— Пусть умоется! — закричал он. Более серьёзного наказания, по мнению Димы, не существовало. Он убежал. Я посмотрел ему вслед и подумал: дети дороже философии, пойду лучше поиграю с ними.

Дима показал мне место на голове, где, якобы, находится рана от Олиного нападения.

— Как же она сумела? — интересуюсь я.

— Вот сумела твоя Олечка! Теперь вот мажь зелёнкой.

Он гладит мои волосы, встав на стул за моей спиной. Я благодушно листаю книгу, не вникая в смысл. Вскоре Диме надоело меня причесывать, он вытащил из кармана штанишек губную гармонику и принялся играть, но ему показалось, что мне плохо слышно. Озабоченный этим обстоятельством, он приставил гармошку к моему уху и, надув щеки, усилил звук.

Сердиться на Диму нельзя: виноват я сам. «Надо быть кретином, чтобы купить ему этот инструмент, — самокритично подумал я. — Следовало слушать Тоню; она, само собой, не всегда бывает права, но в данном случае, безусловно, это так».

Я с ужасом вспомнил, что у Димы имеется еще металлический барабан, флейта и пастушеская свирель, обладающая сверхъестественно громким звучанием. «Может, заранее спрятать их подальше?» — лихорадочно соображал я, целуя Диму в благодарность за концерт, и тут же устыдился своей слабости и эгоизма.

Дима выстроил на моей книге своих солдат (своих подполковников) и сказал мне:

— Где Ваш паспорт? — я протянул ему понарошку, как будто, паспорт.

— Да ты не мне, а им.

Я показал паспорт подполковнику.

— Ты скажи, что паспорта нет.

Я сказал.

Оля готовит уроки и, глядя на нас, заливается смехом.

— Ольга, не дрожи боком! — сказал Дима.

Дима осваивает портняжное дело на детской швейной машинке. Интерес огромен! Сидит на табуретке, весь впился в шитьё; от сверхцелеустремлённости разъезжаются глазки, жуёт правую щечку.

— • —

— Дима, — спросил я, — зачем вы с Лёшей гонялись за Колей?

— Потому что у Лёши звенело в ушах!

— Что? Причём тут звон!

Дима с досадой посмотрел на меня, очевидно удивляясь моей недогадливости.

— Я тебе, папа, про Ивана, а ты, папа, про болвана, — удачно, но несколько неожиданно ввернул он пословицу.

— Что за глупости ты говоришь?

— Нет, папа, не глупости, Коля звенел звонком на Алёшкином самокате, а у Алёши звенело в ушах!

— • —

Еще вчера стоял солнечный тёплый день. Последние кучи грязного снега быстро уменьшались и исчезали под мощным весенним теплом, а пока мы спали мирным сном, выпал снег. Проснувшись, мы с удивлением обнаружили, что двор вновь покрыт свежим ослепительно белым одея-

лом. Небо заполнено холодными снеговыми тучами, а ледяной пронизывающий ветер воет, теребит бельё на балконе и, к счастью безуспешно, пытается ворваться в квартиру.

Съев свою ежедневную манную кашу, Дима пришлёпал к окну, заглянул во двор и с обидой заголосил:

— Папа, там опять снег! Я так не буду!

Что «не буду», он и сам не знал, но этими словами он выразил протест против плохой погоды. Он еще подумал и заявил:

— А я всё равно стану ходить по снегу ногами!

Довольный своей решительностью, он отправился в спальню, извлёк из груды игрушек своего «сыночка» Мишу Медведева и принялся его баюкать.

— Дима, что твой Миша, заболел, что ли? — спросил я.

— Нет, он еще ходить не умеет.

— А почему он молчит?

— Он у меня замёрз.

Дима спустил рукава распашонки, прикрыл Мишкины лапы и стал его согревать.

— • —

— Поедем к бабе Маше в Бобруйск, — мечтает Дима, — только когда будет тепло, чтобы в речке купаться и чтобы солнышко светило ярко. Ладно, пап? Полетим на самолёте!

— А мы не упадём на землю?

— Нет, он же на крыльях. Крылья его держат. Папа, а в самолёте руль есть?

— Есть, Дима.

— А туалет?

— Есть и туалет.

— Какой он, маленький?

— • —

По дороге в кино на «Черную пантеру» Лена рассказывает про свой класс.

— У нас учительница всегда спокойная. Мы и в голос разговариваем, и по классу бродим, а Морозов даже разложил завтрак и кушает. Другая на её месте поубивала бы нас за такое поведение, а она спокойна. «Морозов, нельзя кушать во время урока! Кишкина, не ходи по классу, сядь, пожалуйста». Смешная такая, а мы как бродяги ходим по классу.

— • —

— Папа, давай сыграем в картишки!

— Дима, мне некогда.

— Давай, один разик.

Он полез в свой угол и извлёк личную колоду расшлёпанных игральных карт. Раздал, не соблюдая пропорции и укладывая карты картинками вверх, открыто, и азартно закричал: — Ходи, папа!

Он пошел шестёркой треф, и я побил её трефовой семёркой со словами:

— А мы её семёрочкой!

Я пошел восьмёркой.

— А мы её семёрочкой, — весело изрёк Дима, кидая десятку, а сам пошел валетом бубей.

— А мы его тузиком, — среагировал я.

— А мы его тузиком, — подхватил Дима, кроя моего валета трефовой дамой.

Игра проходила весело и в стремительном темпе. Дима внимательно следил, чтобы его карты израсходовались скорее моих, и для верности кидал по две—три карты зараз. Дима победил с большим преимуществом.

— Теперь, Дима, собирай карты и прячь их.

— Не буду, — сказал он, — собери сам.

— Как же так, — возмутился я, — играть играл, а собирать не хочешь?

— Я устал, — объяснил он и тяжело, как после трудной работы, вздохнул.

— Давай, давай, собирай, нечего! — ворча, стал собирать.

— А теперь отправляйся спать!

Как обычно, спать днём он не хотел.

— Папа, я икаю, дай воды, — при этом он действительно икает, но я различаю фальшь.

— Папа, у меня глаз повернулся набок.

Снова фальшь. Полчаса полежал, а затем стал забавляться. Он кряхтел, громко вздыхал, ворочался, тихонько свистел, визжал пилой и, наконец, запел.

— Жила под водой нехорошая камбала! — он громко засмеялся.

— Сам ты кабала, почему не спишь? — в рифму закричала Тоня. Это совершенно рассмешило Диму, и он оглушительно захохотал.

— По, пе, по, пе, — пел он, — тута, тута, вето, лето! Ты картошка, я блины, мы же разные с тобой! Ты за картошку, я за блины! Пипа… — выводил он рулады.

— Папа, я расскажу тебе сказку, хочешь?

— Хочу.

— Жили-были три полка. В одном полке жил-был царь.

— Не в полке, а в полку.

— В полку. Он однажды проснулся, одел корону, сапоги и сказал: «Кто найдёт саблю, тому отдам девицу».

— Какую девицу?

— Какую, какую, невесту!

— А-а-а, понятно.

— А у дедушки были три сына. Старший жадный и ленивец. Папа, почему богатые жадные?

— Им всё мало, хотят больше, вот и жадничают.

— Папа, что лучше, радикулит или ревматизм? А что лучше, когда ногу прижмёт или локоть зашибёшь? Когда зуб заболит или живот?

Ответа он не ждёт, Оля хохочет.

— Дима, догадайся, о чем я думаю?

— Не знаю.

— На букву М.

— А-а-а, мороженое!

— Правильно.

На улице мороз 28 градусов по цельсию!

— Оля, ты думаешь коленкой? — спрашивает Дима.

— Нет, Димочка, я думаю головой. Это ты думаешь коленкой!

— Оля, о чем я думаю коленкой? На букву П.

— О папе.

— Нет, Олечка, ап селёдке! — Дима прислушился и объявил:

— У папы трещит голова, — помолчал и добавил, — я сам слышал! Да, Олечка!

«Как любит меня сынок!» — я тронут. Голова у меня действительно сильно трещала, вчера я принял немного лишнего.

Дима марширует, крепко топает ножками по полу.

— Дима, не топай ногами, — воспитывает его Оля, — под нами не обезьяны живут, а люди.

«Оля права», — подумал я, на четвёртом этаже, по одной вертикали с нами, жила Клавдия Михайловна, вполне приличная женщина, воспитательница детского сада.

— • —

Оля заучивает басню Крылова «Волк и журавль».

— Превосходная басня, — одобрил я. — Только следует её читать с выражением. Слушайте внимательно.

Я взял в руки учебник и стал читать с выражением.

— Папа, — перебила меня Оля, — пожалуйста, потише. Ты очень громко произносишь слова, прямо кричишь!

— Раскричался ты, папа, — поддержал её Дима, — и кричишь, и кричишь, как во дворе! — и он недовольно посмотрел на меня.

Оля отложила учебник и спросила:

— Папа, что такое виола?

— Это вроде виолончели.

— А какая между ними разница?

Ответил Дима из туалета:

— Виолончель это Виолина дочка.

— • —

— Весело ребята играют. Душа радуется, — думал я, наблюдая в окно, как Дима четкими приёмами, раз за разом, валил Мишу не траву.

— Безобразие, это не игра, а драка, надо загнать Диму домой! — возмутился я через некоторое время, видя, как на этот раз он оказался на спине.

— • —

— Люблю острые ситуации! — воскликнула Оля, извлекая из калоши кусок сосиски. При этом от смеха у неё полилось изо рта кофе.

— • —

Дима, если что задумает, делает это основательно. Стоит в ванной, моет мордочку. Взял мыло, слегка смочил его из крана и принялся водить им по лицу. Ну прямо втирает мыло в щеки, в глаза, в уши! У меня даже мурашки пробежали по спине от этого зрелища. Я с трудом отмыл его, вытер полотенцем и усадил на кровать просохнуть. Он обнял меня, а потом рассказал:

— Дядя Коля умер, его вытащили из подъезда и играли на дудочках, трубочках, — и он показал голосом, как играли.

— • —

В воскресенье мы с Димой проснулись первыми. У меня от лежания онемели бока, в горле першило. Дима шевелился, шумно дышал и произносил звучным актёрским шепотом какие-то слова. Словом, мы, каждый по своему, мешали Тоне спать. Неудивительно, что, как мы ни старались соблюсти тишину, нам сурово выговорили и выслали на кухню.

И к лучшему! В кухне на нас не шикали, и мы могли заниматься всем, разумеется, в пределах разумного, скажем, не колотить в дверь ботинком, то есть, не шуметь.

Дима остался в кухне, а я уполз в ванную бриться. Брился, но подсознательно чувствовал, что он занят чем-то таким, я и слова-то не могу подобрать, он у меня такой изобретательный.

Наскоро залатав два главных пореза, остальные не в счет как пустяшные, я заглянул в кухню и убедился, что мои опасения необоснованны. Дима трудился от души и ничего этакого не совершил. Успокоенный, я ушел обратно.

Он, тем временем, снял с холодильника большой китайский термос, сплошь покрытый иероглифами, и поставил его на стол. По пути он, правда, раза два зацепил им за чугунные рёбра отопительного радиатора, и это произошло не бесшумно. Число произведенных им звяков легко вычислить; для этого достаточно количество рёбер в радиаторе умножить на два, получится много.

Итак, он поставил термос на стол и принялся исследовать. Он извлёк пробку и крикнул мне в ванную:

— Что в самоваре?

Я ответил, что в термосе вода. Затем я услышал, как задребезжала посуда: по характерной вибрации узнал мой личный фарфоровый бокал, и, наконец, забулькала вода. Он наливал воду. Тишина.

— Противно, — сказал он. Когда я вошел в кухню, он всё еще содрогался от гадкого привкуса воды.

— В следующий раз не будешь пить воду без разрешения, — сказал я, но он не обратил на мои слова ни малейшего внимания, ибо в это время лез в шкаф за сахаром.

— Что ты собираешься делать?

— Наложу шесть кусков, нет, — он подумал, — восемь кусков сахара, потом налью чая и добавлю банку варенья, тогда она станет вкусная.

— Кто она, чай, что ли? — я чувствовал себя сильнее Димы в вещах мне знакомых, а грамматику я знал неплохо, хотя, возможно, неблагородно с моей стороны пользоваться своим преимуществом.

Дима снисходительно посмотрел на меня.

— Не чай, папа; чай он, вода она! — вот я и сказал «Она будет вкуснее».

«Поразительно смышлёный ребёнок», — растроганно подумал я, но не показал этого, а, напротив, заорал:

— Прекрати свои фокусы, вечно придумываешь глупости!

Минут через пять мне с трудом удалось отобрать у него термос. Он не хотел его отпускать и очень ловко перехватывал то за ручку, то за края горлышка, то за скобку в донышке.

Я, вроде, дважды устанавливал термос на место, но всякий раз обнаруживал, что под ним висит Дима, ухватившись за одну из вышеперечисленных деталей то правой, то левой рукой. Затем я почистил картошку к завтраку, а очистки сложил в раковину.

Диму охватило чувство потребности в полезном труде; он взял ножик и стал перемешивать им кучу очисток. Вскоре раздался радостный вопль.

— Вот, папа, смотри! — и он протянул мне неочищенную мною небольшую картофелину, которую я случайно оставил в очистках.

— Молодец, Дима, — похвалил я его, ибо в вопросах воспитания старался сочетать наказания с поощрениями.

— Вот, папа, если бы я тебе не помогал, то картошка пропала бы, — он повторил эти слова несколько раз, и с каждым разом проникался всё большим уважением к себе. — Папа, я тебе буду продолжать помогать. Знаешь, почему? Потому что мне еще не надоело помогать.

Он добросовестно вымыл раковину и стал подметать пол; взял веник, покритиковал его за малость, сказал, что из-за этого приходится нагибаться, смёл мусор в кучу, пыхтя при этом, будто тащил воз с углём.

— Давай, папа, совок! — потребовал он после того, как раза два растоптал и разворошил кучу. Я подставил совок, и он энергично смёл мусор в совок, но больше через него на пол. Мы повторили операцию, и таким образом завершили дело.

Я уж и не припомню, сколько добрых дел ещё совершил Дима в это прекрасное воскресное утро. День начался.

Затем мы с Димой играли. Он запрятал своего маленького негра, а я искал.

— Папа, ты его никогда не найдёшь! За целый день. Я его под доску спрятал.

Я начинал искать, а он подсказывал: молча показывал пальцем.

— • —

Дима отложил книгу и посмотрел на меня.

— Я читал, читал, а эта картинка меня так рассмешила, такая смешная картинка!

— Папа, ты рассыпал сахар! — я взглянул и сознался.

— Ну вот, ты растерян, значит, ты растеряха. — ему показалось, что он обидел меня, и добавил, — Я когда машину потерял, тоже растеряха. Вот, папа, Ленин, а вот еще Ленин. Ты, подумай, сколько тут Ленинов?

— Не знаю.

— Значит, ты незнайка! — развивает он свою мысль дальше.

— Папа, кто в танке сидит, как сказать?

— Танкист.

— А что такое кабель? — указывает на стену.

— Кафель?

— Да, кафель. А что такое кабель?

— Это много проводов вместе.

— Папа, выключи телевизор.

— Нет, Дима, я смотрю интересную передачу.

— А как же если я лягу спать и не усну, как будет, а, папочка? Выключай, — тянет он.

«Дома у меня больше командиров, чем на службе. Все командуют», — думаю я.

Он залез в стол, выгреб карандаши и стал их считать:

— Раз, два…, батюшки! Да никак, их семь?

— • —

Кормлю Диму кашей и рассказываю всякие неправдивые истории.

— Был я однажды, Дима, в Африке, Южной Африке, — уточняю я. — Иду по саванне. Это такая местность: три—четыре дерева и степь, опять три—четыре дерева и снова степь, а деревья баобабы. Сорок человек, взявшись за руки, не обнимут ствол этого дерева, а под кроной умещается целая деревня! Слышу, кто-то рычит, мощно, как гром! Кто это, а, Дима?

— Слон!

— Нет.

— Лошадь?

— Нет, Дима.

— Лев?

— Да, Лев!

— А вот в Южной Америке навстречу мне крокодил: пасть, как дверь, а зубы огромные и острые, как… — я вытащил столовый нож и показал Диме. У него округлились глаза.

— Что он хотел со мной сделать?

— Он хотел на тебя плюнуть?

— Нет, Дима, это бы ничего, крокодил хотел меня съесть. А теперь спать, — я умыл его и отправил в постель.

— Папа, сегодня с краю лягу я.

— Нет, Дима, — твёрдо сказал я, — с краю тебе нельзя, ты упадёшь.

— Не упаду, я стану за тебя держаться.

Я не стал с ним спорить, решив про себя, что передвину его к стенке, когда уснёт.

Перед сном традиционно читаю вслух «Остров сокровищ». Оля и Дима слушают внимательно, и в страшных местах содрогаются. Но вот слушатели засопели носами, и я решил положить Диму к стенке. Было совсем темно, и я действовал на ощупь: поднял Диму и уложил его, как задумал, то есть, на бочок, лицом ко мне, мне так показалось. Однако, ощупав Диму, я обнаружил, что его руки лежат за ним, ближе к стене. Опасаясь, что он их отлежит во сне, я попытался перетащить их на мою сторону, то есть, на ту, куда обращена мордочка. Мне это удалось.

Дима недовольно промычал во сне. Я понял, что-то не так, проверил всё ещё раз и убедился, что Дима, напротив, лежит лицом к стене, и я фактически выворачивал его руки, а не освобождал.

Осознав свою ошибку, я поторопился возвратить ситуацию в первобытное состояние.

— • —

Будучи в деревне, Дима, подражая бабе Дуне, кричит на кур:

— Чтоб вы провалились, проклятые! — пожевал губами и кинул в них камнем.

— • —

В квартире баба Дуня и Оля. Звонок в дверь.

— Кто там? — спрашивает баба Дуня.

— Откройте, насчет гардероба! Я из двенадцатого дома.

— Какого гардероба?

— Бабушка, не открывай. Какая разница, из какого дома, жулики везде бывают.

— • —

— Папа водил нас в кино, — рассказывает Дима, — Олю взял за одну руку, а меня за третью. Оля, сейчас же ешь! Слышишь?

— Оля! — в его голосе появилась твёрдость, — не говори глупостей, вот…

— Повторюшка, дядя Хрюшка! Слышал звон, да не знаешь, откуда он.

— Оля, а помнишь?

— Не помню.

— А вот, помнишь, Оля?

— Не помню. — Оля элементарно сбивала его с толка.

— Это нечестно, Оля, — не выдерживаю я, — ты даже не дослушиваешь, что он хочет сказать!

— Заранее знаю.

— • —

— Папа, что такое «салям алейкум»?

— Это «здравствуй» по-узбекски.

— Нет, папа, это кружка, — острит Дима и строит мордочку.

— А рожу-то скорчил! — комментирует Оля.

— • —

— Папа, — обратилась ко мне Оля; её слова с трудом прорываются сквозь энергичное жевание, — «Даки» смотрел?

— Смотрел.

— И я смотрел, — мгновенно заявляет Дима, домазывая на щеки остатки бутерброда с вареньем.

— Нет, Дима, ты не смотрел.

— Смотрел!

— Хорошо. Тогда расскажи, пожалуйста, о чем там?

Дима отхлебнул чая, отставил кружку, плеснув при этом на стол, воткнул палец в лужицу и, рисуя им картину битвы, приступил:

— Рыцари сражались с Даками, и те отступили.

— Неправильно! — прервала его Оля.

Не в моих правилах вмешиваться в спор детей, но тут я не выдержал.

— Оля, будь правдивой. Я прекрасно помню, что Даки отступали.

— Хорошо, дальше, а император был?

— Такой толстый, низенький?

— Нет, — Оля явно сбивала его с толка, используя хитрость и применяя недозволенные приёмы.

— Тогда не помню.

— А пушки там были?

— Пушки? Нет.

— А пистолеты?

— Нет.

— Правильно, Дима. По-моему, Оля, он всё же смотрел этот фильм.

— А что было?

Она стремилась во что бы ни стало уличить Диму:

— А стрелы, а колёса?

— Были, какие у пушек.

— Вот ты и поймался, Димочка! — с чувством произносит Оля.

— • —

Мы с Димой вошли в лес и двинулись тёмной тропинкой. Дима заглянул в широкую трубу, полную хламом, потом забрался на горку, и на моё указание спуститься весело поплясал и обстрелял меня снежками. День неплохой , но солнце в тумане.

Дима остановился у догорающего костра и замер, глядя на мерцающие угли, задумался. Удивительное дело, даже дети попадают под очарование костра. Дима сказал:

— Горел, горел, и… всё, — он стал ворошить золу, которая разлеталась при этом в стороны, и мне пришлось оттащить его за рукав. Дима возмутился, ему очень не хотелось уходить от костра.

— Папа, ну зачем ты меня тащишь?

Навстречу пробежала на лыжах молодая женщина, громко объясняя сыну лет шести, как правильно стоять и двигаться на лыжах. Малыш мальчик румяный и симпатичный, но окружающие невольно обращали взгляд не на него, а на туго обтянутый зад мамаши.

— • —

Играем в лото по-крупному, по полторы копейки, а когда кто–то предложил по две, страсти и вовсе разгорелись. Каждый ревниво следил за картами соседа.

— Поболтай мешок, — периодически приказывала баба Дуня. Она волновалась, потому что давно не выигрывала.

— Поболтай, поболтай, — просили и другие. Ольга огребала кон за коном.

— Подсматриваешь, — решила Тоня. — Смотри у меня, этого делать нельзя.

Нервный смех. Заболеть можно нервными болезнями от такой игры.

— Барабанные палочки, сапоги, революция, туда-сюда и обратно, дедушка, кол, уточки, сорока…

— • —

Арабатская Стрелка.

Превосходное весеннее утро. Ночью прошел дождь, обильно напитал землю, деревья, а тёплое солнце нагрело воздух до нежного аромата. Мы с Димой шлёпаем за молоком: он на велосипеде, я пешком.

Навстречу трое парней. Лица их не отмечены интеллектом, один энергично рассказывает:

— Я раз… блин!

— Я опять раз… блин!

— А волна… блин!

— Ветром… блин! Пойдём в парк, выпьем.

— Что такое, законное явление!

— • —

— Скоро к нам гости придут? — спрашивает Дима.

— А что?

— Мне надо вырасти, — он держит меня за палец и мечтает: — Приедем в Москву, домой, все заболеем, кто ангиной, кто гриппом!

Сегодня в нашем домике весело. Дима издаёт дикие звуки, похлопывая ладошкой по ротику; не то монгольские, не то негритянские мелодии.

Оля под эту какофонию отмачивает твист.

— • —

Москва.

Тоня уехала в Скуратово навестить бабу Дуню, хозяйство на мне.

Слышу шум на кухне, где мои орлы самостоятельно ужинают. Кричу:

— Что у вас, всё в порядке?

— Всё в порядке, — дружно ответили мне.

Я заглянул.

— Что ж, в порядке так в порядке, только не забудьте стол поставить на ножки, привязать люстру и вымести осколки стакана.

— • —

— Папа, я в лесу видел огромного слона. Ты его боишься? А в зоопарке я видел большого Мишку; он папа маленького Мишеньки. Почему в зоопарке живёт медведь?

— Не знаю.

— Там еще есть тигрёнок, ты его не бойся: он меньше меня, — Дима показывает волка на картинке в «Огоньке», — видишь, он меньше меня. Еще я видел дядю в тапочках с молотком и ножом. Ты его бойся, у него большой нож.

— • —

Обедаем.

Оля копается в шницеле, там что-то красное.

— Мама, что это?

— Это перчик, ешь.

— Ешь, ешь, Оля, это перчик.

— Дима, компот будешь, или я допью?

Я тянусь к стакану.

— Подожди, папа, он сейчас приедет. Фырр, заводим мотор и… — стакан подъезжает ко мне.

— Папа, правда, рано спать?

— Пора.

— А мама сказала, что рано.

— Что ты неправду говоришь, я этого не говорила.

— Нет, сказала, — он в смущении за свою ложь бьёт Тоню по платью.

— • —

И снова Азовское море.

С четырёх лет Дима стал стесняться:

— Оля, отвернись, — просил он и забивался с горшком в угол; меня и Тоню не стеснялся.

— • —

Мухи мешают Диме спать. Я встаю и пытаюсь его штанишками выгнать этих мерзких насекомых из домика. Он с интересом наблюдает.

— Папа, ты боишься мух?

— Нет.

— А они тебя боятся?

— Не знаю, вроде боятся, только не очень, видишь, никак не могу прогнать!

— А тигра боишься?

— Боюсь.

— Не бойся, он маленький, я его на ручки беру.

Особой разницы между тигром и мухой Дима еще не видел. По его мнению получалось, что мухи доставляли больше беспокойства, и поэтому их следовало бояться больше, чем тигра, которого он видел только в клетке. Дима уснул.

— • —

Он проснулся, посмотрел на меня еще туманными ото сна глазками и вдруг, улыбнувшись, спросил:

— Что, папа, идут дела? — это была новая фраза в его лексиконе, и он еще повторил её, чтобы запомнить как следует.

— • —

Я наполнил ведро из колонки и потащил его к дому. На полпути меня остановил Дима.

— Папа, пойдём, нальём из крана другой воды. Он потащил меня обратно к колонке.

— Вот когда я пойду в другой раз, ты пойдёшь со мной, сам откроешь кран, а теперь пошли-ка домой.

Я возобновил своё движение к дому, а Дима решительно повернул в обратную сторону, сказав:

— До свидания!

Это означало, что он со мной не дружит и уходит от меня навсегда.

— Я к тебе больше никогда не приду, папочка!

— • —

В поезде.

— Папа, купи мне булочку. Давай купим две, мне и Олечке, а то я стану есть и она заплачет.

— Тогда надо и бабушке купить, — сказал я.

— Нет, бабушка здоровая! Ей не надо. Поезд стоит медленно-медленно, а когда поедет, то гремит, все мои уши загремят.

— Дима, грязные ушки плохо слышат.

— Да, папа, мне мальчик говорит: «Дима», а я отвечаю: «Что?», потому что мои ушки грязные и не слышат.

Это он подкрепляет мои слова примерами из своего жизненного опыта.

— • —

Москва.

Вечером, как обычно, зашел в детский сад, чтобы забрать Диму. Двор сада переполнен визгом, смехом, топотом. Малыши носились подобно снарядам, сокрушая друг друга, иные строили волшебные дворцы или неприступные крепости.

Диму я обнаружил неподвижно висящим вниз головой на лестнице, в позе йога. Я вернул его в человеческое положение, крепко взял за руку, иначе убежит, и повёл домой.

— Папа, рассказать тебе сказку?

— Расскажи.

Рассказ его полностью отвечал требованиям причинно-следственных связей и логики, что меня приятно удивило. Диме в апреле исполнилось пять, и как это ни прискорбно для меня, но до сих пор он не отличался ясностью изложения. Стихи ему не давались начисто. «Резиновую Зину», это элементарнейшее стихотворение из восьми строк, он не мог заучить уже целый год.

Не мог даже четко изложить, что у них в детском саду было на обед. Меня это огорчало, и я не мог понять, от кого он унаследовал такие неспособности. Оля в три года знала назубок «Муху Цокотуху», «Мойдодыр» и прочие серьёзные поэтические произведения.

И вот я слушаю его сказку, слушаю с удовольствием: она интересна по содержанию и превосходна в изложении. Дима точен в деталях, не путается в героях и, главное, логичен. Права была баба Маня. Молодец, бабка! Провидица.

— Дима, ты сам придумал эту сказку?

— Нет, папа, я смотрел в кино.

Удивительно! Он стесняется того, чего не хватает подавляющему числу взрослых людей — способности фантазировать. По младости своей он не ценит сокровища, которым владеет от рождения, и даже отрицает его наличие, полагая чем-то скверным. Фантазия его великолепна.

Эта сказка — синтез прошлых, старинных, классических сказок и современных кинобоевиков, а также военных лент. Его герои змей Горыныч и Петрушка, прекрасный царь со слугами, принцессой и командиром–лейтенантом, лиса, волк и милицейская овчарка, Баба-яга и немцы-гестаповцы, красные и белые.

Змей Горыныч у него смотрит из башни в бинокль и разъезжает на лошади. Бабу-ягу берут в плен, а командир-лейтенант сражается с фашистами на автоматах.

Сюжет изобилует автоматной стрельбой, гонками на лошадях и мотоциклах (автомобилях), разрубанием врагов на кусочки и их последующим оживлением, по которому Баба-яга большая мастерица.

В процессе рассказа Дима уточнял отдельные технические детали.

— Папа, кто кого обгонит, крокодил или лодка?

— Крокодил.

— Правильно, потому что у него больше сил. Папа, а ракета мчится, как бешеный конь?

— Даже быстрее! — у Димы округлились глаза от удивления, как можно мчаться скорее бешеного коня!

— Слушай меня, папа, водолазы надевают водолазный костюм, чтобы вода не попала в рот, и если каска порвётся, то человек умрёт. Ну вот, Петрушка надел волчью каску и пошел в лес. Там он встретил волка и сказал ему: «Давай, кто кого съест». Волк сказал: «Давай».

Волк бросил в Петрушку топорик, но не попал, а топорик воткнулся в дерево и долго дрожал, а Петрушка из автомата: пырш! У волка голова развалилась на два кусочка, и он повалился.

— Папа, это хорошо, что фашиста убили, он ведь плохой?

— Да, Дима, — ответил я неуверенно.

— Потом Петрушка сел на лошадь, и в волчьей каске поскакал во дворец к прекрасному царю. Прекрасный царь, папа, очень плохой. Он убивал людей, и у него были полицаи и две принцессы, его слуги. Змей Горыныч посмотрел в бинокль, увидел Петрушку, побежал к царю и донёс об этом.

Прекрасный царь закричал противным голосом:

— Вперёд, полицаи и немцы!

Дима показал, как шли немцы; гусиным шагом, прижав к бедру автоматы.

— Петрушка закричал «ура!», бросился на врагов и стал их убивать. Правильно, папа, что он стал убивать врагов, они ведь плохие?

— Да, Дима, правильно, враги плохие, — еще более неуверенным голосом ответил я.

— Петрушку поймали и связали. Полицай отдал Петрушку немцу, немец Змею Горынычу, Змей Горыныч Бабе-яге, Баба-яга принцессе, та другой принцессе, — Дима строго придерживался фактов, ведь принцесс-то было две, — Принцесса отдала его прекрасному царю, а царь закричал: «Убить его!» И Петрушку хотели убить, но тут во дворец прискакали красные и порубили всех на кусочки!

— Петрушку тоже?

— Нет, папа, он же за красных. Красные хорошие, правда, папа?

— Правда, Дима, — неуверенно ответил я.

— А потом Баба-яга их оживила.

— Хороший конец, Дима, у твоей сказки! — уверенно сказал я.

— • —

На пляже неподвижно, как изваяние стоит девушка с косичками, торчащими перпендикулярно в стороны, со стройной талией и выдающимися бёдрами.

Она загорала и позировала.

Остановилась легковая автомашина; из неё вышли два парня и стали смотреть на деву. Минут через пять они завели мотор и уехали.

Затем к реке подъехал гигантский автокран; из него высыпали ребята, минут пять смотрели на девушку и полезли купаться. «Они бы еще на паровозе прикатили», — подумал я.

Тем временем, мой Дима играл в войну, имея на вооружении саблю, пистолет и лошадь. Лошадью, натурально, был я. Минут двадцать нахожусь на четвереньках. Дима скакал, стрелял, падал простреленный на землю, ложился поперёк лошади, и я вёз его домой раненого.

— • —

Дима лёг животом на скамейку, голова внизу, и стал взбрыкивать ногами, пытаясь воспроизвести стойку на руках.

— Папа, теперь ты сделай.

— Я не умею, Дима.

— Ну тогда покажи, как ты не умеешь, — устал и присел ко мне. — Папа, нарисуй палочкой самолёт.

Я нарисовал на песке. Он встал на рисунок и полетел на самолёте. При этом он так натурально изображал работу мотора, что во все стороны полетели слюни. Я был искренне поражен простотой его проникновения в творчество.

— • —

Оле десять, Диме шесть.

Мы едем в автобусе в магазин «Тысяча мелочей», что на бульваре Карбышева. Дима, как обычно, прилип к окну: своими огромными глазами он жадно поглощает проплывающий мир домов, улиц, бульваров, собак, милиционеров, военных…

Иногда он задаёт вопросы, иногда Тоня в порядке обучения спрашивает его.

Я рассеянно обтекаю взглядом спину водителя, смотрю вперёд, наслаждаюсь эффектом набегающих предметов и одновременно улавливаю вопросы, машинально отвечаю на них, то есть, даю свой, идущий от души, искренний вариант ответа, порою без учета мышления ребёнка, который, собственно говоря, и находится в центре беседы, являясь её смыслом.

— Что это? — спрашивает Тоня, указывая на киоск, с намерением укрепить чтение.

— Пиво, — Дима взглянул мельком и, скорее всего, не прочитал, а определил по внешнему виду строения.

— Нет, Димочка, не пиво, а квас, — огорчённо сказала Тоня.

— Всё равно, — безразлично замечает он.

Тоня не возражает, но тут не выдерживаю я.

— Не всё равно, сынок.

— А какая разница?

— Колоссальная! Вкусы пива и кваса принципиально разные.

— • —

Тоня воспитывает Диму громко с балкона нашего пятого этажа. Жильцы шести домов двора с интересом прислушиваются и даже комментируют.

Убегая от Оли, Дима упал на асфальт и содрал себе кожу на левой коленке, левой руке, носу и верхней губе. Дима немного поревел, успокоился и прихромал домой.

Прошел день.

Я поставил Диму в ванну и стал купать из душа. Ранки еще не зажили, и прикосновение к ним причиняло ему боль. Вода попадала на ссадины и щипала. Он жаловался и просил не лить на ранки, а я выговаривал ему:

— Надо, чтобы ты вперёд знал, как себя вести.

Продолжая воспитание, я вытащил его из ванны и поставил на душевую решетку. Он стоял голенький, мокрый, беззащитный и кривился от боли, а я ворчал и был суров. Дима жалобно заревел, слёзы ручьём потекли из глаз и смочили щечки.

Всем стало жаль его. Оля, желая отвлечь его от горестей и утешить, встала возле него и сказала:

— Какой ты мнительный, Димочка, то язык покажешь, то с медалью обманешь.

Дима протестует и, в ответ, уличает её. Он смотрит прямо мне в лицо мокрыми большими глазами и плачет всё горше, ибо не находит во мне сочувствия и понимания, к которым привык и сросся с ними. А я всё ворчал, хотя больше для порядка и через силу. По сути, жалость и нежность переполняли меня. От кого он мог ждать защиты, если не от меня, да еще от Тони, да от Оли, но те находились в комнате за дверью, а здесь я, но сердитый. И я ворчал, хотя стена, которой я отгородился от жалости и сочувствия, таяла, как мороженое в летнюю жару, и, наконец, рухнула и исчезла вовсе.

Я схватил моего малыша, стараясь не потревожить ранки, обернул полотенцем, губами осушил его обильные слёзы и приласкал, и не было пределов моим отцовским чувствам. Он заревел еще громче, ибо его горесть нашла, наконец, своего потребителя, и он выложил её сразу всю, без остатка. Он уткнулся мордочкой в мою щеку, и я разрешил ему обнять себя. Он крепко обхватил меня и прижался. Я взял его на руки и понёс в постель, а он, умиротворённый и уже довольный, трогал мой нос пальчиком.

— • —

Дима к пяти с половиной годам научился выговаривать букву «Р».

— Папа, — сказал он мне по пути из детского сада, — я трещу и трещу, даже язык заболел. Трещу, а остановиться не могу. Потом во рту у меня щелкнуло, и я перестал трещать.

— • —

Мы с Тоней уходим в кино.

— Папа, хоть ты, что ль, остался! — ноет Дима.

— • —

Подходим к детсаду. Издали увидели женщину с девочкой; она что-то сказала водителю черной «Волги».

— Папа, знаешь, что она сказала?

— Что?

— Куда ты едешь на человеков! — вот что она сказала.

— • —

— Дима, ты говоришь неправду! — сказала Тоня своему шестилетнему сыну.

— Нет, правду, — упирался тот. Речь шла о двух конфетах, якобы, съеденных Димой, и это было серьёзно.

Истина в этом вопросе нужна, как воздух.

— Посмотри мне в глаза, — пустила в ход Тоня свой главный козырь. В мистике Дима еще не успел поднатореть и потому пасовал.

— Ага, отворачиваешься, значит, врёшь!

«Как бы научиться не отворачиваться, — подумал Дима, — но мама говорит, что на лице написано. Где же, на щеках, что ли?»

— • —

Дима взял тарелку с печеньем, чашку чая и устроился перед телевизором.

— Дима! — панически закричала Тоня, — ты свалишь чашку на пол. Это папа тебе позволил?

«Хрен с ней, с чашкой!», — мысленно улыбнулся я. Димка так вольготно расположился, что любо-дорого посмотреть.

— • —

— Давай, Дима, кашу есть. Кстати, мы с тобой пописали?

— Да, папочка, писали, — и он запел, — Мы с папой писали! Тру, ля, ля!

Вечером:

— Дай яблочка, дай, а то утром не буду кашу есть, — пауза, — не буду, вот увидишь! Станешь просить, а я не буду.

— • —

Дима острит:

— А помнишь, Миша плясал вверх ногами, а помнишь, он головой плясал.

— Папа, не ходи на работу, там её нет, она закрыта. Ты придёшь, а солдаты тебе скажут: «Папа, зачем ты пришел? Работа закрыта», и ты уйдёшь.

— • —

Я попросил Диму потереть мне спину мочалкой, но он стал мыть мне голову. Он поливал из душа, старательно скрёб пальчиками и ворчал:

— Что я тебе, и уши буду мыть, и шею? Нос тоже я? Не ленись, мой сам, помогай!

— • —

— Папа, что если бы всё продавали без денег? — глубоко копнула Оля.

— Это не продавали, а выдавали, — поправил я, — и ничего хорошего не получилось бы.

Но ребята не обратили внимания на мой скепсис.

— Мы принесём колбас, окороков и повесим на балконе, — мечтает Дима.

— Перед обедом фужер портвейна не помешал бы, — втянулся в игру и я.

— Притащим все торты и сложим их в холодильник, — по-хозяйски распорядилась Оля.

— Игрушки, все игрушки в спальню! — возбуждённо запрыгал Дима.

— Работать перестанут, — заключила Тоня.

Промолчала только баба Дуня. Она не верила, что такое может произойти.

— В спальню поставим машину, которая грызёт семечки, — продолжает мечтать Оля.

— Я предпочитаю грызть самому, — возразил я.

— Да нет, папа, — уточнила Оля свою мысль, — она станет лишь шелуху снимать, а есть семечки будем мы. Целыми горстями будем есть!

— • —

— Я смотрел это кино! Я знаю! — закричал Дима.

— Нет, Димочка, ты не знаешь.

— Знаю.

— Про что там?

— Там его в тюрьму сажают,

— Нет, Димочка, к сожалению, его в тюрьму не сажают.

— • —

— Папа, завтра выходной?

— Да, воскресенье.

— Я не пойду в детский сад?
— Нет.
— Спасибо тебе, папочка, что завтра воскресенье.

— Папа, купи мне щенка.
— А зачем он тебе?
— Нужен, нужен, купи.
— А ты знаешь, он станет гадить на пол?
— Не станет, большая собака не какает.

— • —

Дима ест кашу и рассказывает.
— Вчера я бегал за собачкой.
— Она какая, белая или черная?
Он нагнулся и доверительно прошептал мне на ухо:
— Белая.
Время от времени он встаёт на табурет, вытягивается в струнку и говорит:
— Видишь, какой я большой!

— • —

— Пойди, взгляни на этого интеллигента, — сказала Тоня, едва сдерживая смех. Я заглянул в туалет. Дима сидел на горшке с серьёзным, я бы даже сказал, озабоченным видом. Болезненно морщась, он проглядывал «Советскую Россию». Газету, впрочем, он держал вверх ногами. Время от времени он щурился и посвистывал зубом. За эту привычку посвистывать зубом меня постоянно пеняла Тоня.

В другой раз он отыскал свой маленький чугунный утюжок, взял его в правую руку, встал в свободную стойку, ноги на ширину плеч, плечи развёрнуты, и сделал несколько глубоких вдохов. Затем начал ритмично выбрасывать руку с утюжком вперёд, всякий раз прицеливаясь, как пистолетом.

Я вздохнул. Точно такое упражнение выполняю я по утрам. Мартышка он, да и только.

— • —

— Папа, я расскажу тебе про Ходжу Насреддина. Подъехал он на коне к Джафару с саблей, и как воткнёт ему прямо в глаз. Голова у Джафара и отлетела. Джафар не сказал «пожалуйста», и поэтому его не любят и ножиком ему голову чик!

— • —

Дима учится считать.

— Оля раз, мама два, Дима три…

— Молодец, Дима, — одобряю я, — дальше.

— Папа четыре. Четыре папы, — делает он неожиданный вывод, к моему огорчению.

— • —

Дима плёлся за мной по узенькой тропинке, погружая задние лапки в тёплую нежную пыль, отстал.

— Папочка, красивенький, подожди меня.

— • —

Дети катались на санках, на дощечках, ковриках, банных шайках, и даже цинковой ванночке; и всё со скрежетом, свистом, страшным грохотом.

— • —

— Папа, а почему они говорят: «А то сейчас как дам по морде!»

Он идёт в детсад и мечтает:

— Приду и расскажу, как Саломатин-отец таскал нам бутерброды, а мы обжирались!

— Папа, что это?

— Конденсатор.

— А это?

— Потенциометр.

— Для чего они?

— • —

— Папа, я сделал автоматические провода и автоматические наушники.

— • —

Утром я проснулся с мутью в голове. Дима, как обычно, проснулся раньше и теперь внимательно смотрел на меня, ожидая пробуждения. Ему скучно. Я открыл глаза и приподнялся на локте. Он радостно улыбнулся мне, и мы отправились умываться.

— Папа, что такое три звёздочки?

— Коньяк.

— А кто такой коньяк?

— Вино.

— Да нет, человек.

— А, полковник.

— Правильно.

Работоспособность его поражает: вот сейчас он неутомимо бьёт молотком об пол и одновременно раскрашивает стену карандашом.

— • —

Оле одиннадцать, Диме семь.

— Дима, приходи с гулянья ровно в восемь! — он мотнул головой, выражая полное понимание и согласие. Пришел в десять, и так три дня. «Не будем с ним разговаривать», — решили мы с Тоней. Так Дима этого педагогического приёма даже не заметил. Жил своей жизнью и наслаждался ситуацией. Никакого спроса!

Его уже начинали тревожить фундаментальные, философские вопросы жизни.

— Папа, — серьёзно спрашивает он меня, удобно усаживаясь верхом на мою коленку. — Почему она сказала: «Я не хочу жить, я устала жить», — Дима напряженно ждёт ответа.

— Кто она? — до меня еще не дошла глубина вопроса, и я низводил его на уровень сказанного кем-то из знакомых людей.

— Да не важно, кто она. Вообще, зачем так говорят, «Я не хочу жить»?

Он смотрит мне в глаза, возможно, ожидая и определённо надеясь, что такие слова говорят просто так, не закладывая в них подлинного страшного смысла. Я молчу, имитируя занятость, а он не сводит с меня больших ясных глаз и упорно ждёт ответа. Решительно, вопрос возник в непостижимой глубине его человеческого сознания. Как ответить ему?

Сказать, что это просто поговорка, и такого на самом деле не бывает, чтобы человек не хотел жить? Но это станет с моей стороны ложью. Увы, бывает. Дима рано или поздно узнает правду и вспомнит эту мою большую ложь. Нельзя играть такими серьёзными вещами.

В его возрасте его окружает много разной лжи. Он верит, что игрушки под новогоднюю ёлку ему подкладывает дед Мороз. Он поверил, и единственно, что его заинтересовало, это каким образом дед проникает в комнату.

— Через балкон, — пояснил я, — он же мороз, а не человек.

— Давай подсмотрим, когда он станет проходить? — предложил Дима.

— Нельзя, Дима.

Мы собрались в кухне, закрыли дверь и напряжённо ждали. Когда через некоторое время подошли к ёлке, подарки уже лежали там. Дима опустился на колени; он излазил пол в поисках следов.

— Не оставил, даже маленького следа! — прошептал он, поражённый хитростью деда Мороза.

Тоня как-то сказала ему, что в школе устанавливают камеру, через которую учительница сможет наблюдать учеников, находящихся дома. Дима поверил.

Так как же ответить ему?

Я долго колебался, наконец, решился.

— Знаешь, Дима, если у человека очень большое горе или он очень болен, то ему действительно не захочется жить, и он может произнести такие слова.

До сих пор не уверен, то ли я сказал.

— • —

Дима возмущён.

— Что же из этого получится? Папа доставал мои штанишки и забыл закрыть ящик, а я закрыл!

— Папа, пойдём гулять.

— Не могу, Дима.

— Тогда я один пойду, а ты оставайся, — и, значительно глядя, пугал меня, — один пойду!

— Что вы видели на ВДНХ?

— Парашютиста, голова огромная круглая и дохлая. Железная и здесь, и здесь, и вся дохлая.

— • —

— Папа, ты милиционер?

— Нет, я подполковник.

— А полковник кашу варит?

— Варит, Димка.

— Папа, ты когда разведчиком был?

— Давно.

— Почему Ленин умер?

— Его шпионы убили.

— Их посадили в тюрьму?

— Да.

— Так они не поместятся! Тюрьма-то маленькая.

— Папа, ты купишь автомашину?

— Денег столько нет, а лотерейный билет не выиграл.

— Как это, не выиграл! Что же ты купил такой билет? Надо покупать такие, которые выигрывают, — он долго ворчал на меня, помолчал, а затем спросил: — Ты какую хотел купить?

— «Волгу».

— Зачем? — взорвался от возмущения Дима. — Надо грузовик.

— На грузовик денег нет.

— Купи мотоцикл.

— Мы на нём не поместимся.

— А ты с коляской.

— Всё равно, нас четверо, а сядут лишь трое.

Он надолго замолчал, утонув в проблеме. Шел рядом, тяжело вздыхал.

— • —

— Дима! — рявкнул я, — Пиши как следует!

Он двумя пальцами приподнял над тетрадью авторучку и аккуратно уронил её на текст. Перо вонзилось в бумагу, обильно оросив её чернильными брызгами.

Я остолбенел. Меня охватило бешенство и жгучее желание его отлупить. Однако, поостыв, я понял, что в моём намерении нет смысла. В другой раз я снова позволил себе вспылить. Дима отвернулся, закрыл ладошками мордочку и горько зарыдал тоненьким голосом; слёзы пробивались и текли между пальчиками, заливали грудь.

— Ты теперь на меня кричать станешь? — выговорил он сквозь рыдания.

Я готов был убить себя!

— • —

Диму воспитывали в случаях: когда он сыпал на себя песок, вытирал руки о штаны, стучал мельницей по своей голове, небрежно вытирал попу, топал ногами, надоедал со щекоткой, отказывался лечь спать, наполнял кружку из крана и сливал воду в ванну, не засучив рукава. А также, когда приносил из детсада обломки игрушек, тянул время за обедом, ленился читать, произносил глупости, убегал играть к гастроному, а это далеко, обсасывал прилавки магазинов, садился верхом на мусорницу, проходил в комнату, не снимая ботинок, легко поддавался влиянию скверных мальчишек, таскал им из дома игрушки безвозвратно, говоря «я же обещал», то есть, проявлял исполнительность без разбора.

— • —

— Папа, ты купил бумагу? — он испытующе смотрит на меня. Я понял, что запираться бессмысленно и признался:

— Нет, не купил.

Дима глянул укоризненно и вместе с тем торжествующе, ибо в этот момент почувствовал себя нравственно выше меня, и это доставило ему глубокое удовлетворение.

— А какую бумагу, помнишь? Повтори! — потребовал он, иронически улыбаясь и предвкушая мой провал, но тут я был на высоте.

— Салатовую, синюю, зелёную и красную, — четко отрапортовал я.

Он одобрительно кивнул головой.

— Придёшь на службу, повторяй! — сказал он с озабоченным видом, — хорошо? Но только шепотом.

— Почему?

— Потому что… солдаты ждут команды, а услышат «красную, зелёную, синюю…», хорошо это?

— Плохо. Ладно, стану шепотом.

— Нет, ты про себя.

— Ладно, — он помолчал.

— Папа, надо, чтобы было больше выходных дней, и меньше рабочих.

«Вглубь смотрит дитя», — одобрительно подумал я. Тут наши чаяния совпали, но я сказал:

— Нельзя, Дима, тогда у нас с тобой не будет рубашек, пальто, хлеба, ведь всё это делают на работе.

— • —

Дима запрятался за угол забора, и, лёжа на брюшке, осторожно выглядывает, ища глазами врага. Какое захватывающее дух чувство владеет им в этот момент! Оно вошло в него не размышлением, а через тысячи поколений его предшественников, отца, деда, прадеда и… далее.

Чувство подсознательное; настоящего врага нет, и Дима не знает, кто он такой, этот враг, но сердце выпрыгивает из груди, и он, припав к земле и стараясь слиться с нею, ищет его, чтобы уничтожить его. Зов эволюции!

Рисует тоже со смыслом, смотрит в корень. Щель прицела в щитке пулемёта должна быть круглой, как глаз. Ноги своих солдат он рисует тонкими, одной линией, чтобы враг не мог в них попасть.

Дима достал ручку и собрался работать, когда обнаружил, что нет бумаги. Он подошел к Оле и вежливо, но твёрдо попросил бумаги, которая у Оли имелась, и иной ребёнок на её месте, возможно, и удовлетворил бы просьбу брата, но только не Оля.

Сначала она сделала вид, что не слышит. А когда имитировать глухоту стало невозможно, ибо Дима прокричал свою просьбу настолько отчетливо, что у меня закружилась голова, хотя я сидел в противоположном конце комнаты, Оля взглянула на него и попросила не мешать.

Из педагогических соображений не в моих правилах вмешиваться в разборки моих ребят, но в данный момент меня подмывало сделать Оле замечание. Она явно провоцировала инцидент.

Когда же он вновь настойчиво повторил просьбу, Оля отбросила церемонии и объявила, что для Димы у неё бумаги нет, сделав упор на «для Димы».

Терпение моё и Димы лопнуло одновременно, сказалось родство. Я встал, чтобы предупредить Олю, но Дима оказался проворнее. Пока я продвигался к месту действия, Оля успела получить линейкой по голове и уже мчалась за Димой для ответного удара.

Догнав, она обрушила на его голову кулачок с зажатой авторучкой. Димина мордочка и стол оказались обильно забрызганы синими чернилами в виде мелких и крупных клякс. Чернила на своём лице он не увидел, но посмотрел на измазанный стол и злорадно сказал:

— Хорошо, Олечка, хорошо забрызгала, бери тряпочку, вытирай, а то папе скажу!

Оля ушла с гордо поднятой головой. Её слово стало решающим.

— • —

Дима не терпел недомолвок и всегда вносил ясность.

— Я, папа, не люблю черный хлеб, я люблю белый… с маслом или, папа, купи мне шоколадку, — неожиданно попросил он.

— Папа, сегодня у нас, — глаза его даже округлились от значимости того, о чем он собрался рассказать мне, — Андрюша Семёнов — немец — подложил мину, а Соломатин, мой подпомощник, на ней подорвался!

— Как?

— Так, подорвался!

— И что же?

— Раскол! Сердце выскочило, — Дима провёл пальцем наискось по груди, показывая, какой раскол.

— Где же он?

— В больнице. Я капитан шестого ранга, а он седьмого. Я главней, а он мой подпомощник, — он некоторое время молча размышлял, затем дёрнул меня за палец, забежал вперёд и перегородил дорогу.

— Папа, что, продавцы живут в магазинах? — спросил он, пытливо заглядывая мне прямо в глаза.

— Нет, они живут дома, как я и как ты.

Он помолчал, обдумывая.

— Как же они выходят, через прилавок или окошко, что ли, вылазиют?

— Вон оно что! Нет, Дима, позади магазина имеется дверь, ты её не заметил.

Он полностью удовлетворён, камень раздумья свалился с его души.

Дима копил всякие интересные, на его взгляд, выражения взрослых и держал их при себе, но вот мы сели с ним играть в шахматы.

— Эх, люди, — вздыхает он, — ты съешь моего слона? Как жить-то будем, плохо станем жить, жизнь дорожает. Тэк, тэк, подумаем. Жалко мне тебя, — говорит он, с жалостью поглядывая на меня.

После игры он рисовал акварелью, а затем мы отправились на прогулку, предварительно оттерев мочалкой от краски лоб и уши.

— • —

По мере того, как наши дети подрастали, я стал замечать, что у Тони повышалась нервозность. Если я, с присущей мне прямотой, спрашивал о причинах такого её состояния, то получал весьма туманные, ни в коей мере не проясняющие ситуацию ответы. Они сводилась к тому, что «посмотрел бы лучше на себя, сам псих порядочный, слова сказать нельзя», и прочее в этом духе.

Кроме указанной прямоты мне еще присуща пытливость. Я стал молча приглядывать, и вскоре ухватил нить, так сказать, углядел суть состояния Тони. Насколько я усек, дело заключалось в том, что наши ребята в процессе формирования себя как личности наловчились здорово фантазировать. Тоня же, в силу специфичности своего характера, верила всему ими сказанному. Она и представить себе не могла, что её ребятишки просто врут, врут и всё.

Навыдумают с три короба! Однажды Дима пришел домой и, выразительно округляя глаза, стал рассказывать, как на лестничной клетке он встретил дядю, который сильно качался. «Он выпил очень много воды и даже упал, а потом принялся звонить в дверь к соседке, а соседка вышла и сказала, чтобы он никогда больше к ним не звонил!»

Тоня тут же побежала проверить сказанное Димой. Соседка всё отрицала. Я со своей стороны добавил, что соседка «наверняка скрывает, что к ней ходят пьяные мужики!»

Дима рассказывает о своих школьных делах. Больше всего ему запомнился звонок, который загоняет их из прекрасной перемены в класс к урокам. Он преувеличивал способности звонка и придавал ему сверхъестественную силу.

— Звонок у нас, папа, очень громкий. Звенит на первом этаже, а слышно на втором, третьем, четвёртом и пятом! — он даже округлил глаза. Я, однако, выразил сомнение.

— Да, папа, слышен! Даже если двери и окна закрыть, запереть, всё равно звонок слышен.

— Старшие ребята прыгают с пятого этажа вниз по трубе!

Я опять сомневаюсь:

— Что это за труба?

— Такая труба по этажам вниз со ступеньками.

— Лестница, что ли? — двигаю я его к реальности.

Он отрицательно качает головой, не желая расстаться с красивой выдумкой.

— Олечка, мне очень хочется тебя поколотить, но я не буду этого делать, а то ручка станет короче.

— • —

— Почему свинья не мёрзнет, хотя волос её редкий? – спросили ученики.

— Потому, что она медленно ходит, — ответила учительница.

— • —

Школьники писали сочинение на тему: «Что мы видим из окна нашего класса?»

Автомобиль, дворника, дерево, липу, жирафа, пушку, космонавта, муравья, пешехода, мусорный ящик, муху Дрозофилу, Фантомаса.

— • —

— Дима, я сегодня на самолёте была, — сказала Оля.

— Нет, Оля, детишек в самолёт не пускают.

— • —

Оля рассказала, что на урок ботаники ученики принесли лук, осмотрели его через микроскоп, затем съели без соли. Поджарили на спиртовке зёрна гречихи, съели. Вкусно.

Поболтали в воде мешочек с мукой, потом на эту воду капнули йод, для реакции. Мальчик допил, вкусно.

Пришла историчка.

— Почему пахнет луком? Какой предмет?

— Ботаника.

— Ясно, — сморщилась. — Не дышите на меня!

— • —

— Сегодня у нас было пение, — сообщила Оля за ужином.

— Кто у вас по пению, мужчина или женщина?

— Конечно, женщина. Она у нас стулья швыряет!

— Как швыряет, в кого? — изумился я.

— Да ни в кого. Берёт стул и бросает на пол.

— Могу себе представить, как вы ведёте себя на уроке, если преподаватель вынужден швырять стулья.

— Мы тихо разговариваем. Она сказала: «Давайте петь». Мы запели, а она тогда сказала: «Как вам не стыдно! Вы же пионеры!»

После этого некоторые притихли, а остальные продолжали разговаривать. Тогда она сказала: «Хорошо, поболтайте!» — отвернулась к роялю, вытащила бутерброд, чайничек, налила чашку чая и стала закусывать. Покушала и говорит: «Давайте петь». Мы запели и разговариваем. Тогда она швырнула стул и стала двигать рояль. Всё равно не помогло. Смешная она у нас, — заключила Оля свой рассказ.

Оля учится в пятом классе школы № 738. На второй день учебного года у них состоялось пять уроков, в том числе физкультура, «физра» на школьном сленге. Слово неблагозвучное и мне не нравится; меня всё подмывало сказать об этом Оле, да как-то не случалось. А затем привык. Слово как слово. Запретишь, придумают другое. Дети.

В этот день учитель физкультуры, небольшой в длину, но объёмистый посредине, бывший боксёр Редькин, вывел класс во двор, построил в неровную шеренгу, отметил по журналу отсутствующих и спросил:

— Кто был в спортивных лагерях и добился разряда? — такие нашлись, и Редькин записал их в тетрадку.

— Он опять новые штаны купил, — прошептала Олина подружка Лена. Редькин, действительно, часто покупал себе спортивные костюмы.

— Косицын, — внезапно произнёс Редькин, переходя, таким образом, к конкретным лицам, — Косицын, ты зачем уселся на бочку? И почему у тебя такой оборванный вид? Следует чаще покупать костюмы, чтобы выглядеть, как мы с Сергеем Петровичем.

У детей от смеха подкашиваются ноги. Лена даже закрыла лицо руками, чтобы скрыть смех.

— Почему-то, — говорит Оля, — в классе даже вовсе не смешное, но вызывает смех. Как начнут смеяться, и смеются, и смеются.

Косицын поковырял пальцем дырку в брюках и горестно потупился. Редькина тронула его печаль, и он смягчился.

— Ну ладно. Равняйсь! Смирно! Собрать окурки по всему двору!

Дети громко охнули. Двор огромный и грязный. Начали. Ходили гурьбой за каждым отдельным окурком, кирпичом или палкой, не торопясь, совместно, как бурлаки, тащили к общей куче, с наслаждением бросали и ползли обратно.

Энтузиазма хватило на пятнадцать минут. Редькин ушел, разбрелись и дети.

— • —

На родительские собрания по обычаю хожу я. Удовольствия это мне не доставляет, но надо.

— Кто в праздник не пил вина? — обратилась к родителям Татьяна Алексеевна, классный руководитель. Ни одной поднятой руки.

— Кто в праздники читал книгу? — ни одной поднятой руки. Не найдя в родительской среде ни одного положительного примера, годного для воспитания учеников, Татьяна Алексеевна обратилась к теме, непосредственно ученической.

— У нас три отличника. Подольскую Олю мы не можем считать, не мы её вырастили (Оля пришла из другой школы). Десять троечников! Еле тянутся, ну прямо на волоске. О причинах. Дома не помогают, а если и помогают, то неправильно. Просто подсказывают и всё. Какая польза?

Вот, говорю, между классной работой и домашней сделайте интервал, чтобы было видно, что не псалтырь. Ну хоть молотком по голове колоти. Подписывают дневник с ошибками! Неужели знаний не хватает? Вы не обижайтесь, я для пользы дела.

— Чумаков, есть кто от Чумакова? Бабушка? Ну, хорошо, пусть бабушка. Всё равно скажу. Он продолжает кушать шоколадки, весь перепачкается. Разве так можно?

— Липатов, очень слабый ученик, — она захлебнулась, рванулась за водой. — Просто ужас, ничего не понимает. Может быть, Вам отдать его в особую школу?

Папа побагровел, привстал и тихо, но злобно стал защищать сына.

— Что он, идиот? Дома решает правильно, а в школе не соображает? Как это, Вы можете ответить?

— Ну хорошо, вот его работа по арифметике: семьдесят минус двадцать пять, пишет девяносто шесть! Как Вы думаете, что это такое? Вы не обижайтесь, но я говорю, как есть.

Родители сидят: лица у них унылые, вытянутые, обреченные.

— Чугунов медлителен. Ему нужно время. Щербаков крутится, читает на три. Вам кажется, на четыре? Вы далеки от класса. Галя не любит под-

нимать руку, ругать нельзя, плачет. Моисеев как на винтах вертится. Ручку разбирает, собирает, сколько времени отнимает.

Липатов очень плохо, туго. Смотрит, а спросишь, как во сне.

— • —

После собрания, дома Оля перехватила меня еще на пороге и взволнованно сообщила, что звонил Лёня.

— Я сказала, что ты будешь через двадцать минут, а прошел час. Папа, звони скорей, а то он посчитает меня обманщицей!

Я позвонил. Оказалось, мы с Лёней Барановым, а это звонил именно он, коллеги по болезням. Он, как и я, проболел весь праздник, но, если у меня была простейшая ангина, то у Лёни выходил камень из почки.

— Как так, камень? — спросил я.

— Да вот, знаешь, повернулся со скрежетом и стал, того, выходить. Меня, конечно, скосоротило. Моча пошла красоты необыкновенной, с песком и кровью, окрашенная радугой. Пошел к врачу Нельке. Она меня ощупала по животу, очень так приятно. Женщина она интересная, возбуждает. Послала к урологу. Может быть, не поверила? Но у меня с собой бутылка, а в ней на дне песка на два сантиметра!

Люди

Рассказы

Актриса

Полковник в отставке Северов Николай Васильевич, уважаемый и непременный участник наших посиделок, любил больше слушать, нежели высказываться. Обычно он сидел в своём кресле глубоко и уютно, только рюмка с портвейном свидетельствовала о его участии в беседе. Теперь уж не вспомнить, да это и не столь важно, кто в связи с чем-то произнес слово «судьба».

При этом слове рюмка в крепкой руке полковника заколебалась так, что портвейн мог и выплеснуться, если бы Северов в свойственной ему решительной манере не опрокинул содержимое рюмки в рот. Полковник отличался редким самообладанием и способностью принимать единственно правильные решения в самых отчаянных ситуациях.

Учтиво дождавшись паузы в беседе, когда один собеседник закончил свою мысль, а следующий еще не допил свой портвейн, полковник приступил.

— Да, — сказал он, — судьба штука своенравная. Она вроде колеи, вот человек чувствует — жизнь идет не так, всё наперекосяк, а свернуть не может, *как магнитом тянет его по гибельному пути.* Знавал я людей, которые вроде всё делали правильно, и сами интеллигентны и вполне современны, не ниже удручающего уровня, а жизнь тем не менее всё тащила их на колею, вроде той, упомянутой мною выше.

Я думаю, с дурной колеи свернуть можно, но для этого необходимо обладать ощущением правильности своих мыслей и поступков. Однако, у одних это ощущение развито хорошо, а у иных оно в зачатке, а действуют они по жизни при этом решительно, радикально и тем только усугубляют дело.

Поступать в жизни следует осторожно и, главное, с уважением к людям; осторожно не в смысле Щедринского пескаря, а разумно. Оцени-

вая последствия своих поступков. А то ведь как — хочу, по-моему! Сделаю, как хочу, и вы мне не помеха! А если это ущемляет другого человека, обижает его? Значит, нельзя, что хочу. Вот в чём суть.

Не утверждаю, что следование сказанному достаточно для избежания скверной судьбы, но наверняка это смягчит на возможных поворотах и при ударах.

Вот жизнь одной семьи из ветвей Фридрихсонов прошла перед моим близким, очень близким другом Николаем, как в кинематографе. Он вроде участвовал в жизни этих людей, но не изнутри, а со стороны, как наблюдатель. И ведь мог быть захвачен ею, вовлечен на колею… а может, наоборот, его участие изменило бы судьбу семьи.

Полковник задумчиво помолчал и затем продолжил.

— Фридрихсоны истинные москвичи, если полагать четыреста лет — достаточный срок для представления о времени и поколениях. Предки их осели в Москве еще при царе Алексее Михайловиче как торговые люди из Швеции; в их жилах текла кровь викингов.

Естественно, крови этой за указанное время сильно поубавилось: они женились-переженились на русских женщинах и обрусели до такой степени, что от шведских корней остались лишь фамилия Фридрихсон да изредка появляющиеся среди них скандинавские характеры да облик.

А сколько Фридрихсонов исчезло через их женщин, вышедших замуж за русских, никто и сосчитать не возьмётся. Взять хотя бы Марию Николаевну, в девичестве Фридрихсон. Дважды выходила замуж: в первый раз за Пенкова, второй и последний за Ковалёва. Вот и поищи здесь Фридрихсонов!

Её дочь Мария Сергеевна, уже по отцу Пенкова, вышла замуж за Глазнюка, второй раз за Кузьмина. В этом случае Фридрихсоны совсем скрыты.

Проявляющиеся в этих семьях шведские облики и характеры трудно обозначить и тем более классифицировать. В самом деле, кто скажет, а тем более докажет, что дурные или, напротив, добрые дела исходят от влияния того, а не иного предка. Задача эта непосильна для самого способного ученого человека. Тем более Ваш покорный слуга за её решение не берётся. Здесь речь пойдёт лишь о превратности и влиянии судьбы как таковой.

К настоящему времени образовалось много ветвей Фридрихсонов, они посильно знали друг о друге и роднились.

Мария-дочь и Мария-мать из Фридрихсонов благоволили к Николаю всю жизнь!

Он это хорошо чувствовал и, тем не менее, дистанцировался от них по своей воле, возможно, в силу вышеупомянутой осторожности.

А ведь как судьба старалась прилепить его к ним! Судите сами, живут в огромном городе в разных районах десять миллионов жителей плюс приезжие, снуют, суетятся. Встретиться даже теоретически почти невозможно, как говорят математики, вероятность встречи близка к нулю.

А вот встречи, тем не менее, происходили: через годы, редко, но всю жизнь!

Странное какое-то действо, некая связь или Чья-то Воля. Ненавязчивая, но неотвратимая. Вроде кто испытывает. Зачем?

Произошло несколько случаев, когда Николай мог влететь в колею Фридрихсоновой судьбы.

Первый случился на заре их знакомства.

Докладываю, уже упомянутый близкий друг Вашего покорного слуги Николай тогда, в 1954 году, в чине лейтенанта снимал комнату у Марии Сергеевны в доме, расположенном на Зубовском бульваре, то есть, выражаясь воинским языком, состоял у неё на постое.

Этому предшествовали следующие обстоятельства.

— • —

— В цепи поступков и событий, составляющих нашу жизнь, каждое звено определяет последующее, — весомо, как приговор, произнёс полковник. — Человек, если поразмыслит, может подтвердить сказанное. Помню, много лет назад мы с Василием Родзянко, моим соседом по лестничной площадке, стояли возле мусоропровода, курили и беседовали.

Вася докурил сигарету, метко швырнул окурок в банку из-под зеленого горошка, находящуюся не менее чем в трёх метрах от него, и решительно произнёс:

— Пойду куплю пива.

— Вася, — сказал я, — не ходи. Посмотри в окно, на улице туман и сильный гололёд, а мы с тобой хвача. У меня еще кое-что осталось, посидим.

Василий, однако, упорствовал в своём намерении. Мои доводы проникали в его хмельную башку ровно настолько, чтобы вызвать презрительную усмешку.

Не прошло и получаса, как за дверью послышались шум, суета и даже вроде стоны. Это был Вася: он упал на улице, поскользнувшись на льду, сломал ногу и вдребезги разбил шесть бутылок отличного свежего жигулёвского пива.

Дня через три я навестил Васю в больнице. За короткое время свидания я убедился, что отношения Васи с медсестрой Екатериной далеко

выходят за рамки, предписанные больничным режимом. Через пару месяцев Василий и Екатерина поженились.

Вот такова цепь событий.

А теперь представьте себе, что Василий внял моему совету и не пошел за пивом. Он не сломал бы себе ногу, не попал бы в больницу, не встретился бы с Катей, не женился бы на ней.

Звеном в цепи событий, которое предопределило встречу моего близкого друга Николая с Марией Сергеевной Глазнюк (чтобы не запутаться в фамилиях, далее буду называть их Фридрихсон), стала историческая фраза Володи Гудко — лейтенанта, его неизменного собутыльника и безотказного мудрого советчика по самым острым жизненным вопросам.

В этот день квартирная хозяйка на Большой Спасской, где проживал в то время Николай, учинила ему грандиозный скандал.

Вибрирующим от негодования голосом она упрекала его в недостойном поведении и так разволновалась, что Коля испугался за её самочувствие.

— Я не допущу, чтобы Вы, Коля, превращали мою комнату в публичный дом! — причитала женщина.

Ей не нравилось, что к Николаю в гости приходят девушки. Кстати, на Колин взгляд, весьма хорошенькие и совершенно достойные. Не чета её дочери, которую она возмечтала пристроить за него.

Немного расстроенный, Николай всё как есть рассказал Володе Гудко, когда тот пришёл навестить друга.

Володя очень внимательно его выслушал, соорудив на своей плутоватой физиономии серьёзную мину, подумал и затем произнёс историческую фразу.

— Коля, — сказал он внушительно, — пошли её в задницу. Вопрос предельно ясен. Поехали искать другое жилье!

Они вышли на Большую Спасскую, сели в автобус и покатили по Садовому кольцу в сторону Самотёчной.

Ехали, смотрели в окно, молчали и ожидали внутреннего озарения.

— Смотри, Коля, — внезапно сказал Володя, — какое прекрасное место. Смоленский гастроном, Арбат, ресторан «Прага»! Есть где разгуляться. Здесь ты сможешь вести исключительно высококультурную жизнь.

Они сошли на Зубовской площади и осмотрелись.

По другую сторону Садового Кольца возвышался обширный жилой дом с тремя парадными подъездами. Женщина с детской коляской посоветовала зайти в квартиру № 78.

— Мерси, — поблагодарил её Володя и сверкнул золотым зубом. Он умел быть галантным.

Поднялись на третий этаж, позвонили.

— Нет, мы не сдаём, — ответила молодая женщина. — Впрочем, одну минуту, Машенька, — позвала она, — выйди сюда, пожалуйста.

На её зов вышла девушка каштановой масти с большими голубыми глазами на крупном, а вернее сказать, широковатом лице, несомненно отмеченном врожденным интеллектом и хорошим воспитанием. Фигурка её несколько тяжеловесна, ноги, особенно в лодыжках, далеки от изящества, но в целом она выглядела весьма привлекательной.

Офицеры объяснили цель визита и представились. Она посмотрела на Николая с некоторым любопытством.

— Моя комната, — сказала она, — в доме на территории Военно-юридической академии. Комната хорошая, Вам понравится. Единственным неудобством для Вас, — тут она язвительно усмехнулась, — будет пропускная система, но это к лучшему. Не будете девочек водить.

В тот момент Николай не придал её словам значения, отнёс их к обычной светской болтовне.

Договорились об условиях, и она назначила ему встречу на следующий день у проходной академии.

В назначенный час они встретились; она вручила ему пропуск и провела в комнату, которая находилась на первом этаже старого особняка и оказалась совсем даже неплохой.

Она представила его соседям, а затем подробно проинструктировала на предмет его обязанностей.

— Держите порядок и не запускайте комнату, вытирайте пыль. Бельё сдавайте в прачечную. Посудой можете пользоваться, но обязательно мойте её тут же.

Она говорила ещё в этом роде, но он уже не слушал её, а думал о своём.

— Должна Вас предупредить! — это прозвучало в несколько другом тоне. — Должна Вас предупредить, — повторила она, — что, хотя я живу у мамы, но буду появляться здесь. Так что не пугайтесь.

Этим она завершила официальную часть.

— А теперь поедемте, я Вас представлю маме. Мою маму тоже зовут Марией, Марией Николаевной.

Она привезла Николая на Октябрьское Поле, ввела в подъезд кирпичного пятиэтажного дома и позвонила в дверь на втором этаже.

— • —

Мария Николаевна встретила Николая любезно и пригласила к чаю. Чай пили в маленькой ухоженной, сверкающей чистотой кухне.

Мария Николаевна Фридрихсон, шатенка небольшого роста, стройная и необыкновенно изящная; сложение и формы её выглядели совершенными, но главное, что отражал её облик, это покоряющая женская привлекательность и душевность. В своём более чем немолодом возрасте она своим изящным выразительным лицом и аристократической манерой речи с лёгкой очаровательной картавостью смотрелась обаятельной; из неё исходила глубокая врождённая, пришедшая из поколений аристократичность.

Истинная гармония физического совершенства и внутреннего обаяния.

В молодости она служила актрисой в Большом театре. Обладая сильным красивым меццо-сопрано, идеально сложенная для балета, в примы она, однако, не вышла.

Природного таланта ей хватало, чтобы петь в оперном хоре и танцевать в кордебалете, но оказалось недостаточно для большой артистической карьеры. Так и осталась она подобно алмазу, для огранки которого и превращения в сверкающий бриллиант не случилось искусного и заботливого гранильщика.

Судьба, со своей стороны, уготовила ей беду: то ли в связи рождением дочери и послеродовыми осложнениями, то ли по какой иной причине, но только голос у неё пропал.

Потеря голоса выдавила на всей её жизни трагедийный отпечаток.

Фигура её бросала вызов времени и вполне могла стать украшением молодой девушки, но только не лицо. На лице, безусловно приятном, отчетливо виделись прожитые годы и истинный возраст. Ей было за пятьдесят.

И снова, чтобы понять последующие события, непременно необходимо знать значительно более раннюю их предысторию и хотя бы в очень кратком виде рассказать об отдыхе матери с дочерью в городе Черкассы на Украине.

На местном пляже Мария-дочь познакомилась с неким Виктором Глазнюком, здоровенным, как жеребец, аборигеном. Молодая дева без памяти влюбилась в его тело, а в душу заглянуть по молодости не умела, да и не хотела, не придавая этому значения.

Мария Николаевна, напротив, интуитивно расшифровала суть парня и поднялась на дыбы против выбора дочери.

Глазнюк полагал, что с его покоряющей фактурой и умом (он ошибочно был очень высокого мнения о своих умственных способностях) он достоин более высокого положения, чем прозябание в провинциальных, даже для Украины, Черкассах.

Узнав, что Мария москвичка и живёт в хорошей квартире, он немедленно сделал ей предложение и заверил в своём полном намерении сотворить ей счастье на века. Мария столь же стремительно ответила согласием.

Но Мария Николаевна, как уже сказано, распознала истинные намерения парня, его суть, и стала стеной против.

Дочь в слёзы и настаивает на своём. Тогда Мария Николаевна идёт на крайние меры: она забирает паспорт дочери, без которого регистрация брака, естественно, состояться не может.

В ответ Мария-дочь идёт значительно дальше. Потеряв стыд, она срочно отдаётся Глазнюку, и тем ставит мать перед свершившимся фактом.

Бедная Мария Николаевна вынуждена смириться. Но она произнесла пророческие слова:

— Машенька, дочка, милая, теперь ты понять меня не можешь. Но помни, ты пожалеешь о своём поступке. Сейчас плачу я одна, но недалёк день, когда мы будем рыдать с тобой вместе.

Там же, в Черкассах, брак зарегистрировали.

Машу понять можно. Воспитанная в хорошей семье, на добрых нравственных устоях, она искренне, по сути полагала женитьбу за святое серьёзное событие, возможно, самое главное в жизни, и та реальность, которая вскоре предстала перед ней, обрушилась на неё, как катастрофа.

В Москве Виктор Глазнюк прописался в комнате жены на Зубовском бульваре, поступил на второй курс Автодорожного института и, использовав таким образом Марию как ступеньку для проникновения в столицу, забыл о её существовании.

Он не любил Марию. Теперь она только мешала ему в реализации дальнейших планов. Виктор не пощадил её чувства и открыто насмехался; этот подонок даже приводил женщин в комнату, где они жили с Марией.

Он откровенно шел на скандал.

Только теперь, и то не сразу, у Маши открылись глаза, и она убедилась, насколько права её мудрая мать. Страдания обеих женщин невозможно изобразить пером на бумаге. У Маши заболели легкие, и она некоторое время пробыла в санатории; к счастью, болезнь удалось залечить, застав её в начальной, незапущенной стадии.

Маша подала на развод и после неприятного и где-то даже унизительного судебного рассмотрения она его получила.

Мария Николаевна, как истинная любящая мать, конечно, простила заблудшую овцу и стала думать, как устроить её счастье.

Маша стала жить в квартире с матерью, а комнату на Зубовском бульваре решили сдавать внаём; в ней-то и поселился Николай.

В планах Маши и её мамы персона Николая представляла собой заманчивый объект. Молодой высокообразованный лейтенант, офицер центрального аппарата Министерства обороны, недурной наружности, естественно, приглянулся и дочери, и матери.

После такой исторической справки, внесшей необходимую, и, надеюсь, достаточную ясность, возможно приступить к дальнейшему повествованию.

— • —

Итак, в первый визит Николая к Марии Николаевне они поговорили о делах, о том о сём, и он совершенно успокоился относительно своего квартирного устройства.

— Да, — осмысливал он свои впечатления, — дочка неплоха, но мама… это совершенно особенное.

Отныне Николай стал ощущать на себе влияние нового знакомства; от этого мира исходили помехи различного свойства, но неизбежно нарушающие привычный ход счастливой, беззаботной жизни молодого холостяка.

Однажды вечером, когда он комфортно возлежал на тахте, распахнулась дверь, и без стука в комнату вошел долговязый черноволосый парняга характерно украинского облика. Верзилой назвать его было бы неправильным по молодости, но в недалёком будущем, по возмужании, он обещал им стать.

Он уставился на Николая с подозрительностью и раздражением; очевидно, тот ему не понравился.

— Кто ты такой? — грубо спросил он. — И что ты здесь делаешь?

Не получив ответа, озлился.

— Я, кажется, спросил, кто ты такой и почему здесь, — процедил он, — где Маша?

Николай продолжал молчать, ожидая его действий. Он уже понял, что парняга есть тот самый бывший муж Маши.

— Ты что, к Маше клеишься? — заорал парень, потеряв терпение, а заодно и остатки приличия.

— Парень, — Николай сел на тахте, — закрой дверь с той стороны и больше не появляйся. Тебе всё ясно?

Увидев, что Николай не великан и, скорее всего, не представляет для него физической опасности, парень бешено, хотя и несколько опрометчиво, бросился с кулаками. Он не первый, кто заблуждался относительно телосложения Николая.

Николай поднялся с тахты и своевременно встретил его прямым слева, затем нанёс крюки справа и слева; вторым крюком справа он успел достать его уже падающего.

Третий удар Николай нанёс для страховки; уж очень парень показался ему здоровенным.

Тот упал, но через несколько секунд вскочил и, совершенно рассвирепев, снова бросился на Николая.

Такого бугая необходимо подержать в наркозе, решил Николай и нанёс несколько очень резких и точных ударов. Ещё в студенческие годы среди коллег в боксёрской секции он отличался своими убойными крюками с обеих рук. Парень надёжно завалился на пол.

Николай сел на тахту, чтобы перевести дух, затем внятно, как больному, объяснил ему, что, если он дёрнется, то получит значительно больше. Тот вроде понял и с атакой не торопился.

— А теперь убирайся вон, — интеллигентно заключил Николай беседу. Тот встал и молча пошел к выходу.

Больше никогда в жизни Николай его не видел. Николай патологически не терпел скандалов; ему удалось утихомирить этого нахала так аккуратно, можно сказать, деликатно, что никакого беспокойства для соседей не произошло. С одной стороны, он не любил доставлять людям неприятности, а с другой, он и себя избавил от хлопот, ибо хорошо знал этот тип людей: если их решительно не приструнить, то они в силу своей порочности и безнаказанности житья не дадут.

Одним ярким летним днём на асфальтированном дворе, как на плацу, топали в различных направлениях слушатели Военной академии, отрабатывая догмы воинских приветствий и ружейные приёмы. То и дело слышались резкие чёткие команды:

— К ноге! На плечо! Раз, два!

Клац, бац, бац!

А в угловой части жилого одноэтажного особняка, в одной из комнат коммунальной квартиры на тахте лежала, обнявшись, молодая пара и целовалась. Лейтенанту, моему близкому другу Николаю, нужно было всё; она же вела свою рутинную женскую всемирно известную хитрость. Маша желала не только дать, но и выйти замуж. Она была добропорядочная женщина и желала устроить семью.

В ближайших планах молодого воина женитьба, однако, отсутствовала; он простодушно и доверительно сообщил ей об этом на ушко.

Итак, некоторое время они пребывали в условиях блаженных мук; они барахтались на тахте и млели. В конце концов, природа взяла своё; Маша ослабила сопротивление и позволила лейтенанту делать что ему заблагорассудится.

— • —

Маша приходила к своему постояльцу ещё и ещё, но желанного предложения от него не получала.

— Я выхожу замуж, — бросила она, наконец, свой последний довод в расчете вызвать его ревность и довести до положительного решения дело о женитьбе.

— Выйду, вот увидишь, — с надрывом, чуть ли не со слезами повторила она.

— За кого?

Когда Маша сердилась, она переходила на Вы.

— Ну, если Вас это интересует, — саркастически произнесла она, — скажу. За Олега!

Она, однако, не смогла скрыть боли в голосе, который предательски задрожал.

— Олег любит меня, в отличие… от…

Чувствовалось, однако, любит её Олег или нет, ей не очень важно. Она хотела выйти за лейтенанта… но тот снова промолчал.

Олег инвалид, без обеих ног, ходит на протезах. Молодец, не теряет тонус жизни, не сдаётся. Научился хорошо ходить через боль и муки. Николай, однако, представил себе, как она ляжет в постель с безногим мужиком, и содрогнулся за неё. «Хочет мне досадить», — понял он, но остался равнодушным относительно женитьбы.

— • —

Позвонила Мария Николаевна и пригласила к себе вечером на чай.

Пили чай с сушками и беседовали вдвоём. Говорила больше Мария Николаевна, точнее, вспоминала.

— Коля, — сказала она, — какой голос у меня был! Я актриса. Работала в Большом театре, пела в хоре и танцевала в кордебалетах. Меня любили. Дормедонт Михайлов носил меня на руках. Он часто говорил: «Машенька, какая Вы обворожительная, какая изящная. Другой такой женщины на всём свете нет!»

— Не верите ? — спросила она у Николая, поднялась из-за стола, лукаво улыбнулась и сбросила с себя одежду.

Перед Николаем засверкало ослепительное молодое совершенное женское тело.

С ума сойти!

— Машка не придёт, она ночует у Картавиных. — просто сказала Мария Николаевна.

Воспоминания у полковника оказались такими сильными, что он открылся вовсе и повёл рассказ от первого лица, как, впрочем, и надлежало ему поступить с самого начала, если следовать истине и не пытаться замести свои следы в этой истории, а уважаемых слушателей вводить в заблуждение.

— Что дальше? Убей, не помню; какой-то провал в памяти случился.

— • —

Через неделю ко мне пришла Маша и предложила переехать на Октябрьское поле к Марии Николаевне.

— Мама не возражает, чтобы Вы жили у неё. Ей всё будет веселее. Вы человек весёлый, — добавила она язвительно. — И Вам удобнее будет. А эта комната мне и самой нужна.

Голому одеться, только подпоясаться. В тот же день я позвонил в дверь квартиры на Октябрьском поле и был радушно принят.

У Марии Николаевны жил кот, громадный, огненно-рыжий, пушистый, но кастрированный красавец с хищными зелёными глазищами. На волю он не просился, но обида на судьбу, лишившую его сладости общения с кошками, осталась. Характер у кота в связи с этим сформировался злобный и мстительный. Не было в нём той кошачьей нежности и ласковости, которые присущи большинству нормальных котов. Он мог неожиданно выпустить когти и, хотя напрямую на людей не бросался, но оцарапать мог сильно и даже укусить; хвост его то и дело без особых причин нервно подрагивал в горизонтальной плоскости. Мария Николаевна души в нём не чаяла, хотя вечно ходила с исцарапанными руками и ногами.

Будучи человеком коммуникабельным, Николай быстро нашел общий язык с животным, неограниченно используя метод кнута и пряника. Он не давал ему поблажек и за его когти нещадно бил по морде газетой, сложенной в десять раз.

Кот шипел, но напасть на человека не решался, очевидно, откладывая это до более благоприятного момента. Но главное, Николай завоевал его доверие, научив играть в волейбол. Игра пришлась коту по душе. Он

постоянно с нетерпением ожидал начала игры и всяко по-своему понуждал Николая бросить свои пустяшные занятия и обратиться к делу.

Николай скатывал небольшой шарик из скомканной газеты и швырял его на шкаф. Кот стремительно прыгал вслед за шариком и лапой сбрасывал его вниз. Николай посильно ловил шарик и кидал обратно, стараясь создать больше трудностей, целясь подальше от кота. И напрасно, кот в изящном прыжке неизменно отбивал шарик.

Николай повторял удар, стремясь обмануть противника ложным замахом. Не тут-то было: талантливое животное не пропустило ни единого гола; оно, то есть, кот отбивал шар из любого положения и с любой точки на шкафу!

Полюбоваться на игру приходили соседи, разумеется, не все, а только те, с которыми дружила Мария Николаевна. И что характерно, все без исключения они болели за кота.

— • —

Маша вышла за Олега.

Я получил приглашение на свадьбу, но не пришел из–за участия в полигонных испытаниях ракетной зенитной системы.

Приглашала сама Маша и сказала при этом следующее:

— Я приглашаю Вас и желаю, чтобы Вы на свадьбе сидели рядом со мной!

Ну и баба! С ума сойти, зачем ей это?

— • —

Несколько лет спустя меня с женой Кузьмины пригласили в гости: под такой фамилией состояла теперь Маша после выхода замуж за Олега.

Они поменяли своё жильё, а именно: квартиру Олега, квартиру Марии Николаевны, а также известную вам комнату на Зубовском бульваре, на трёхкомнатную квартиру в доме из тёмно-красного кирпича по улице Пирогова, где-то между Медицинским институтом и Новодевичьем монастырём.

Мария Николаевна с немалыми колебаниями дала согласие на обмен и тем самым подписала себе приговор — потерю самостоятельности и несносную жизнь под одной крышей с постылым зятем.

Господь знает, что заставило её пойти на такую жертву. Видимо, только материнская любовь!

Олега она не любила и выражала это своё отношение к нему со всей эмоциональностью артистической натуры постоянно и открыто. Олег по мере сил отвечал ей взаимностью.

Совместная жизнь, противоестественная с самого начала, с годами принимала формы, всё более изощрённо несовместимые с существованием.

Взаимная неприязнь распространялась на все стороны общежития и в первую очередь на воспитание Алексея, сына Маши и Олега.

Всё касающееся Алексея не находило согласного решения, ничто не обсуждалось в духе консенсуса, ни одна из сторон не уступала ни на миллиметр.

Маша первое время пыталась примирить их, поставить себя как бы буфером между враждующими сторонами, но постепенно перешла на позицию мужа, оставив таким образом мать сражаться в одиночестве.

После очередного обмена квартиры на две в разных районах — двухкомнатную в Тропарёве для взрослых и однокомнатную в Филях для Алексея — положение Марии Николаевны стало еще гаже. Тут уж и возраст давал о себе знать.

Но она не сдавалась.

Прошли еще годы. Марию Николаевну устроили в пансионат для стариков.

А через пару лет с небольшим родные ей люди окончательно от неё избавились, захоронив на семейном фридрихсоновском участке Ваганьковского кладбища и решительно уладив, а вернее, сняв таким образом все спорные вопросы.

Я приходил к Марии Николаевне в пансионат, и в первую же встречу нашел её в совершенном унынии. Она обняла меня. Милая, изящная, сморщенная старушка.

Неплохо бы взять её отсюда; пусть поживёт у меня, подумалось мне.

— Мария Николаевна, хотите ко мне, пока не надоест? Мы будем рады.

Она не ответила, только молча плакала.

— • —

На поминки родня не пришла: не могли люди простить Маше, что она сдала мать в богадельню. Были мы с женой, да еще верные друзья Картавины.

В душе, однако, и я, грешен, осуждал Машу за мать.

— • —

Казалось, всё теперь у них, у Кузьминых, устроилось, живи себе в своё удовольствие, ан нет.

Олега положили в больницу по поводу предстательной железы. Его прооперировали, будто успешно; он уже вставал, надевал свои протезы и со скрипом прохаживался по палате.

Пришла Вера, принесла гостинчик. Они сидели в разговоре, как внезапно Олег захрипел и мёртвым рухнул на кровать. В сердце попал тромб, признали врачи после вскрытия.

Похоронили его из экономии в одной ограде с тёщей.

О люди! Зачем вы их вместе-то? Они и при жизни не терпели друг друга, а вы их навечно! Побойтесь Господа.

Полковник опустил голову, и некоторое время молчал под тяжестью горьких воспоминаний.

— • —

Случались у меня ещё встречи с Машей, которые, возможно, могли углубиться и стать постоянными, но всякий раз я осторожно отходил.

Один случай, прямо скажем, до сих пор ввергает меня в стыд: я поступил откровенно неучтиво и даже трусливо.

Встретились в метро. Она вышла первая, а я задержался, чтобы на выходе не встретиться с нею. Она же вышла и ждала меня.

Мне до сих пор не по себе за этот мальчишеский трусливый поступок, а ведь мне тогда пошло уже за пятьдесят.

Долгое время после этого при встречах она молча проходила мимо и не отвечала на мои приветствия: жестоко обиделась. Однако, вот ведь женская натура! Она и этот, в общем-то, плевок мне простила. Время лечит.

— Как дела? — спросил я по телефону однажды, поздравив с днём рождения.

— Плохо.

— Что так?

— Алексей.

— Что, болен?

— Нет, хуже.

Не хочет сказать. Что же может быть хуже болезни? Оказывается, может.

— Алёша пристрастился к наркотикам.

— Это ужасно! — только и нашел сказать я.

Постепенно выяснилось. Алексей продал двухкомнатную квартиру, автомобиль, дачу, словом, всё-всё. Это целый капитал, которого хватило бы не на один год нормальной жизни, но наркотики?!

Потерял лицо, озверел, бьёт мать, выколачивает из неё деньги.

Маше жить негде иначе как с падшим сыном в однокомнатной квартире в Филях; она подрабатывает сторожихой в доме культуры. Постарела. Некогда огромные ярко-голубые глаза потускнели и стали скорбными.

— Ну а дальше?

— Узнаю, если состоится встреча.

— • —

Однажды я позвонил ей по телефону, но к трубке никто не подошел. Что-то неладно, следует навестить.

Поднялся на четырнадцатый этаж. Дверь оказалась незапертой; я толкнул её, вошел в квартиру и нашел Машу в ужасном состоянии. После четвёртого инсульта она необратимо слегла, решительно не могла ухаживать за собой и даже вставать по нужде.

Сердце моё содрогнулось в жалости, и я принялся за дело. Я приходил ежедневно, поворачивал её на постели, уносил в туалет отходы, мыл её самоё, стирал испачканное бельё и кормил.

Маша смотрела на меня огромными испуганными глазами: слишком невероятными были мои труды возле неё. Речь её, напрочь повреждённая болезнью, не работала. Кормил её с ложечки, как ребёнка. Она с трудом принимала пищу и обливала её слезами.

Ни в каком самом фантастическом сне не могла она представить наши отношения в таком виде и что я стану делать теперь в невероятной для неё реальности.

— • —

Хоронил Машу я один.

Сын её, безвозвратно упавший в пагубную наркоту и чёрное пьянство, очевидно, не осознал происшедшее с матерью, то, что она умерла, а если и понял, то не придал этому малозначащему для него событию никакого значения.

Я заказал отпевание. Священник, внушительный, ещё не старый человек спросил:

— Кто Вы ей?

— Друг с молодых лет, — ответил я.

Он посмотрел на меня, единственного на похоронах, и на некоторое время задумался. Возможно, впервые он не знал, что сказать; он понял, перед ним человек, который всё знает и понимает, и обычные ритуальные слова здесь не нужны.

Маша лежала, наконец-то умиротворённая. Смертью.

Прижизненные переживания сошли с её лица, и она уже не смотрела на меня, как раньше, ибо мы с ней пребывали теперь в разных мирах.

Знает ли она меня, находясь в неведомом мне духовном мире?

— • —

Полковник закончил свой рассказ и молчал. Слушатели забыли про портвейн и безмолвствовали. В комнате стояла тоска и ощущение человеческой беды.

— И вот, знаете, чувствую за собой некую вину. Нет, прямого указания на вину я не ощущаю, как бы это сказать… Возможно, если бы я женился на Маше… Ведь она вышла за Кузьмина не по любви, а больше чтобы досадить мне. Так вот, если бы я женился на Маше, — задумчиво повторил полковник, — возможно, столько ужасов бы не случилось. Кто знает. А может быть, это ничего не изменило или, напротив, меня самого увлекло бы в их беды. Недаром же судьба так упорно остерегала меня от Фридрихсонов.

Ворона

Вряд ли кто станет спорить, что в мире не сыщешь хотя бы двух людей с одинаковыми свойствами тела и души, но далеко не каждый понимает, насколько эти свойства влияют на жизненный путь и даже судьбу человека.

Один возгордится, утратит смирение, и в результате перестанет понимать, что у него хорошо, а что скверно, и это неизбежно сформирует его судьбу. У другого смирение перерастёт в трусость; убога и трагична судьба такого человека.

Один строен, элегантен и умерен в пище, другой толст, неряшлив и обжора. На судьбе каждого из них отчётливо пропечатается его натура.

Впрочем, вот подлинная история, в которой ничего не придумано, всё, как есть, было.

Однажды в Москве, нежарким июльским утром, когда дворники ещё не осквернили своими мётлами чистый и ароматный, как нектар, воздух, по утоптанной дорожке Нескучного сада неторопливо шли, а точнее, прохаживались три офицера.

Они прибыли в Министерство обороны на очень важное совещание, назначенное на 11:00 часов. Времени до его начала оставалось ещё порядочно, и офицеры решили с пользой для здоровья прогуляться в этом прекрасном зелёном уголке столицы.

Осанистый полковник командовал одной из военных контор, а его спутники, стройный среднего роста майор и огромный тучный подполковник, несли воинскую службу под его началом.

Толстый, голубоглазый с пухлыми, подрагивающими, как желе, щеками и толстыми плотоядными губами подполковник Калыгин весил не менее ста сорока килограммов. И было ему от чего толстеть: когда, скажем, в столовой его коллега майор Бороздин ещё салат жуёт, Калыгин уже весь обед приканчивает.

Такая высокая производительность получалась у него за счёт того, что он ел всё сразу: салата хватанёт, заест его хлебом и супом, да ещё полкотлеты в рот отправит, а уж компот у него исчезал мгновенно.

В промежутках между официальными приёмами пищи он обычно вытаскивал из громадного портфеля какое-либо съестное, ну там, кусок, а точнее сказать, оковалок окорока, или колбасу, или ещё чего, и буквально пожирал, рвал, что называется, зубами.

Вдвоём с майором Лёшей Бороздиным они занимали небольшой рабочий кабинет с окном, обращённым на Ливан — площадку, предназначенную для проведения климатических испытаний передвижных трансформаторов, входящих в комплект ракетных дивизионов.

Калыгин сидел у окна спиной к Бороздину, поэтому Бороздин, стол которого стоял у боковой стены ближе к двери, волею-неволею часто наблюдал его манипуляции, направленные на утоление своего чудовищного аппетита.

Бороздин не раз шутя говорил ему:

— Володя, чревоугодие тебя погубит!

Со слов Калыгина, женщины его очень любили, а он их. Часто хвастался своими многочисленными победами, особенно над беременными. Ему нравились беременные женщины. Это, однако, не мешало ему в отношении женской половины человечества быть честным и откровенным.

— Лёша, — не раз говорил он Бороздину, — поверь мне, все женщины на свете утки и иждивенки.

Чрезвычайно весёлый и добрый к хорошим людям и животным, Калыгин проявлял позорную робость в отношениях с недоброжелательными или жёсткими людьми. Шефа своего, полковника, боялся панически, а тот чувствовал это и издевался всласть. Однажды Калыгин, этот огромный бегемот, даже плакал после очередной выволочки.

Умный, интеллигентный, очень ранимый, Калыгин особенно страдал от сквернословия, которым шеф обильно оснащал свою речь. Ранее Калыгин служил преподавателем в военном училище, и эта работа вполне отвечала его натуре, а тут ему приходилось ежедневно выслушивать муд-

рые мысли своего начальника в форме, являющей образец законченного хамства.

Речь шефа состояла не менее чем на четверть из матерных слов и выражений, часть которых уходила на художественную оценку служебной деятельности Калыгина, а часть употреблялась просто так, для более осмысленного и убедительного построения повествовательных, вопросительных и восклицательных предложений.

Калыгин покорно выслушивал всю эту мерзость, и не то чтобы съёживался, для этого он был слишком огромен, нет, он решительно стремился исчезнуть: он втягивал круглую жирную голову в плечи, растерянно и жалко моргал глазами и испытывал жесточайшие муки унижения. При этом он начисто терял чувство собственного достоинства.

Бороздину было стыдно за этого огромного, но обессиленного трусостью человека. Он и сочувствовал ему, и злился на него.

Терпел Калыгин такое унижение из-за своей врождённой трусости, а также из боязни потерять место, которое обеспечивало ему приличное существование.

Не всякий подчинённый позволяет начальнику говорить с собой в оскорбительной форме, да и тот не распускается, чувствуя перед собой самостоятельную личность: куда и хамство девается. И всё же, с начальством стараются не ссориться, и всё из-за той же карьеры.

Итак, офицеры шли по Нескучному саду и дышали.

Полковник обстоятельно, со знанием дела рассказывал о вкусовых достоинствах и простоте приготовления чесноковой настойки.

Где-то в середине боковой аллеи, ведущей к Екатерининскому павильону, офицеры обратили внимание на ворону, сидящую на мусорной урне. Факт, сам по себе, рядовой: кто не видал вороны, сидящей на урне с мусором!

Офицеры прошли рядом с урной так близко, что при желании могли рукой дотянуться до вороны, однако, та как сидела, так и осталась сидеть. Она даже не шелохнулась, не отодвинулась и тем более не отлетела в сторону, как обычно поступают в подобной ситуации птицы. Только поблёскивала своими черными глазками.

Полковник остановился и, глядя на ворону, громко, с солдатской прямотой высказал о ней своё мнение. Неудобно приводить здесь полный и открытый текст его слов, так как не всё им сказанное выглядело приличным. С другой стороны, без этого невозможно понять то, что произошло в дальнейшем. Словом, в данном случае деликатность должна потесниться и уступить место факту.

А полковник, глядя на ворону, сказал буквально следующее:

— Вот стерва, туды её в …, даже не шевелится, а ведь рядом с ней проходит полковник.

Сказанное полностью соответствовало его натуре. Одет он был в форму артиллериста и на голове красовалась фуражка с бархатным чёрным околышем.

Бороздину показалось, что в тот момент, когда полковник произносил вышеприведённые слова, ворона вздрогнула. Он мог подтвердить это под присягой, а вот то, что эти два события связаны между собой, как причина и следствие… — это уж домыслы и догадки. Но дальше случилось совсем уж неожиданное.

Едва офицеры миновали урну с сидящей на ней вороной и полковник продолжил изложение некоторых секретов изготовления чесноковки, как вдруг он выругался и шарахнулся в сторону. С него слетела фуражка.

Ворона напала на него сверху и нанесла удар по голове, затем развернулась и вновь стремительно пошла на полковника: она пронеслась над его головой, пытаясь ударить клювом и царапнуть когтями. Он опомнился и встретил её кулаками и бранью, однако, ворона увернулась и зашла на третий разбойный налёт. Полковник совсем озверел, едва не огрел её как следует, но промахнулся. Ворона улетела и более не возвратилась.

Бороздину показалось странным, что ворона ни разу не напала на него или на Калыгина, а всё на полковника, да с каким ожесточением, с агрессией. Это надо было видеть! За что она его так? Понятно, если птенцы рядом или ещё какие очевидные причины, а тут совершенно ничего!

Вот только, что она вздрогнула, да ещё эти полковничьи слова и ожесточение, с которым она на него… словом, если допустить, что ворона поняла смысл сказанного и обиделась, больше того, оскорбилась, тогда её поведение вписалось бы в цепь событий и нашло своё логичное объяснение, но тогда означало бы, что ворона…

— Всё, всё, — подумал Бороздин, — эко меня занесло. Какая нелепость, этак до чего угодно можно дойти. А с другой стороны, иного объяснения я не вижу.

Значительно позже, поразмыслив, он всё же представил себе суть происшедшего в Нескучном саду. В его неуверенном изложении оно выглядело следующим образом.

Дело в географическом местонахождении сада. В поисках пищи вороны всюду шастают небольшими группами, а чаще парами. Но в определённые часы дня они с великим криком собираются в огромные стаи для общения и обмена информацией: образно говоря, устраивают слёты. Местом для слёта они обычно выбирают провода электропередачи, выдающиеся в высоту, деревья или крыши крупных домов.

Ворона, поразившая воображение Бороздина, очевидно, состояла в стае, излюбленным местом которой служила плоская крыша огромного здания Министерства обороны, расположенного напротив Нескучного сада на противоположном берегу Москва-реки.

Сотни умных артиллеристов, авиаторов, ракетчиков, химиков, сидящих в этом здании, денно и нощно многие годы трудились над улучшением способов убиения людей и достижением через это убиение безусловной победы над противником в будущей неизбежной войне.

Воины выпустили столько мыслей, что они, эти мысли, со временем образовали устойчивое биоэнергетическое поле, которое невидимым облаком в форме расширяющегося кверху конуса охватило здание и, разрежаясь с высотой, уходило в космос. Поле содержало огромный заряд зла и агрессии, являющихся сутью войны, но и мыслей.

Вороны, поколение за поколением, слетаясь на крышу, пропитывались биополем, умнели и… озлоблялись.

И ещё чрезвычайно важное вынес Бороздин из своих размышлений — что умная ворона преподала великолепный предметный урок достойного поведения человека. Полковнику она дала понять, что хамство наказуемо и проходит только с трусливым человеком, а Калыгину подсказала, как следует вести себя в столкновении с хамством.

Необходимо, однако, от размышлений Бороздина, кстати, на наш взгляд, безукоризненных по логике и глубине приближения к истине, перейти к изложению дальнейших событий, другими словами, вернуть колесницу повествования на колею практической жизни.

В кабинете, где проходило важное совещание, свирепствовали жара и духота. Распахнутые настежь окна не спасали; вместо прохлады в них врывался жар пылающего июльского солнца и палил нещадно! У людей раскисали мозги и наступала одурь.

Обсуждались результаты полигонных испытаний нового оружия, качество которого ставилось под сомнение. Калыгин, ответственный за приёмку опытных образцов этого оружия от завода, естественно, оказался в центре внимания совещания. Он толково доложил суть и ответил на вопросы. После чего военные умельцы принялись судить да рядить в направлении решения проблемы и повышения убойности снаряда.

Но случай в Нескучном саду не выходил из головы Калыгина; он не укладывался в обычные рамки. Ну ворона и ворона, тьфу на неё. И тем не менее, в этом скрывалось что-то ещё. Оно беспокоило Калыгина, больше того, саднило, как от зубной боли.

Любо-дорого, какую трёпку задала ворона шефу. Ничего не скажешь. Но… мысли эти ворочались в расплавленной от жары голове Калыгина, пока вдруг истина не обрела ясный и болезненный для него смысл.

— Ворона смело постояла за себя. Она вела себя достойно! Вот в чём соль! А я-то, что же я-то, — горестно размышлял Калыгин, — я-то как держусь. Смогу ли и я так же? — он представил своего сурового шефа и почувствовал привычную робость.

В течение последующих дней Калыгин не то чтобы постоянно, но довольно часто мучился этими мыслями. При этом стыд и позор так принялись его испытывать, что терпеть их ему становилось совсем уж невозможным. И вот трусость стала вытесняться стыдом за своё недостойное поведение. Это был чёткий признак того, что Калыгин встал на путь выздоровления.

Трудно сказать, сумел бы Калыгин вытравить из себя труса: дело это непростое, особенно если случай запущенный. Другое свойство натуры — тучность — вскоре определило его судьбу столь сокрушительно, что всякие иные рассуждения потеряли смысл.

Суета и бестолковость нашего быта и службы часто мешают разглядеть человека таким, каков он есть в натуре. Пока жив, он настолько прикрыт шелухой суеты и бестолковости, что сложно отделить то значительное, что есть в нём, от преходящих сиюминутных мелочей.

Так и с Калыгиным.

Одни не принимали его всерьёз, другие, особенно женщины, жалели за его слабости, третьи полагали, что врёт он всё, а начальство твёрдо относило его к посредственным работникам. Но вот когда помер — оценили по достоинству.

— Хороший был человек Калыгин! — сказали все, как один.

Так часто бывает.

А погиб авиационный подполковник Калыгин трагически, но при незначительных обстоятельствах. Будучи в командировке на ракетном полигоне, ехал он в Газоне рано утром с одной стартовой площадки на другую. В машине находились: Калыгин на заднем сидении, майор Пореев впереди и солдат-водитель. Дорога после дождя мокрая и скользкая.

В одном месте машину занесло. Пореев в горячке схватил баранку руля и потянул вправо, хотя заносило влево. Газон, естественно, в результате неправильных действий Пореева перевернулся, проскрежетал своим железным панцирем, вынесся вон с дороги, еще раз перекувырнулся и оказался на колёсах в десяти метрах от обочины.

Пореев выскочил из машины и от нервной встряски принялся дико истерически хохотать. Постепенно он успокоился, и на этом закончилось для него данное дорожное происшествие.

Водитель даже позы не изменил. Такое впечатление, что он ничего не понял, только в баранку вцепился, как клещ.

А вот с Калыгиным дело обстояло значительно, несравненно хуже. Во время аварии он дремал, и поэтому не держался за штанги руками; он мирно похрапывал в совершенном расслаблении. Его свободно, как ржавые чугунные детали в голтовочном барабане, швыряло и тяжко било о всякие железные торчащие предметы, каких немало в таком автомобиле, как Газон, а так как сам он тяжел и толст, сила ударов по его телу соответственно умножалась.

Помчались в госпиталь. Врачи осмотрели его, сделали рентгеновские снимки и убедились, что полтора десятка рёбер сломано, и обломки рёбер впились в лёгкие и иные органы. Кровь заливала внутрь. Положили на операционный стол, и тут его тучность довершила беду. Хирург не смог как следует помочь ему, помешал огромный слой жира.

После операции Бороздин пришёл проведать коллегу.

— Как ты, Володя? — спросил он.

Калыгин услышал его, с трудом приподнял пальцами свои веки; очень у него лицо распухло.

— Всё, Лёша, я уж отсюда не выберусь. Конец.

Он некоторое лежал неподвижно, затем пошевелился.

— Лёша, — снова прохрипел он, задыхаясь. Кровь булькала в его растерзанных лёгких. — Помнишь ворону? Ту, в Нескучном саду. Спасибо ей, она устыдила меня, научила мужеству. Я хотел… но судьба не дала времени.

Тяжелые, смешанные с кровью слёзы выцедились из-под его набухших век. Он не хотел жаловаться на своё безнадёжное состояние, которое свирепствовало и терзало его изувеченное тело. Тут всё ясно, нечего и толковать.

В эти последние отпущенные ему на сознание минуты его занимало нечто, несравненно более значительное, оно интуитивно неудержимо возникало из души и требовало исповеди!

— Теперь я понял, Лёша, что совесть и стыд не игра философов, а сама наша жизнь. И я этого не понимал, что сама жизнь. Иначе, — он мучительно хотел выразить свою главную мысль, — иначе жизнь — цепь случаев, как картинки в детском калейдоскопе, когда его встряхивают. Бессмысленный процесс вкусной жратвы и её добывания. Боже мой! И эту истину я познал от кого, от вороны! — он, видно,

хотел усмехнуться, но вместо усмешки ужасная гримаса исказила его лицо.

— • —

Стояла июльская засушливая жара, когда гроб с Калыгиным выставили во дворце культуры Прожекторного завода для прощания.

Место было усыпано цветами, под которыми не видно было даже лица покойника.

— Зачем лицо-то? — спросили Бороздина.

— От жары он потёк, так что смотреть невозможно, — объяснил Бороздин.

Дантист

Со временем я ощутил, что зубы мои уже не те; пора заняться ими всерьёз.

Скажу откровенно, идти к дантисту не хотелось ужасно; от одного вида зубоврачебного кресла и зубосверлильного агрегата, в совокупности с остальным мелким инструментом, более напоминающим пыточные приспособления средневекового палача, чем гуманную медицинскую аппаратуру, мне становилось не по себе.

Я, сколько можно, тянул время. Но когда в среду не смог как следует прожевать кусок беляша (в нашей служебной столовой их готовят отлично), я осознал, что это край, деваться некуда, надо идти в поликлинику.

Взяв лечебную книжку и талончик, я вошел в зубоврачебный кабинет и оказался в просторном помещении, вроде маленького заводского токарно-сверлильного цеха, где стояли в полной боевой готовности и ожидании указанные выше машины.

— Прошу, — пригласил меня дантист, совсем еще молодой, но при усах. Я опасливо посмотрел на него и уселся в кресло. «Лицо у него, вроде, доброе», — с определённой надеждой подумал я и постарался отвлечь свои мысли от предстоящего.

— Откройте рот, — вежливо попросил врач и направил мне в пасть сноп яркого света от специального светильника, составляющего одно целое с креслом. Некоторое время он с любопытством смотрел в мой рот и считал зубы, стукая при этом в каждый нечётный зуб металлической палочкой и занося результаты увиденного в карточку; то же самое он проделал с моими чётными зубами.

— Тут мы запломбируем, и тут, и тут, а здесь, — он ткнул палочкой в мой правый клык, — здесь мы поставим штифт, — мелодично произнёс он, а последнее слово просто пропел, — иначе пломба не удержится, — размышлял он вслух, как мурлыкал.

Он подрегулировал приспособление, надавил нужные кнопки и приступил к самому неприятному, что есть в этой отрасли медицины, к сверлению. Сверло то и дело задевало нерв, отчего меня кидало в конвульсии.

Я очень терпеливый человек. Я стойко держал рот в широко распахнутом положении, несмотря на токовые нервные удары. Моё терпение несколько удивило дантиста, и одновременно необычайно расположило его ко мне.

Иногда мне хотелось подсказать врачу, то есть поделиться с ним своими соображениями по ходу его работы, но физически, в силу указанного положения рта, сделать это я не мог.

Временами он разрешал мне сплюнуть; получалось с кровью, которая обильно сочилась из пораненных дёсен и языка. Я терпел и по виду моего доктора чувствовал, что работа со мной ему нравилась всё более. Он, очевидно, увлёкся ею.

Время от времени к нам подходила девушка, тоже дантист, которая положила глаз на моего доктора и буквально сексуально повисала на нём, потеряв всякий стыд. Желание послать её в общеизвестном направлении одолевало меня, но я, увы, не мог этого сделать по той же, уже известной причине. Как он ухитрялся производить работу с моими зубами, имея на себе этот бесстыжий груз, ума не приложу. Итак, молодой дантист сверлил, а дева висела на нём.

«Какой деликатный человек, — думал я, — в силу своей воспитанности не может приструнить бабу, а та, ну чисто кошка».

Он, только стараясь не обидеть её, мягко освобождался и продолжал работу.

— Не закрывайте рот, — сказал он, — я сейчас приду. Будем ставить штифт.

Он вскоре возвратился с коробочкой в руках, погремел содержимым, открыл и стал искать штифт. При этом он ласково взглядывал на меня и просил:

— Пожалуйста, не закрывайте рот.

Мог бы и не просить. К этому времени я основательно адаптировался в образовавшейся ситуации и не ощущал серьёзных неудобств от сидения с широко открытым ртом; его просто заклинило, а челюсти прихватило намертво в их крайних положениях, сняв, таким образом, напряжение и дискомфорт.

«Ну, — думаю, — ввернёт штифт, и порядок». Отверстие под него он уже продолбал. Но едва он приблизил штифт к моему клыку, эта мерзкая дева снова изнеженно повисла на моём дантисте; штифт выпал из его рук и покатился по полу в неизвестном направлении.

Искали они его вдвоём увлеченно, но я-то отлично видел, что они больше занимались взаимной нежностью, чем поиском. Ползали, явно не торопясь найти злосчастный штифт. Даже я со своей неудобной для обозрения позиции увидел его в углу возле калорифера. Лишённый возможности подсказать, я попытался пнуть девку ногой, но она увернулась. К счастью, всё же ушла.

Дантист со скрежетом ввернул штифт в мой зуб и сказал:

— На сегодня хватит, но работы еще много.

В назначенное время я не пришел. Он позвонил мне домой и осведомился о причине моего отсутствия. Я сослался на болезнь.

— Выздоровеете, приходите, — просительно сказал он. Вскоре его перевели в другую поликлинику, расположенную в другом конце города. Он звонил и оттуда, приглашая прийти.

— Мне неудобно оставить Ваши зубы недолеченными, — проникновенно говорил он, — пожалуйста, приходите.

«Дудки, — решил я, — не дождёшься».

Он работал практикантом после окончания зубоврачебного училища; во мне он нашел супертерпеливого подопытного кролика, на котором он мог вволю практиковаться, так сказать, ковать себе профессию. Я безропотно сносил всю его неумелость, и он проникся ко мне эгоистической симпатией. Больше того, он почти полюбил меня, так я пришелся ему по душе. В любом случае, я был ему приятен.

Долечился я у другого врача, после чего отправился к протезисту, чтобы вставить недостающие зубы.

Наученный опытом, я внимательно оглядел его: он немолод и с круглой крупной, лысой сверху головой. На этом дева не повиснет в сексуальном экстазе, так что, с этой стороны всё в порядке.

Сильными волосатыми руками он ощупал мои челюсти, но, вопреки ожиданию, не стал заниматься новыми зубами, а схватился за сверлильный станок. Я внутренне застонал, но не успел опомниться, как он сноровисто обработал сверлом мои зубы, не забыв раскровенить дёсны и язык.

— Сплюньте! — рявкнул он.

Я сплюнул кровью. Что они, сбесились? Все работы начинают со сверления! Зверство какое-то. Процесс, как я уже говорил, прошел кроваво, но быстро: я лишь десяток раз дернулся, когда сверло задевало нерв. После урока, преподанного мне молодым дантистом, я порядочно зака-

лился, и эти болевые ощущения не казались такими уж ужасными. Здесь и рот надо открывать реже, да на короткое время. Он лишь обтачивал зубы, но не сверлил их внутрь, как тот.

Дав мне подышать, протезист отлучился на короткое время, вернулся с двумя металлическими челюстями, но без зубов, примерил их в моей пасти и одобрительно хмыкнул.

«Подходят», — догадался я.

Своими соображениями протезист со мной не делился, работал молча, только изредка произносил:

— Сплюньте! Откройте рот шире. Уберите язык.

Последнее неизменно приводило меня в замешательство: я решительно не знал, как и куда я должен его убрать. Он сердился на мою тупость, но, в общем, был терпелив.

На каждую металлическую челюсть он обильно наложил толстый слой зелёной глиноподобной массы, затем ловко пришлёпнул челюсти в мои зубы так, что те вдавились до упора в мастику. Это называется взять слепок. После этого протезист приказал придерживать двумя пальцами левой руки эти челюсти в установленном положении, а сам сел писать в мою лечебную карточку необходимые данные.

Последнюю операцию я выдержал достойно, если не считать нескольких рефлекторных спазм отторжения железок, да еще недоумение, какими пальцами и как держать челюсти.

— Придёте шестого декабря, — он вручил мне карточку и отпустил.

Я человек дисциплинированный, и в назначенную дату стоял перед ним, как штык. Протезист, однако, кисло улыбнулся и сказал, что работа еще не пришла из мастерской. Я понял, что без моих усилий не обойтись. Два дня я дома, сидя у телефона, прослеживал технологический путь слепка моих челюстей. Мне задавали различные вопросы, типа: «Сообщите номер наряда, фамилию техника и протезиста», и прочее, и прочее. Обещали посмотреть, и, наконец, девушка заявила, что, скорее всего, слепок валяется на полочке протезиста. «Пусть посмотрит».

Не знаю, как уж там в натуре, но только еще через пару дней слепок нашёлся, и вот я снова в кабинете.

Мой протезист с круглой крупной головой принялся немедленно ставить на мои зубы изготовленные коронки. Что-то ему не нравилось, он хватался за сверлильный станок и правил мои зубы. В процессе всех этих дел он каким-то непостижимым образом ухитрился затерять одну из коронок, а именно, от клыка. Долго лазил, искал, нашел пропажу и тщательно промыл её водой из-под крана.

— Придёте семнадцатого декабря, — сказал он.

Я вышел из кабинета и, будучи человеком опытным в этих делах, проверил дату. Так ведь семнадцатое декабря попадает на субботу, то есть, на нерабочий день.

— Извините, доктор, — я просунул голову в кабинет, — Вы назначили в субботу, но это выходной.

До него дошла моя правота, и он бросил:

— Приходите в понедельник.

Не знаю, что меня ожидает в понедельник. Сегодня еще девятое, пятница…

Жорка

Говорят, хочешь узнать человека поглубже, сделай его начальником. Так оно и есть. Став начальником, большинство людей раскрывает свои многие, порой мерзкие свойства. Да и то, перед кем же их раскрывать, как не перед подчинёнными. Тут и спесь, и грубость, и тиранство. Такой начальник только и знает, что превозносит себя, свои заслуги и важность своей руководящей деятельности.

— Я, я, я, — только и слышишь от него. А уж надувается, словно индюк!

Тошно на него глядеть, а смотришь, деваться некуда. Но вот мне довелось столкнуться с обратным, так сказать, диаметрально противоположным явлением.

Отдыхал я в доме отдыха Закавказского военного округа в городе Сухуми. Поместили в палату, рассчитанную на четверых. Войдя, я обнаружил двух мужичков: молодого авиационного капитана и морского капитана второго ранга.

Я, как принято в порядочном обществе, поставил на стол бутылку коньяку и представился.

Авиатор назвался Васей, а моряк Ястребенко Николаем. Мы выпили, закусили лимончиком и стали гадать, кого Бог пошлёт к нам четвёртым.

На следующий день после завтрака, когда мы оживлённо планировали предстоящий день, распахнулась дверь, и Бог послал нам коренастого лысоватого блондина с круглым весёлым лицом, возраста лет сорока. Позже выяснилось, что ему пятьдесят, но выглядел он, я повторяю, не более, чем на сорок.

Блондин быстро оглядел комнату и сказал:

— Значит, я четвёртый, давайте знакомиться. Зовите меня Жоркой!

— А по званию? — полюбопытствовал Ястребенко.

— Да я, ну, в общем, матрос я, — смиренно ответил Жорка.

Первое время нам было как-то неудобно звать его Жоркой. Всё же немолодой человек, и вдруг Жоркой, как мальчишку, но он настаивал, и вскоре мы совсем к этому привыкли.

— Видимо, карьера мужику не удалась, — размышлял я, — звание среднее, а возраст солидный. Мы-то намного моложе его, а у нас с Ястребенко уже по две большие звезды на погонах; Вася — и то капитан. Вот человек и стесняется, а когда Жоркой, то мы все равны, без званий, ему легче.

У меня вот сосед по подъезду, старший лейтенант в отставке, всю службу оттрубил авиационным техником, а при этой должности старший лейтенант — потолок!

Вечерами играли в преферанс, и дежурный бегал за коньяком. Когда наступила Жоркина очередь, самый наш младший Вася откинулся на кресле-качалке и, утомлённо прикрыв глаза ладошкой, жеманно скомандовал:

— Жорка, дуй за коньяком!

— Я мигом, — проговорил Жорка, схватил пустые бутылки, набросил пиджак и бодрой рысью отправился.

Минут через двадцать он уже хлопотливо откупоривал коньяк, наливал в стаканы и аккуратно нарезал лимон тонкими интеллигентными ломтиками. Затем он осыпал лимон сахарным песком и оповестил общество о полной готовности вежливым:

— Битте, дритте!

Словом, вписался Жорка в наш коллектив, как патрон в обойму пистолета. Мужик он оказался отличный. И, пожалуй, можно было твёрдо признать, что он стал душой нашего коллектива. Я лично не припомню, когда и где мне так хорошо отдыхалось.

— А не расписать ли нам пулю, господа?

Возражений не последовало. Скатерть со стола вон! Ястребенко аккуратно расчерчивает лист белой бумаги, а Жорка готовит карты.

— Как будем, по копеечке?

— Ой, разорюсь! — закричал Жорка, — впрочем, как общество, так и я.

— Мизер?

— Кабальный. Только, давайте без разбойника. Не люблю авантюру, — попросил Жорка.

Вася с сожалением взглянул на него.

— Поэтому ты и есть Жорка, — не очень учтиво проговорил он.

Я укоризненно посмотрел на Васю — не люблю, когда людей унижают.

Лучше всех игру знал Вася, он быстро соображал и обладал отличной интуицией. Плохо только, что это превосходство его слегка развратило. Он позволял себе раздражаться, если партнёр медлил с ходом, а уж, не дай Бог, кто совершал ошибку, так он того поедом ел.

Карты розданы.

На семи червей игру взял Ястребенко. Вася, находясь перед Ястребенко, естественно, завистовал. Жорка, однако, тоже. Ход Жорки, но ходить он вынужден под Васю, а ходить не с чего. Не следовало ему по преферансным законам вистовать! Надо было открыться.

Пошел с туза треф, и этим сразу подарил взятку играющему. Тот сбросил семёрку и оставил берущего короля!

Вася от такого промаха Жорки осатанел.

— Жорка, ты что, спятил?!

— Так нечем ходить.

— Зачем вистовал? — Жорка покраснел.

— Ты что, забыл сразу две заповеди преферанса? У тебя что, склероз? Нет хода, не вистуй! А вторая, ну-ка, скажи.

— Отстань, — отбивался Жорка.

Вася насел на Жорку, как инквизитор.

— Не с чего ходить, ходи с бубей! — добивал он Жорку.

— Балда ты, Жорка, вот ты кто!

— Вася, не хами. — попросил я. Вася опомнился:

— Ладно уж, извини меня, Жорка! Что спросить с убогого! — последнее было высказано неопределённо: то ли самокритично по отношению к самому Васе, то ли к Жорке.

— Всё-всё, мужики, — вступил Ястребенко, — давайте вести себя цивилизованно. Не все же играют так гениально, как ты, Вася.

В знак окончательной ликвидации конфликта выпили коньяку и закусили лимончиком. Подобрели, размякли. Вася совсем остыл, и его стала мучить совесть.

— Жора, извини меня, дурака.

— Извиняю, извиняю, — ответил Жорка. — Как ты говоришь, не с чего ходить, ходи с бубей?

Все расхохотались.

— • —

Четырнадцать дней мы прожили душа в душу, как молочные братья, но ничто не вечно. Настала пора разъезжаться.

Вечером мы вышли в парк, в последний раз, и увидели чёрную «Волгу», которая подкатила к нашему корпусу. Молодой, красивый и

стройный, как кипарис, флотский старшина выскочил из машины и твёрдой походкой направился к нам. Мы остановились и с любопытством ждали.

Не доходя ровно трёх шагов, хоть метром меряй, он четко остановился, отдал честь, шикарно подбросив ладонь под бескозырку, и отрапортовал:

— Товарищ адмирал, по Вашему приказанию машина подана! Старшина Морев.

Жорка, адмирал Жорка, недовольно сморщился, показал старшине Мореву кулак и буркнул:

— Жди!

Он обнял нас, ошеломлённых, больше напоминающих в этот момент пучеглазых раков, и потащил к буфету. Мы машинально и покорно последовали за ним.

— Ну, что, братцы, дёрнем на прощание.

Он был оживлён и приветлив, как всегда, но теперь он уже был не наш Жорка.

— Товарищ адмирал, что же Вы нам не сказали, кто Вы! — это Вася обрёл дар речи, выпив вторую порцию. После первой он порозовел, но язык еще не работал.

— Как-то неудобно получилось, мы ведь иной раз, особенно в преферансе… Вас и по… матушке.

Адмирал рассмеялся.

— Эх, мальчики, мальчики. Если бы знали, как хорошо я с вами отдохнул! А то отдыхаю в этих генеральских санаториях и всю дорогу один разговор про свои заслуги и болезни. И все как индюки. И откуда у людей спесивость берётся, жизни за ней не видят.

— Я, братцы, никогда не забуду нашу комнату № 68, а вы не забывайте Жорку!

Он обнял нас всех по очереди и пошел к машине.

Иван и люди нашего двора

Рассказы

Жизнь, как она есть

Жители нашего двора не лучше и не хуже людей, проживающих за его пределами. У тех и у других схожие заботы и проблемы, понятия о справедливости, честности, благородстве и бесчестии, схожее отношение ко лжи, доброте и многому иному.

Сходство их заключается также и в том, что и те, и другие содержат единый набор известных всем общечеловеческих свойств, правда, в различных соотношениях.

Но самое интересное и на первый взгляд парадоксальное сходство состоит в неповторимости каждого человека. Сходство в неповторимости! Неповторимости в добрых делах, неповторимости в злодеяниях и во лжи, неповторимости в мерзости.

Сегодня во дворе необычно безлюдно.

— Где народ? — спросил я Ивана.

— В доме установили телефоны. Все звонят, даже домино забросили.

— • —

Есть на свете люди, которые волею неведомых нам сил призваны влиять на жизнь всякого, кто случается на их пути. Иван, несомненно, принадлежал к таким избранникам.

Вроде бы неказистый на вид мужичонка, не выдающийся ни умом, ни талантом, ни праведностью, ни какими иными качествами, но, двигаясь по своей жизненной орбите, он, сам того не сознавая, увлекает на неё окружающих людей, вторгается в их жизнь и сам испытывает их влияние, как доброе, так и скверное.

Подружки

Иван мал ростом, худ и немощен на вид, телосложением хлипок, личико небольшое, острое, щёки обычно небритые. Но притом человек он не злой, а, напротив, весёлый, очень доброжелательный и смешливый.

Мы беседуем с Иваном во дворе. Дети слушают наш разговор и корячатся на перекладине.

— Я сейчас выпил три стакана, — сообщает мне Иван.

— Чего, Ваня, выпил-то? — задаю я уточняющий вопрос.

— Белой, конечно, — отвечает он, добродушно улыбаясь, и затем поинтересовался:

— Ты сколько раз подтянешься на перекладине?

— Плечо у меня болит, Ваня, но, — я прикинул свои возможности, — раз десять подтянусь.

— А я сорок раз! — выпалил он.

— Давай, валяй.

Он прыгнул, повисел на перекладине и, вытягивая худую шею и дымя папиросой, принялся подтягиваться. Дети громко считали. Подтянулся он пятнадцать раз.

— Молодец, Ваня, а сколько ты весишь?

— Да килограммов сорок пять.

— Вот видишь, а во мне семьдесят два без ботинок.

— Я служил в Германии, — он так мощно затянулся, что папироса едва не вспыхнула. — Был у меня в отделении солдат, толстый. Я схватил его за руки, закружил вокруг себя и отпустил. Он шарахнулся об угол, еле встал. С тех пор он меня боялся, а раньше я его боялся.

Приходит майор:

— Давай, показывай посты!

Я встал, стараюсь не качаться. Иду позади майора, чтобы не уйти куда в сторону, ну, в общем, чтобы не заплутаться. Ничего, все посты обошли, он впереди, я за ним. Да что показывать-то, майор их сам хорошо знал.

Ну так вот, у немки меня застукали мужики с красными погонами, направили четыре пистолета, а у меня один, что сделаешь.

— Ваня, тебе бы тогда пулемёт, — с участием сказал я.

— Да, конечно, а эти ребята с красными погонами хорошие, а хватают, — он сплюнул и усмехнулся, — мы их через мост в Эльбу кидали.

Иван оставил военные воспоминания и обратился к мирной действительности.

— Прихожу на работу, а вечером выпил полтора литра белой. Я не ем, когда пью. Я каждый день пью, — он показал мне книжечку. — Вот права шофёра первого класса, ходил получать в ГАИ, а сам пьяный.

— Ваня, ты видел вчера у нас во дворе драку? Один грыз берёзу.

— Ну их, — он махнул рукой, — я раз вышел, Ксению убивали. Так тот вытащил ножик и сказал мне: «Видел?»

— Я больше не лезу, полоснёт еще. Ты знаешь, у нас в доме ведьма живёт, — он посмотрел на меня, опасаясь нехорошей реакции. — Баба Настя! Черная такая, ведьма и есть!

— Ну что ты, Иван, выдумал на хорошего человека, — возмутился я.

— Точно, не сомневайся, ты знаешь, я зря не скажу. Встретились мы однажды, она как зиркнула на меня своими глазищами, так у меня страх подкатил к низу, чуть не наклал. Такая в ней сила! А ты говоришь, — он даже сплюнул в негодовании от моей глупой недоверчивости.

Он то и дело вставлял в свою речь матерные выражения, и это меня тревожило. Дети внимательно слушали наш разговор, но у Ивана всё

получалось настолько незлобно и не грязно, что сделать ему замечание я не решался.

Иван, как заботливый глава семейства, вышел с младшенькой Натальей на прогулку. Вдоволь накатав её с ледяной горки, он взобрался сам и съехал на подошвах, картинно отставив мерцающую папиросу и успев раза два затянуться.

Внизу, на стыке горки с землёй, он, однако, упал с каким-то странным бряком, резко ударившись тощим задом. Не торопясь встать, он смущённо крякнул, затянулся папиросой, встал и снова полез на горку.

— • —

Работал Иван на громадном грузовике, образно говоря, драндулете, неизвестной марки. Грузовик настолько латан и перелатан, что не только фирменные знаки, но и следы их полностью исчезли.

Тем не менее, любознательные обитатели двора потратили немало времени в попытках установить происхождение этого движущегося грузового транспортного средства. Однако, к определённому, а тем более, единому мнению прийти так и не смогли. Сам Иван скромно называл его студебеккером.

Наш большой двор, образованный шестью кирпичными пятиэтажными домами, сильно зарос деревьями, и для проезда машин оставалась узкая полоса по внутреннему периметру; чтобы встречные машины могли разъехаться, одна из них должна при этом выезжать далеко на тротуар.

В одной из наших пятиэтажек, а именно, в первой слева, если смотреть от въезда во двор, жила семья отставного лётчика гражданской авиации Сидорова, отстранённого от полётов, а затем и списанного навечно из авиации ввиду его беспробудного пьянства.

Спивался Сидоров на глазах у соседей, в совокупности со своей женой, очень динамичной говорливой цыганкой Кларой.

На заре супружеской жизни Сидоров-лётчик — истинно русский человек — пил, но несильно. Клара же, обрусевшая, оторвавшаяся от своих таборных корней, но сохранившая, однако, свою буйную цыганскую натуру, пила запоями, по-черному.

Чтобы предупредить пьянство, летчик часто запирал её дома, и тогда она часами стояла на балконе в надежде увидеть доброго прохожего человека, согласного принести по её просьбе бутылочку. Заговаривать зубы она, как цыганка, естественно, умела: мёртвого уговорит отдать последний рубль.

Напивалась до бесчувствия; однажды уронила горящую папиросу на одеяло, и постель загорелась. Женщину спасли, но живот и ноги сильно обгорели.

Несчастную супружескую пару гармонично дополняла их дебильная дочь Татьяна, достигшая к тому времени двенадцати лет. По сути беспризорная, добрая по натуре девочка бесхитростно рассказывала соседям о безобразиях, происходящих в её семье, вызывая всеобщую жалость и сочувствие.

Итак, младший ребёнок, девочка Таня… Однако, прежде необходимо информировать читателя, что Сидоров-лётчик очень долгое время пытался спасти жену от запоев, но, увы, её натура оказалась сильнее. В итоге, они стали пить вместе, притом по-чёрному.

Так вот, Таня, зачатая в пьянстве, родилась недоноском, семимесячная. Еле выжила; росла физически и умственно неполноценным ребёнком, тощенькая, с уродливо-маленькой головой, но чрезвычайно добрая натурой и общительная.

Выйдет во двор босиком.

— Где мать-то, — спрашивают женщины.

— Она пьяная лежит, валяется, — с беспечностью дебила отвечала Таня, и этим приводила женщин в ужас.

Таня хотела, как все, не отставать от других. Обнаружив, что иметь собаку модно, она нашла бездомную собачку, сучку, старую, нечистую и жалкую, назвала её Диком и водила её на верёвочке. Потрясающая пара! Нет Диккенса и нет Шекспира, чтобы изобразить эту юдоль людского убожества. Более жалкой пары я не видел ранее никогда. Слёзы наворачиваются.

Однажды она потеряла свою собаку.

— Никак её не уловишь, вот какая строптивая! — сокрушалась Таня, в то же время как бы гордясь своим четвероногим другом.

Она даже в своей жалкости имела, хотя и в карикатурном внешнем виде, чувство внутреннего достоинства и тянулась инстинктивно к тому уровню взглядов, который люди признают как нормальный. Она хотела выглядеть не хуже других.

— • —

Крепко выпив, Сидоров обычно выходил на балкон и произносил речь. Обращался он к гражданам двора в высшей степени уважительно и никогда не допускал матерных выражений. Последнее я могу засвидетельствовать. Темы его речей весьма разнообразны: от необходимости поддержания в стране железной дисциплины до организации своевременного вывоза мусора с нашего двора. При этом он подвергал уничтожающей критике служащих жилищного управления, ответственных за эту работу.

Следует указать, однако, на любопытную особенность. Он никогда не критиковал должностных лиц, стоящих выше дворника. Это обстоятельство, на мой взгляд, видимо, и позволило ему в течение ряда лет осуществлять балконную политическую деятельность.

— • —

Старший сын Сергей выпадал из этого ужасного ансамбля. Юноша унаследовал от матери цыганские чёрные кудри и ещё натуру увлекающуюся и постоянно находящуюся под воздействием какой-либо страсти. Но водки не пил!

Одно время он увлекался собаками: завёл себе овчарку, кормил, дрессировал её, и ничего вокруг, кроме своей Альмы, не видел. Так вместе они и ушли служить в пограничные войска. После армии они вернулись домой, но его Альма стала инвалидом. Бедная собака пала на задние ноги и при ходьбе бессильно и жалко волочила их. Вскоре она погибла, и Сергей долго горевал.

Следующей страстью Сергея стал автомобиль. Ввиду скудости денежных средств он смог приобрести лишь подержанный «Запорожец» первой модели, известный в народе как Божья коровка. Чтобы приобретённая рухлядь смогла передвигаться, требовался сильный ремонт. И вот более полугода, не жалея сил и времени, Сергей только и занимался этим ремонтом.

Казалось, ремонту конца-края не будет; едва только Сергей устранял одну неисправность и, облегчённо вздохнув, готовился к движению, как тут же выходил из строя ещё какой-либо автомобильный агрегат, и работа продолжалась.

Однако, цыганская натура держала дух Сергея на высоком уровне, и он не унывал. Постепенно привёл в порядок все агрегаты автомобиля, так что неисправностям просто не осталось места. Мотор заводился от лёгкого нажатия стартёра и утробно урчал, как сытое животное.

Довольный Сергей критически оглядел плод своего тяжкого труда, сложил инструмент и завершил ремонтную эпопею тщательной окраской корпуса Божьей коровки в оранжевый цвет.

— Так он будет виден издалека, — размышлял счастливый Сергей, — недаром жилеты для железнодорожных рабочих шьют именно из оранжевой ткани.

Машину он поставил вплотную к кустам акации, высаженным вдоль проезжей части двора, и пошел домой перекусить. В течение дня он несколько раз выходил на балкон, чтобы полюбоваться своим автомобилем.

В этот же день Иван на своём гигантском грузовике с мощными бортами мчался домой, чтобы пообедать, так сказать, подкрепиться перед дальнейшими трудами.

Как всегда, он был пьян, то есть, не то чтобы уж совсем, никто этого точно знать не мог. Более того, сам Иван неоднократно утверждал, что совсем пьяным он никогда не бывает. Скажем так, Иван был прилично выпивши.

Когда до родного двора оставалось не более четырёхсот метров, он обнаружил, что тормозная педаль проваливается, и, фактически, нажатие на неё не приводит к торможению автомобиля.

— Это очень плохо, — подумал Иван, но не растерялся. К весьма немногочисленным добродетелям Ивана, несомненно, следует отнести его самообладание. Он никогда не терялся, ни в каких обстоятельствах! Он решил, что с помощью мотора сможет постепенно загасить скорость, и это должно произойти где-то в районе его подъезда.

Иван виртуозно повёл свою махину по внутриквартальным дорогам, отслеживая многочисленные крутые повороты; он бешено вращал штурвал и гудел клаксоном, остерегая прохожих. Ошибка Ивана состояла в том, что свой расчет он строил на человеческом уровне, а людьми и их деяниями, как известно, управляют звёзды и судьба.

По этой причине он не сумел погасить скорость у своего подъезда и проехал еще ровно столько, сколько нужно, чтобы зацепить нижним краем правого борта Сергеев «Запорожец» и распороть его сверкающий оранжевый бок на всю длину так, что открылся вид в салон.

Беда случилась на глазах Сергея, который в это время стоял на балконе. Он скатился по лестнице, бросился к своему несчастному автомобилю и застыл в ужасе! Подошел Иван и долго таращился на них. До него дошло содеянное им, то, какую беду он принёс человеку, и он повинился. Сергей плакал, а Иван утешал его. Он заглядывал Сергею в глаза и обещал отремонтировать машину немедленно.

— Жив не буду, отремонтирую! — сказал он и от избытка чувств и жалости к Сергею встал на колени.

Иван честно загладил свою вину. Он отремонтировал «Запорожец».

Обожжённые войной

В нашем подъезде на первом этаже жила пожилая супружеская пара, баба Настя, в которой с глубокой убеждённостью Иван признал ведьму, и Василий.

Баба Настя с её огромными совершенно чёрными глазами на крупном смуглом лице и шапкой тёмных, как ночь, густых волос производила необычайно сильное впечатление. Глубокая духовность мощно ощущалась в её облике, взгляд проникал в душу человека и даже подавлял. Люди её побаивались, а она откровенно сторонилась праздных встреч и пустых разговоров.

Василий, супруг её, израненный, искалеченный и контуженый на войне, обычно сидел для моциона на табурете около подъезда; ходить он почти не мог, даже с тростью. Душой редкой доброты и чистыми помыслами он тянулся к хорошим людям. Наши дворовые алкаши старались не подходить к нему, инстинктивно ощущая в нём иную натуру, не приемлющую их грубость, пьянство, мат.

Василий мне приятен, и он чувствовал это. При виде меня он весь напрягался, глаза его излучали привет, на лице появлялась слабая улыбка. Я желал ему здоровья, и мы несколько минут беседовали.

Слова, а тем более фразы, давались ему с огромным мученическим трудом. Он не то чтобы заикался, но каждое слово выговаривал с такой мукой и так медленно, что в душе моей вскипала жалость и сочувствие, даже комок подступал к горлу.

Чтобы сократить его муки, я пытался как можно скорее ухватить мысль, которую он хотел выразить. Он мычал, образуя звук за звуком, пока не выходило нечто похожее на слово, делал паузу, отдыхал и продолжал строить нужные слова. А моя душа терзалась от сострадания.

Баба Настя редко показывалась вне квартиры, но наблюдала наши встречи, хотя я не подозревал этого.

Как-то жена послала к ней нашего семилетнего Диму за лампадным маслом. Мальчик принёс масло, но вид его был потрясённый, а большие голубые глаза чуть ли не на лбу.

— Мама, — рассказал он, — у бабы Насти вся стена в портретах и много светильников с горящими фитилёчками.

Однажды я обнаружил Василия, сидящего, как обычно, на своём табурете, совершенно замёрзшим.Стояла промозглая погода с холодным сырым пронизывающим ветром, не хватало только снега для полного её ощущения. Худенький, истощённый от недугов, он сидел совсем съёжившись в своём тёмном демисезонном пальто на рыбьем меху и колотился от холода.

Я взял его под руку и тихонько повёл домой. Мы преодолели несколько метров до квартиры и вошли.

Баба Настя впустила нас, уложила Василия на диван, а меня усадила на стул и стала поить чаем. Я пил чай, слушал её и осматривал комнату, стараясь делать это, по возможности, деликатно.

Передний угол и вся стена, противоположная окну, представляла собой сплошной иконостас с несколькими горящими лампадками. Святые наши предки отрешённо, но остро выразительно смотрели на нас.

Василий отогрелся, разомлел от горячего чая и задремал. Баба Настя налила чаю себе и села рядом.

— До войны я работала в больнице медсестрой, а в июле 1942 года, на второй год войны, меня мобилизовали и отправили на фронт санинструктором в звании сержанта.

— Молоденькая была? — спросил я.

— Да нет, к тому времени мне было около тридцати пяти, уж не девчонка зелёная. Дело своё медицинское я знала хорошо. Любую рану могла перевязать, как надо. Это всё не трудно, но…

Она задумалась. Воспоминания, видимо, были столь тяжелы, что страдания исказили её лицо, и она долгое время не могла овладеть собой, готова была зарыдать, однако, продолжала.

— В мою службу вменялась доставка раненых бойцов с передовой, — она не решалась перейти к главному, к тому, что мучило её и терзало. — Когда, еще до войны, я работала в больнице, то перевязывала всякие раны, насмотрелась, но никогда не видела, как люди получали эти раны. А тут, на моих глазах, — губы её снова задрожали, и она молчала некоторое время, — пули, осколки дырявили и кромсали людей, рвали животы, разбивали головы, размётывая мозги и вырывая сердца… и всё, что внутри.

На моих глазах у бойца вырвало кишки; он в безумном страхе, не желая умереть, запихивал их обратно в свой изорванный живот вместе с землёй, грязью и кровью. На моих глазах, в одно мгновенье от бойца остался обрубок: руки и ноги ему оторвало. Он извивался на одном месте, еще не поняв, что сделали с его молодым здоровым телом. Глаза в безумном отчаянии. Кровь, а с ней и жизнь фонтаном изливались из него.

Жуткие, нечеловеческие крики, стоны, рыдания… Людей убивали, как скот на бойне, но только бессмысленно, изощрённо и цинично.

«Так нужно», — говорили им.

Я видел, что ей становилось плохо.

— Баба Настя, — я погладил её по голове, успокаивая, — Вам тяжелы эти военные воспоминания.

— Нет, наоборот: они переполняют меня и доводят до безумия. Мне становится немного легче, когда я рассказываю о них, — она подумала, — это как предохранительный клапан, чтобы котёл не взорвался.

— Вот прошло двадцать лет, а вижу, как вчера, потому что слишком страшно, — она вздохнула и продолжала.

Кого можно перевязать, я перевязывала и тащила в тыл. Перевязывала и тащила, перевязывала и тащила. После первого боя, когда я вытащила из боя не менее десятка изуродованных бойцов, я упала на землю в страхе и смертельном ужасе. Я закричала: — Что же это! Кто сотворил такое?! — но вопль мой ушел в землю, не получив ответа. Я лежала на земле, рыдала и выла в беспредельном отчаянии.

— Поняла я! Что война это сатанинская затея, потому что не может человек без сатаны придумать такие муки для самого себя! Но и сатана не обошёлся без помощи людей, одержимых им и лишённых христианской нравственности. И сейчас я в их власти и должна нести свой крест.

И поняла я сердцем, что нет мне иной защиты кроме Господа. Я обратилась к Нему; рыдая и заливая себя слезами, дала Ему обет: если Господь позволит мне вырваться живой из этого сатанинского ада, где есть множество людей, но нет ничего человеческого, то посвящу всю свою жизнь Ему, Богу!

Всю войну я перевязывала раненых, выносила из боя, облегчала их смертные муки и не роптала.

Я несла свой крест.

В конце войны меня перевели в госпиталь. Там я встретила Василия и привезла к себе. Он такой тихий, чистый и беспомощный до слёз. Я стараюсь быть ему поддержкой и спасением; молюсь за людей несчастных и обиженных.

— Баба Настя, а ведь люди не знают Вашей жизни, побаиваются Вас. Вон Иван полагает, что Вы ведьма.

Она усмехнулась:

— Такой уж облик у меня цыганский. Я в господа нашего Иисуса Христа верую и молюсь за людей. А Иван, — она немного помолчала, как бы оценивая Ивана, — он хороший человек. Душа у него добрая, в мыслях он не грязен. Я вижу это. Только легкомысленный, с водкой очень уж подружился. Грех это. Но я за него молюсь.

Позже я встретил Ивана и рассказал о судьбе бабы Насти. Он несколько раз пытался мне возразить, но я решительно ставил ладонь против его рта и не давал ему говорить до тех пор, пока не закончил свой рассказ. Он долго, очень долго молчал, смотрел в сторону. Затем в нём что-то прорвалось; воспоминания из войны ворвались в его изрядно отупевшую от водки голову.

— Всё так и было, — наконец прохрипел он. — Нам, мужикам, легче, хотя тоже старались не думать, надеялись, выпивали, а бабе нет: женщине это страшно и невозможно. Война не для женщины.

Она вообще ни для кого.

Живём как можем

На четвёртом этаже, по правую сторону от лестницы проживала вдовица Ксения с дочерью Шуркой.

Муж её помер давно, но жильцы его помнили: роста среднего, но худ и тонок, как фитилёк, а немощен настолько, что у каждого, кто его видел, не оставалось сомнений в совершенной непригодности этого человека к земной жизни. Поговорка «в чем душа держится?» по отношению к нему била в точку.

Несмотря на указанную немощь, он выпивал, и по информации, исходившей из неофициальных, но, без сомнения, компетентных источников, а именно, от бабы Веры, скончался, пребывая в черном запое. Ксения же, в целях сохранения репутации семьи, и прежде всего своей, решительно утверждала, что мужик её помер от сердца.

Сама Ксения пила. Люди выпивают по-разному; одни пьют регулярно до среднего опьянения, другие реже, но сильно, то есть, запоями и до потери сознания. Ксения совместила в себе оба режима выпивки: она пила регулярно до исчезновения ощущения окружающего мира.

Возвращаясь со службы, я нередко видел её в подъезде, на полу в бессознательно пьяном состоянии. Около неё обычно беспомощно топталась дочь Шурка. Девочка бросалась ко мне и плача просила привести мать домой; из опыта она знала, что я не откажу.

Без всякого энтузиазма, скорее даже с отвращением, я взваливал её презренную мать на закорки и волок на четвёртый этаж. Ксения женщина хотя и не крупная, но упитанная, и тащить её тяжело и неудобно. Шурка суетилась рядом, как бы помогая. Я сваливал Ксению на кровать и уходил. От жены мне неизменно попадало за то, что прикасался к заразе.

Работала Ксения уборщицей в ближайшем продовольственном магазине, на языке аборигенов, стекляшке. Общество, в котором она вращалась, в смысле, выпивала, состояло из алкашей, слоняющихся в течение светового дня и сумеречного вечера в поисках спиртного, на значительной территории с центрами в стекляшке и двух полуразбитых беседках в глубине двора. Другими словами, она выпивала с кем попало, но строго в пределах зоны своего проживания.

Случалось ей выпивать и с Иваном. В отличие от других собутыльников, Иван никогда, ни при каких обстоятельствах, не бросал её на произвол судьбы, но обязательно приводил домой. Чувство товарищеской ответственности сидело в нём крепко. Тем более, что жили-то они в одном доме и даже в одном подъезде.

Довести Ксению до подъезда обычно не представляло для Ивана особого труда потому, что путь проходил по горизонтальной плоскости без подъёмов и спусков.

Кроме того, в Ксении, даже сильно пьяной, еще оставалось слабое мерцание сознания и небольшой запас энергии; её достаточно было лишь слегка поддерживать да подпихивать, понуждая двигаться в нужном направлении.

Значительно сложнее для Ивана проходил совместный подъём по лестнице. В этот раз, едва только они достигли родного подъезда, сознание Ксении полностью отключилось. Ситуация резко осложнилась, она стала критической.

После нескольких тщетных попыток придать телу Ксении вертикальное положение, Иван решил отдохнуть. Он сел на ступеньку, закурил и, стряхивая пепел на Ксению, стал её ободрять.

— Ксенька, — сказал он, — не скули. Ты меня знаешь, Иван не такой человек, чтобы бросить товарища. Мы выпивали вместе? Всё! Сказано доставлю домой, значит, доставлю. Считай, ты уже дома. Жив не буду! Сдохну, а доставлю в лучшем виде.

Он помолчал и, чтобы не осталось сомнений, добавил:

— Б--ь буду!

Он загасил папиросу о ладонь и закурил другую. Затем подсунул Ксенькины ноги себе под мышки со спины, крепко ухватил её под коленки и начал восхождение. При этом он дымил папиросой и заботливо следил, чтобы тело Ксении и в особенности тайные места были прикрыты и не выглядели срамно.

Ввиду того, что волок он Ксению спиной вниз, зеркало души её, обращенное вверх, не страдало от соприкосновения с грубым цементным полом, и всё ничего, если бы не ступеньки. Своей пьяной башкой она пересчитала их все до единой, с первого до четвёртого этажа включительно. Чтобы осознать масштабность явления, достаточно произвести несложное вычисление.

Если лестничный пролёт состоит из двенадцати ступенек, а число пролётов по маршруту равно шести, то нетрудно убедиться, что между уровнем первого этажа и четвёртого, так сказать, конечного пункта восхождения, содержится семьдесят две ступеньки.

В безусловное оправдание Ивана следует твёрдо заявить, что его вины тут нет! Им двигала железная необходимость, а он стоял перед выбором, или тащить, как возможно, или бросить её в подъезде, чего Иван, пока его сердце билось в груди, не мог допустить ни при каких, повторим мы, обстоятельствах!

Он втащил Ксению в квартиру и оставил на полу; уложить её в кровать он уже был не в состоянии, ибо совершенно устал. Руки и ноги дрожали от слабости.

— Укрой маму, пусть выспится, — прохрипел он Шурке и, дымя папиросой, пошел к себе.

Шурка выросла на наших глазах, проходя одну за другой различные возрастные стадии.

Из шустрой девчушки она с очень коротким переходным периодом превратилась в девушку, а потом, довольно быстро, в гулящую девку. Сифилис она подхватила, когда ей не исполнилось и восемнадцати.

Пока медицина боролась с болезнью, мать и дочь изо всех сил старались скрыть этот печальный и позорный факт от общественности, но прежде всего от одного серьёзного мужчины, который ухаживал за Александрой с самыми серьёзными намерениями.

Мужика они сумели оставить в неведении, другими словами, облапошить, но утаить что-либо от общественности, где действовали такие мастера сыска, как баба Вера и баба Маня, практически не представлялось возможным. Слухи, подобные тонким струйкам дыма, просачивались всюду, и тайное становилось явным.

Тем не менее, всё образовалось. Шурка успешно залечила свою болезнь, вышла замуж за серьёзного человека. Можно сказать, она исчезла с нашего горизонта. Счастливый конец.

Искупление

В процессе жизни со своей женой Верой Иван, как уже сказано выше, родил двух девочек. И вот, рано ли, поздно ли, произошло событие, изменившее привычный ход жизни и даже, в определённом смысле, внешний и внутренний облик Ивана.

Иван ходил просветлённый, довольный и счастливый, как может быть счастлив заботливый отец, чья дочь выходит замуж, то есть, решает главную задачу своей жизни.

Жить им, однако, впятером, да ещё в виде двух семей, в однокомнатной квартире стало совсем тесновато, но что поделаешь. Таковы наши реалии.

Неизвестно, то ли указанная теснота, то ли ещё какие проблемы повлияли на отношения в семье, но только стал молодой, физически крепкий зять поколачивать своего хилого тестя. Первое время это безобразие не выходило за пределы квартиры и тщательно скрывалось всеми

членами семьи. Ничего подобного не подозревала даже баба Вера, а ведь она обычно очень медленно проходила по лестничным клеткам, чутко прислушиваясь и бдительно улавливая любые подозрительные шумы и разговоры, а при необходимости, не жалея личного времени и пренебрегая опасностями, стояла около квартирных дверей, наставив уши.

Но вот, в прошлое воскресенье соседи услышали шум, грохот и даже очень громкие голоса, доносящиеся из Ивановой квартиры, а вскоре обнаружили самого Ивана, лежащего на площадке, сильно избитого и плохо соображающего.

Люди забеспокоились, оказали Ивану посильную помощь и стояли возле него с твёрдым намерением узнать подробности и, если нужно, помочь. Иван выпивши, но не настолько, чтобы лежать.

Покричали Веру и хотели внести в комнату, но Вера немного подумала и озабоченно сказала:

— Пока не надо, пусть полежит. Зять успокоится, тогда внесём.

Народ потолкался и разошёлся по своим квартирам. Иван лежал на холодном полу и прикидывал способы отмщения своему зятю-злодею. Планы его были разнообразные, но по сути сводились к трём укрупнённым вариантам:

— Набить зятю морду. Спустить с лестницы. Выгнать из дома.

Замечательно, но только если бы обида исходила от чужого человека, а тут зять, муж дочери. Это обстоятельство сильно меняло дело. На каком бы варианте сладостной мести ни останавливался Иван, получалось, что он неизбежно наносил вред своей родной дочери, находящейся на всю жизнь в слитном состоянии с этим злодеем. Поскольку они между собой муж и жена. Допустить, чтобы дочери был нанесён вред, Иван решительно не мог в силу своего добродушия, а также глубоких отцовских чувств.

От мыслительного перенапряжения у Ивана закипели мозги. Впервые в жизни он не мог защитить себя так, как привык это делать; он почувствовал себя таким беспомощным, и таким безвыходным показалось его положение, что слёзы покатились из глаз. Как ни крути, но он, Иван, должен жертвовать собой ради счастья дочери. Вот какой получался фокус.

Немного поплакав и приняв решение, он почувствовал облегчение. Всё же, ему было ужасно обидно.

Так и лежал Иван на строгом граните лестничной площадки с мокрыми глазами, внешне как бы в глубоком раздумье, а на самом деле в необычном для него состоянии, вроде прострации.

Шум в его квартире давно стих, а он всё лежал в одиночестве.

На площадку вышли Лена с мужем. Зять-злодей осторожно, но ухватисто взялся за Ивана, без усилий поднял его с пола и бережно понёс домой. Лена шла позади и заботливо следила, чтобы отец не зацепился за угол и не зашибся.

Непутёвая мать

Однажды вечером, где-то после семи часов, когда большинство нормальных семей заканчивали ужин и торопились к телевизору на «Семнадцать мгновений весны» — боевик, вот уже несколько дней державший в нечеловеческом напряжении всех и вся, раздался ужасный крик, скорее, вопль.

Кричала женщина, более того, люди сразу определили, что это была Нина, дама, занимающая однокомнатную квартиру на пятом этаже.

Смысл слов, с которыми дама Нина обращалась к обществу в форме вопля, сводился к одному: — Режут, убивают, спасите!

В чем ином, но в равнодушии наших жильцов не упрекнёшь. Они никоим образом не могли допустить безвременной гибели от злодея любого человека, а тем более Нины, которую хорошо знали, а то, что она погибала от злодея, не приходилось сомневаться, судя по её душераздирающим призывам о помощи.

Жильцы выбегали и накапливались вначале, из осторожности, на своих площадках, а затем против квартиры, где разворачивалась трагедия.

Стихийно возникла штурмовая группа, возглавляемая, как обычно, Иваном и Зинаидой. Физические характеристики Ивана читателю известны, а о Зинаиде можно сказать коротко — женщина она крепкая, с мощным телом, широкой спиной без малейших признаков талии, и к тому же врождённый трибун.

Но прежде чем описать славные и благородные дела этих добрых людей, следует ознакомиться с небольшой исторической справкой, которая даст хотя бы общее представление о героине нашего рассказа. Будем надеяться, что за время прочтения справки злодей не успеет прикончить бедную женщину.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Если вдовство Ксении сомнений не вызывало, так как её мужа видели в натуре, то в семейном положении Нины разобраться было значительно сложнее. С одной стороны, мужа, как такового, у неё, вроде, не было, но, с другой стороны, у неё рос сынок Толя.

К Нине приходил плотный средних лет мужчина Виктор. Вначале его посещения носили приходящий, так сказать, кочевой характер: он то появлялся, то исчезал на несколько дней. Но в этом году Виктор обосновался у Нины основательно, образно говоря, перешел на осёдлый образ жизни. Теперь жильцы видели его ежедневно, постепенно привыкли к нему и стали рассматривать как полноправного обитателя нашего благословенного дома, почти как аборигена. Теперь дальше.

Из информации бабы Веры выходило, что у Нины есть ещё и дочь, находящаяся на воспитании в детском доме. В интересах истины следует, однако, сказать, что баба Вера рассказывала об этом как-то сбивчиво и запутанно; у жильцов полной картины в части Нининой дочери не сложилось. То ли Нина отказалась от ребёнка сразу же в роддоме, то ли отнесла его позже, то ли вообще подкинула. Скорее всего, баба Вера сама не знала, как было дело, но честно признаться в этом не желала из опасения за свой престиж.

Факт существования дочери интересен сам по себе: он вносил дополнительные данные о структуре семьи, но в то же время ещё больше запутывал интересующий нас вопрос. Безотлагательно требовалось уяснение и уточнение обстоятельств, относящихся к рождению ребёнка, его происхождению и появлению в роддоме. Но это уж забота бабы Веры; следует подождать результатов её сыскной работы.

КОНЕЦ СПРАВКИ

— Будем выбивать дверь, — прохрипел Иван и выразительно посмотрел на Зинаиду; та кивнула и решительно пошла на штурм, Иван шел параллельным курсом, чуть отставая. Зинаида развернулась на сто восемьдесят градусов и с разгона обрушилась на дверь задом.

Эффект получился потрясающий, хотя и сильно неожиданный: дверь оказалась незапертой, поэтому Зинаида с Иваном ворвались в помещение подобно баллистическим неуправляемым снарядам, естественно, не удержались на ногах и повалились на пол.

Когда штурмовики встали и перевели дух, их глазам представилась такая картина: живая и неизрезанная Нина валялась в развратной позе на диване, в почти незастёгнутом халатике, а поодаль, у стола в растерянности топтался сожитель Виктор. Никаких предметов, а также признаков насилия не было и в помине.

— Что это вы тут, — единственное, что нашла сказать Зинаида.

Нина скромно молчала. Виктор, багровый от злости, растерянный и смущённый, однако, четко прояснил ситуацию.

— Посмотрите на эту дуру, — показал он на Нину дрожащим пальцем. — Идиотка. Кто её режет, я, что ли? Ревнует, и вот закатывает спектакли!

Иван, Зинаида и другие спасатели, как люди опытные, мгновенно усекли суть дела. Дружно, как один, в великой досаде они плюнули на Нинкин коврик и удалились.

— • —

Нина и Ксения — соседки по вертикали, то есть, Нинин пол — это потолок Ксении. Судить об их дружбе трудно, хотя общие интересы у них, несомненно, существовали: они выпивали, когда у Нины, когда у Ксении. Сигналы приглашения шли через пол-потолок: Нина, скажем, постучит в пол, Ксения начинает собирать закуску и мыть стаканы.

Выпивали втроём. Редко говорили о чём-то хорошем и приятном для всех. Всё какие-то взаимные претензии, конфликты, не стоящие выеденного яйца, старые обиды, которых вообще, скорее всего, никогда и не было. И вот этот пьяный невразумительный сыр-бор составлял основу их отношений.

Затем Нина непременно начинала ревновать, и начиналось! Она вываливала на Виктора весь набор своих глупостей, которые только приходили ей в голову.

Периодически Виктор терял терпение и объявлял о своём решении уйти от Нины. Возможно, Нина не реагировала бы столь болезненно на его уход как таковой, если бы не одно обстоятельство, глубоко оскорбляющее её чувство. Уходя, Виктор забирал всё своё имущество, вплоть до оконных занавесок! И вот именно тогда, когда он начинал их сдирать, Нина не выдерживала и поднимала страшный и одновременно провокационный вопль, имитируя жертву злодейства.

Подобные спектакли она поставила еще дважды. Этого оказалось достаточно, чтобы открыть глаза соседям на её глупости. Теперь она могла орать сколько угодно и как угодно жалобно, люди спокойно кушали или отдыхали.

Трудно предположить, что её сын станет высоконравственной личностью, вырастая в такой обстановке. Нередко мальчик из-за пьяных оргий не решался войти к себе, но вынужденно скитался во дворе или, съёжившись, сидел возле двери на площадке. Жильцы осуждали Нину, ругали её и жалели Толю.

И что же? Он вырос похожим на свою мать? Ничуть! Анатолий вырос прекрасным человеком, трудолюбивым, честным, внимательным к людям

и особенно к матери. Дай Бог, чтобы многие люди из благополучных семей были похожи на него!

Дочь её Светлана, достигнув совершеннолетия в детдоме, устроилась на хорошую работу и первым делом отыскала свою непутёвую мать, то есть, Нину, которая палец о палец не ударила, чтобы повидаться со своим брошенным ребёнком. Светлана ни разу не упрекнула мать! Она неизменно нежна и заботлива с ней.

И сын, и дочь обожают свою мать.

— • —

Жизнь человека многогранна: всё зависит от места, где расположен наблюдатель. Со своей точки зрения я готовлю пищу, а с точки зрения бабы Мани я произвожу мусор, ибо она вечно торчит в коридоре и видит, что я часто выношу мусорное ведро.

Эта баба Маня — мой суровый бич! Как-то возвратился я со службы навеселе; она увидела меня и была потрясена.

Я хотел рассказать ей всё, как было, но она прервала меня.

— Ну вот, што, Николай, — обычно она называла меня Колей. — Это дело не моё, смотри сам, тебе видней. Моё дело сторона, — но губы она поджала, и я понял, что Тоне всё станет известно беспременно и незамедлительно.

— Ты не смотришь за ребёнком! — среагировала Тоня, вернувшись домой. — Мне баба Маня сказала, что не только Жора, но и Дима лазили в подвал, вниз, туда, где мусор!

— Что особенного, — изо всех сил оправдывался я, — ребёнок любознательный, пороется в мусоре и уйдёт. Он же не в печную трубу залез.

Тоня накаляется от возмущения, пока с трудом понимает, что я шучу.

Зинаида

Зинаида, уже известная своим героическим поведением в эпизоде по спасению Нины, фактически возглавляла коллектив из пяти человек, состоящих в семейном родстве.

Баба Вера, будучи родной сестрой бабе Мане, одновременно приходилась свекровью Зинаиде, являлась матерью Зинаидиного мужа Анатолия и бабушкой Леночки.

Зинаида и Анатолий зарабатывали на жизнь портняжим делом: она по дамской одежде, он — по мужской. Шили хорошо, и заказы не переводи-

лись. Оба выпивали: она преимущественно дома, а он, как всякий портной, и дома, и на работе.

Она пару стаканов опрокинет и лишь порозовеет да душевно разговорится. Он после такой же дозы ползёт из своего ателье, как таракан, отравленный хлорофосом.

Даже из этой краткой характеристики всякому станет ясно, что Анатолий в глазах жены постоянно выглядел виноватым. Человек он очень смирный, а с женой смирный до робости. Вот и на этот раз.

Когда Анатолий вполз в родной подъезд, из всех его ощущений осталось только чувство страха перед возмездием, которое представлялось ему в виде разъярённой Зинаиды. Страх намертво прихватил его подошвы к площадке, и он физически не мог ступить ни на одну ступеньку выше. Он топтался в подъезде, мучился ужасным томлением и не решался. Наконец, он попросил пробегающего мальчика сходить к Ивану, сказать, что дядя Толя заболел.

Иван немедленно бросил свои дела, спустился вниз, опытным глазом оценил состояние Анатолия и стал помогать. Вначале, подобно профессиональному дипломату, он повёл разговор о пустяках и этим несколько успокоил беднягу, а затем мягко, но убедительно сказал то, что должно было сказать в сложившейся трагедийной ситуации:

— Толя, надо идти.

Никто иной не понимал состояние Анатолия так глубоко, как Иван. Ободрённый Анатолий начал восхождение на голгофу.

Когда, однако, до финиша, то есть, до площадки пятого этажа, оставалось рукой подать, мужество вновь его покинуло и страх парализовал конечности. Тогда Иван применил не совсем честный приём, он сказал:

— Может, Зинаиды нет дома?

Эта слабая соломинка надежды немного взбодрила Анатолия; он сделал последнее усилие и ступил на свою площадку.

Дальше пошло автоматом. Зинаида, давно наблюдавшая за ними в дверной глазок, распахнула дверь, мгновенно ухватила мужа за воротник и без особых усилий зашвырнула его туда, в глубину квартиры. Дверь с треском захлопнулась.

Иван остался на площадке, испытывая гадкое чувство: как ни крути, а он, по сути, сдал друга. Хотя, с другой стороны, как иначе? На душе у него было тревожно, и уйти он не решался. Судя по доносившимся из квартиры воинственным воплям Зинаиды и невнятному бормотанию Анатолия, тревожился Иван не напрасно. Анатолий покорно принимал наказание, не сопротивлялся и лишь произносил незначительные, никому не нужные слова оправдания.

Иван стоял у самой двери, жадно и болезненно прислушивался, вздрагивал, корчился и сочувствовал. Ему хотелось пойти туда, объяснить, что Анатолий хороший человек, не так уж много пьёт, да и кто не пьёт в наше время, но не решался, ибо боялся Зинаиду. Иван постоял, покурил и, вздыхая, ушел к себе.

Постепенно за дверью стихло. Наказав мужа и тем самым лишний раз утвердив своё над ним превосходство, Зинаида, где-то даже удовлетворённая, уложила его на кровать, стащила ботинки и заботливо укрыла детским шерстяным одеяльцем. Затем она вышла на балкон, чтобы окончательно успокоиться и подышать свежим воздухом.

Напротив, метрах в пятидесяти, военные строители сооружали кирпичный жилой дом; солдаты двигались по стройке в разных направлениях медленно, как сонные мухи, следуя известному правилу: «солдат спит, а служба идёт».

— Мадам, — неожиданно донёсся до неё чей-то голос.

Она свесилась вниз и увидела солдатика, стоящего прямо под её балконом с лицом, обращённым вверх.

— Что тебе? — спросила Зинаида и поправила волосы. Она не сомневалась, что парень обращается исключительно в связи с её неотразимой привлекательностью.

— Мадам, Вам зять нужен?

Что и говорить, зять Зинаиде нужен, как воздух. Дочь Леночка вполне созрела, и вопрос замужества набирал силу.

— Смотря какой, — Зинаида обладала бесподобной трамвайной реакцией: она никогда не задумывалась для ответа, целиком полагаясь на интуицию. «Смотря какой», — ответ гениальный в своей простоте и дальновидности. Лучшего она бы не придумала и за сто лет напряжения своих мозгов. Ответ содержал всё, что нужно, но в замечательно неопределённой форме. Да, зять нужен, но если ты, голубчик, так себе, тогда и не нужен. Однако, Зинаида встретила достойного противника.

— Очень хороший! — мгновенно прокричал солдатик и тем самым одним махом перевёл разговор в практическую стадию.

— Приходи познакомиться, — благосклонно разрешила Зинаида и добавила с усмешкой, — квартира пятьдесят восемь, а то ещё заблудишься.

Изложение подробностей знакомства молодых людей, то есть, инкубационного брачного периода в их жизни, особого интереса не представляет, так как он общеизвестен, и было всё, что полагается быть, и закончился свадьбой.

Шло время, молодые жили, старые приближались к своему концу.

У бабы Мани случился инсульт, и она, не приходя в сознание, к благу для себя, без осязаемых мучений скончалась.

Как уже говорилось, баба Вера отличалась феноменальным любопытством, в этом соперничать с нею могла лишь баба Маня, увы, ныне покойница. После кончины сестры баба Вера стала терять себя, будто её сбросило с дороги привычной жизни на обочину. В общем, она вроде растерялась. Это состояние возможно объяснить тем, что судьба образовала близость сестёр не только через общую мать, но и через обстоятельства.

Мужа бабы Веры убили на войне, а бабе Мане судьба приговорила остаться девицей. Работала она в пекарне, а в то невероятно тяжкое военное и послевоенное время это означало жизнь. Уж что-что, а хлебушек в семье был всегда. Да и воспитанию Анатолия она отдала не меньше трудов, чем сама его мать Вера. Сёстры могли ворчать одна на другую, даже слегка ссориться по незначительному, но они составляли единое целое, и жизни друг без друга не представляли.

Баба Вера стала терять память, и это постепенно становилось очевидным для окружающих, хотя особого беспокойства они при этом не испытывали.

— Пожилой человек, — полагали они, — что же тут удивительного, с годами у всех память слабеет. Вон, Иван даже закон придумал: «С годами здоровье не улучшается».

Но вот однажды, где-то после обеда, пошла баба Вера, как обычно, в магазин, а домой не вернулась. Вечер прошел, а её нет. Встревоженный Анатолий пошел искать. Посмотрел во дворе, заглянул в ближайшие магазины и аптеку. Обошёл все места возможного нахождения матери в радиусе не менее километра. Как сквозь землю провалилась!

Вернулся домой поздно ночью и не знал, что делать. Утром зашел в милицию: заявил об исчезновении человека и просил поискать.

Узнав о случившемся, соседи всполошились и все, как один, ринулись на поиски. Но, без сомнения, самые энергичные поиски предпринял Иван, едва только слух об исчезновении бабы Веры достиг его ушей.

Прошли три дня. Семья пребывала в тревоге, а поиски результатов не дали. Наконец, одному Богу известно, как вообще это могло случиться, но отыскал бабу Веру именно Иван!

Он приехал на Ярославский железнодорожный вокзал за товаром и обнаружил её, безучастно сидящую на скамье возле камеры хранения. Одежду её покрывали жирные пятна и грязь, лицо измученное и беспокойное. Иван подошёл к ней и заговорил, но она странно посмотрела на него и очевидно не узнала. Иван усадил её в кабину своего грузовика и привёз домой.

Счастливый, с радостной улыбкой на лице, он позвонил Востриковым и ликуя вручил им бабу Веру. Все были рады. Лишь Зинаида не смогла скрыть разочарования при появлении свекрови; лицо её в первый момент выглядело определённо опрокинутым. Про себя она уже распорядилась по-своему освободившейся комнатой, и теперь её планы рухнули.

Но это только на момент. Зинаида быстро опомнилась и принялась, как и все, радостно ахать и даже ласково ругать свекровь за те волнения, которые та доставила всем любящим её людям.

Вскоре, однако, стало ясно, что жизненные токи бабы Веры окончательно пошли наперекосяк. Она никого не узнавала, ела невпопад и очень жадно, то часами молчала, то несла всякую чушь и при этом обращалась к людям, которых в данный момент не было. Перестальтика у неё отказала, вся пища оставалась в ней и действовала как отрава. Она улеглась на кровать, да уж больше и не встала.

На девятый день после похорон её помянули, а на десятый — Зинаида реализовала свой план нового размещения семьи с использованием освободившейся жилплощади.

Роковая привычка

Фёдор Кузьмич Водянкин поселился на четвёртом этаже нашего дома не далее, как две недели назад, но уже через неделю после своего появления в его жизни произошло событие, которое разом, как говорится, без бюрократических проволочек возвело его в число наиболее значительных жильцов дома.

Ключом к пониманию того, что произошло с Водянкиным, может служить нижеследующее философское заключение: «Если человек меняет место жительства, но не избавляется от привычек, приобретённых на старом жилье, быть беде!» Особенно скверно и опасно, если эти привычки обретают вид глубокой несовместимости с новыми жилищными условиями.

Водянкин много лет прожил в низенькой одноэтажной лачуге, каких во множестве существовало на старой улице 1905 года, что возле Ваганьковского кладбища, и имел обыкновение, особенно в летние тёплые дни, в целях экономии времени и для удобства выходить в свой крохотный дворик не через дверь, а шагая непосредственно в окно.

Поэтому не случилось по сути ничего удивительного, когда он спросонок, да ещё после обычного воскресного поддавона, привычно шагнул из окна своей новой квартиры и вместо твёрдого грунта под

ногами неожиданно ощутил себя в состоянии волшебного свободного падения.

Свидетелей события случилось удачно много, так что достоверность его не вызывает сомнений.

Детский врач Валентина и её супруг Виталий, инженер-конструктор, с третьего этажа, неразлучная супружеская чета Шапиро, работники редакционно-издательского цеха, со второго этажа, офицер в отставке Козявкин с первого этажа, ну и, конечно, Иван. Все эти почтенные люди, за исключением Ивана, проживают в квартирах, расположенных по одной вертикали, совпадающей с траекторией падения Водянкина. Они наблюдали пролёт тела в натуре совершенно отчётливо и впоследствии много и везде правдиво рассказывали о виденном.

Каждого из указанных свидетелей событие застало в специфичных бытовых обстоятельствах.

Представители интеллигенции Валентина и Виталий с интересом наблюдали, как их любимое пятилетнее чадо писает с балкона. Вадик часто писал с балкона, и родителям это неизменно доставляло неподдельную радость, потому что под ними жили Анна Савельевна и Борис Моисеевич Шапиро.

Пожилая пара Шапиро вышла на свой балкон, чтобы, напротив, выразить посильный протест против очередного хамства сверху.

Старший лейтенант авиации, проще говоря, аэродромный технарь Козявкин и Иван стояли в палисаднике в пределах той же вертикали, куда они вышли подышать свежим воздухом и поболтать о жизни.

Сдвинутый на почве фанатичной любви к спортивному клубу армии, горилловидный, кряжистый с полированным, очень лысым и мощным черепом, Козявкин крепко держал Ивана за пуговицу и с негодованием живописал ему атмосферу подлых интриг, в которой вынуждены играть армейские футболисты. Выпивший Иван внимательно слушал его и смолил одну папиросу за другой.

В окне квартиры на первом этаже облокотилась на подоконник жена Козявкина Катерина: женщина небольшая, бледноватая, с глазами и норовом инквизитора. Иван сочувствовал Козявкину из-за такой жены.

— Ваня, — Козявкин делает удивлённое лицо, — я не верю, что ты болеешь за «Торпедо», ведь это сплошные хулиганы и грубияны.

Иван не любит армейцев, и вместо ответа выпускает в пасть Козявкину мощный клуб дыма; тот прокашливается и продолжает свою речь миссионера.

— Газеты натравливают население на армию! Куда это годится? Но им достанется! Мне один полковник сказал: звонили в ЦК, там обещали принять меры.

Но даже столь серьёзные аргументы не действуют на Ивана.

— Армейцы мобилизуют в армию лучших футболистов из других клубов! Это как?! — возмущается он.

— Ваня, — заворковал Козявкин, — каждый молодой человек должен пройти воинскую службу.

— Ну так и учили бы их воинскому делу, а не в футбол! — горячится Иван. — Это нечестно, в разгар сезона отнять у противника лучших игроков!

Козявкин открыл было рот для убедительного ответа, да так и остался стоять, остолбенело глядя вверх. Иван тоже вперил очи в поднебесье.

А получилось так, что Водянкин, к счастью для себя, прошелестев четыре этажа по воздуху, упал на дерево, ветви которого мощно спружинили, порядочно загасили скорость и несильно свалили его к ногам ошеломлённых Козявкина и Ивана.

Дальше пошло совершенно противоестественным образом. Против ожидания и противно случившемуся, вместо того, чтобы лежать бездыханным и залитым кровью, Водянкин быстро встал и некоторое время смотрел вверх, как бы оценивая пройденный путь. Он молчал и слегка покачивался в соразмерном обалдении. Затем отряхнул брюки, сделал несколько шагов, как бы вперёд, и исчез в подъезде.

Как всегда, первым пришёл в себя Иван.

— Дык, это как же, он домой… — прохрипел он, и на некоторое время замолчал, соображая и доводя папиросу до пожарного пламени. — Надо его в больницу, — нервно заговорил он.

— Так видишь, он сам того… — неуверенно высказался Козявкин.

— Пошёл, пошёл, видел я таких. Это он вгорячах, может, у него всё ломано-переломано, но идёт вгорячах! Понимаешь? Я на фронте таких навидался! Пойду за ним. Горячка отойдёт, и он готов, кранты, — Иван рванулся за Водянкиным.

В великой тревоге за человека, махая через две ступеньки и мощно дымя папиросой, он моментом достиг площадки четвёртого этажа, но тела не обнаружил. За дверью тихо.

— Всё ясно, — подумал Иван, — мужик вполз в квартиру и отключился.

Дверь оказалась незапертой. Иван вошел и увидел на диване Водянкина, лежащего на спине с закрытыми глазами. На полу стояла опорожнённая бутылка и стакан.

— Ты держись, Фёдор, — участливо проговорил Иван, — водки выпил ты, это правильно, хорошо спасает. Я сейчас скорую вызову. Ты теперь вгорячах, не чувствуешь, а небось всё ломано-переломано. Ты лежи, я быстро.

Водянкин медленно приподнялся с дивана, отверз очи и поднёс к Иванову носу здоровенный кулачище.

— Это у тебя сейчас всё будет ломано-переломано, если не уберёшься отсюда, — пробасил он и снова опрокинулся на диван. После этой яркой речи в комнате прошло освежающее водочное дыхание. Иван еще пытался его урезонить, несколько раз начинал:

— Дык, мол… — но так ничего толкового и не сказал. Он махнул рукой в безнадёжности ситуации и своей бесполезности, да и ушел.

— Ну что? — спросил Козявкин.

— А, — папироса у Ивана вспыхнула пламенем, — оклемается сам.

Он пожал плечами, вытащил из пачки новую, раскурил её, а окурок машинально зашвырнул на балкон к Шапиро.

— • —

В свободное от службы время Козявкин, как уже упоминалось выше, интенсивно жил футбольными делами футбольного клуба ЦСКА. Даже в сновидениях он продолжал размышлять на эту тему.

Как-то вечером, возвращаясь со службы, я повстречал его и обратил внимание на совершенно расстроенный вид: физиономия, обросшая грязной растительностью, цветом напоминала свежего покойника или человека, страдающего болезнью Боткина. Глаза тусклы, как у мороженого судака, а поля зелёной велюровой шляпы скорбно отвисли и почти прикрывали большие петлеобразные уши. Даже брови измяты. Его трясло. Он бросился ко мне и возопил:

— Ты был вчера?

Я опасался, что он припадёт к моей груди и разрыдается, но, к счастью, до этого не дошло. А всё дело в том, что вчера армейская команда проиграла «Торпедо» с разгромным счетом «ноль—три» и этим нанесла смертельную рану своему, безусловно, самому преданному поклоннику, старшему лейтенанту в отставке и моему соседу, Козявкину.

Я попытался посильно успокоить его, но он лишь слабо, в полной безнадёжности, махнул рукой и побрёл по направлению к видневшемуся за поворотом жёлтому пивному киоску, страдая на пути. Там он присоединился к небритым мужикам, стоящим с кружками и воблой в руках, и я издали снова увидел безнадёжный взмах руки.

Футбольные события Козявкин рассматривает исключительно через фильтр ЦСКА.

Если грубит игрок-армеец, то он, Козявкин, начисто отрицает наличие фола или находит ему оправдание; в любом случае, он относится к этому снисходительно и даже добродушно, как к шалостям любимого ребёнка.

Напротив, в действиях противника усматривает сплошное хулиганство, беззаконие, нахальство, происк; судьи все, как один, шпионы и неизменно держат сторону, противную ЦСКА.

— Шестернёв снёс Гершковича! — утверждаю я.

— Да нет, у него ноги длинные, тот и наткнулся, — добродушно объясняет Козявкин.

— По вине защитника ЦСКА Линёва шведы забили нам гол, — настаиваю я.

— Не люблю я этих шведов, — говорит Козявкин.

— • —

Однажды в прекрасное летнее воскресное утро я вышел на балкон и стоял. Тишина и яркое солнце ласково обнимали меня.

Внизу из-за угла нашего дома появилась и двигалась по направлению к подъезду троица. Дядя Вася, лысый пенсионер, и Иван заботливо вели под руки некоего гражданина, мне незнакомого. То, что Иван, хлипкий, до крайности плюгавый, водил, тем не менее, огромный грузовик, прекрасно иллюстрирует наличие прогресса на пути овладения физически слабым человеком окружающей грозной природой.

Упомянутый ведомый под руки гражданин очевидно был пьян в стельку и ни единым движением не стремился доказать обратное; более того, он в процессе движения даже загребал носками землю. Друзья волокли его добросовестно, но тяжко, можно было сказать даже, истово, как волжские бурлаки груженую баржу.

Я собрался и вышел из дома. К этому времени бурлаки успели то ли доставить свою баржу, то есть пьяного гражданина, к месту назначения, то ли свалить недалёко на травку, не знаю. Но только дядя Вася стоял один возле сирени, высокой и красивой, как девушка; он обмахивал свою потную лысину кепкой, а завидев меня, прокричал приветствие.

Дядя Вася сильно хвача: у него даже глаза разъезжались, чего раньше я за ним не замечал. Видно, сильно нарезался.

— Извини, пожалуйста, сосед, — немедленно приступил он, — хочу разрешить с тобой несколько серьёзных вопросов.

Чувствовалось, его переполняли мысли, и он должен их излить, а лучшего собеседника, чем я, ему трудно представить. Он прямо-таки присосался ко мне, как рыба прилипала.

— Вот, ходит молодёжь. Как она одевается? Брюки с бубенцами, как шуты! А девчонки, юбки выше колен! Какой же это вкус?

Очертив таким образом панораму своих мыслей и прежде чем перейти к глубокому анализу заявленных положений, он сфокусировал на меня левый глаз, ожидая ответа. При этом его правый глаз уехал за правое ухо. Необычайное взаимное расположение глаз дяди Васи вначале привело мои мыслительные способности в расстройство, в смысле соображения, но в течение разговора я быстро адаптировался.

В принципе, я согласен с дядей Васей, ибо не одобрял крайностей, и, естественно, кивнул головой, в смысле да. Он это заметил, ободрился и принялся копать вглубь.

— А кто виноват? — возопил он. Убеждённый в неотразимости нанесённого удара, он ядовито ухмыльнулся и взглянул на меня правым глазом, левый же исчез где-то за левым ухом.

Вопрос показался мне не таким уж простым, и я стал после некоторого размышления пространно излагать своё видение ситуации и ответа.

Дядя Вася, однако, меня не слушал. Понятно было, что на мои соображения ему начхать с высокой колокольни, и хотя он не переставал извиняться за настойчивость и что перебивает, но ответил сам же на им же поставленный вопрос.

— Мы, — заорал он, и теперь оба глаза разом заехали за уши, каждый за своё.

Но даже в этом своём необычном виде он уловил моё недоумение и немедленно пояснил.

— Мы, взрослые! — я облегченно вздохнул, так как сообразил, что в этой трактовке часть вины, приходящейся непосредственно на меня, из огромного количества взрослых, бесконечно мала.

— Моды эти. Кто их даёт? — вопрос задан строго и даже сурово, он требовал немедленного ответа.

— Молодёжь? Нет! — он мрачно усмехнулся, как если бы речь шла о тайне, известной ему одному.

— Эти, мордальеры! — выговорил он с трудом и не сразу, но с чувством.

— • —

Сегодня я встретил дядю Васю около стекляшки, куда я зашел в винный отдел из любопытства. Да-да, того самого дядю Васю из второго подъезда нашего дома, который вечно таскает пустые бутылки, одевается весьма неряшливо и даже издаёт запах.

Но в настоящий момент… О, как он великолепен! Чёрный, кокетливо застёгнутый на две пуговицы из трёх пиджак и такие же чёрные брюки дудочками. Физиономия, можно сказать, побрита, а отчетливо продолговатая, подобная узбекской дыне, голова сияет благородным тёмно-желтым, почти слоновым светом. Правой рукой он элегантно держит за ремешок транзистор в коричневом кожаном футляре, а левой опирается на палисадник и оглядывает проходящих мимо людей.

Галстука, правда, на нём не было, но выпущенный из-под пиджака воротничок серой в диагональную полоску рубашки мог украсить любого мужчину, даже и помоложе.

Дядя Вася гулял!

— • —

Помню, один мужчина из наших порядочно выпил, залез на забор в прилегающем сквере, тревожным криком собрал людей и громко, как выстрелом из пушки, испортил воздух.

Его стащили с трибуны и набили морду.

Карающее собрание представляли четыре рабочих хлебокомбината, две старушки с колясками, девушка, два студента-заочника и даже военный в чине лейтенанта. А вот футбольный комментатор Ян Спарре ведёт репортажи в пьяном виде, и ничего!

— • —

Во дворе против третьего подъезда стоят три вазы-цветочницы, плоды самодеятельного труда ваятеля Николая. Они асимметричны, лишены изящества, выполнены из глины, песка с примесью цемента, и напоминают шедевры древнего человека эпохи неолита.

Когда несколько лет назад Николай трудился над ними, это вызывало у меня раздражение.

— Не умеешь, не берись, — думал я, неприязненно поглядывая на его возню.

За хлеб насущный Николай работал сезонно: летом торговал квасом из бочки. Он одноглаз, второй глаз потерял на войне вместе с половиной желудка.

В прошлом году Николай умер от рака желудка, а вазы стоят. Они облупились, стали еще грязнее и нелепее, совсем не напоминают вместилище для цветов, но стоят прочно, как память о человеке, любящем труд и тянущемся к прекрасному.

Теперь вид их не вызывает моего раздражения; напротив, я добром вспоминаю трудолюбивого, как муравей, человека Николая. Он посто-

янно был занят: если не лепил вазу, то мастерил скамейку или, непонятно с какой целью, таскал брёвна, доски.

Это в нашем-то коммунальном дворе!

— • —

В домоуправлении работал один субъект Федя; всё время он ездил на мотороллере с кузовом.

Я не мог понять, то ли он пьян, то ли у него испорчен вестибулярный аппарат. Мотороллер у него вилял, как лишённый управления: наезжал на кирпичи, с треском натыкался на стены, деревья, гулко шмякался в ямы. Мотор то злобно выл на предельных оборотах, то простуженно кашлял и даже впадал в клиническую смерть, и наступала тишина.

Федя немедленно исчезал подобно привидению: он как бы растворялся в мотороллере, и только звякали гайки, шайбы, болты, крышки и прочее содержимое аппарата.

Федя постоянно окружён ребятишками: они стоят часами, зачарованные зрелищем.

— Тебе, Федя, в цирке с мотороллером работать. Имел бы бешеный успех и солидный заработок, — резюмировал я виденное.

Мой Дима с мальчиками всё пытались удариться за ним вдогон, но неизменно натыкались на кузов внезапно заглохнувшего аппарата.

В последний останов мы вдоволь налюбовались и ушли, а Федя всё чинил. Вскоре, однако, послышался треск мотора, и из-за поворота выехал он. Зрелище невыносимое для глаз: все схватились за животы и смеялись так, что болели скулы и слёзы текли по щекам.

Одной рукой Федя придерживал некую деталь, это с левой стороны, другой рукой — деталь с правой стороны, руль прижал мордой, с целью рулить подбородком, а правой ногой он удерживал готовый сорваться кузов мотороллера. При этом вид у Феди был предельно озабоченный и невозмутимый; сигарета пылала, обжигая губы, отчего Федя косоротился.

— • —

Надо же такому случиться!

Находясь на балконе своего пятого этажа, я уронил спинку тахты. Она парила, в смысле падала, вниз подобно птеродактилю, а внизу её ждал угрожающе твёрдый, как чугун, асфальтовый тротуар и остроконечный деревянный штакетник. Где бы спинка ни приземлилась, гибель её казалась неизбежной.

К счастью, в это мгновенье в месте предполагаемого падения проходил Иван Максимович Поливода из второго подъезда, и, надо же случить-

ся такому удачному стечению обстоятельств, спинка упала прямо ему на голову, хорошо спружинила и мягко опустилась совершенно невредимой.

— Максимыч, с меня бутылка, — радостно закричал я с балкона, — сейчас прибегу!

Прыгая через три ступени, я спустился вниз. Максимыч, однако, не отвечал мне и не радовался вместе со мной; лысина его мерцала голубизной, а глаза диковинно смотрели в разные стороны. Больше того, он забыл, зачем шел.

Я заботливо усадил его на скамейку, попросил посидеть минуту, а сам сбегал домой за бутылкой.

Увидев стакан, Максимыч встрепенулся, аккуратно взял его и выпил содержимое; глаза его вернулись в своё первозданное нахождение, а после второго он с чувством произнёс:

— Я шел домой.

Спинка даже не испачкалась при падении.

— • —

У второго подъезда на лавочке сидит пожилая женщина Рая Моисеевна; она тут сидит всегда. У неё болят ноги. Лишь изредка проковыляет с натугой около дома и опять на лавочку. Во всяком случае, выходя из дома, я часто её вижу; она ловит мой взгляд, здоровается, кивая головой и жалобно улыбаясь.

К ней подсела соседка.

— Изменились Вы, как я видела Вас в прошлом году.

— Изменилась? А как? — спросила больная Рая Моисеевна.

— Похудели, как-то хуже стали.

— Да, конечно, — грустно согласилась Рая Моисеевна.

— А в будущем году еще хуже стану, — добавила она.

Помолчали.

Что за люди! Как можно говорить человеку очевидно неприятные ему вещи, зачем? То ли от простоты, то ли от удовольствия. Не знаю. Во всяком случае, совестливый и воспитанный так не поступит.

— • —

Живёт в доме слесарь-водопроводчик, здоровенный мужик. Раза в полтора больше меня; летом в валенках ходит. Милейший человек! Культурный. Жена у него очень милая, избирается в райсовет.

Воевал он старшим лейтенантом, был дважды ранен, но оставался в части, а в третий — потерял сознание. Очнулся в плену. После войны — на Соловки!

Идёт строй.

— Равнение на-право! Не смотреть в глаза честному гражданину Советского Союза!

Иногда, по вечерам, поливая зелень из шланга, держит его на вытянутой руке. А то возьмёт шланг, как ружьё, прицелится в куст и льёт. Опустит, снова прицелится.

— • —

Почти в каждом дворе мужчины играют в домино, то есть, забивают в козла. Наш двор не исключение, но есть у нас и особенность. В одном месте под клёнами и тополями за самодельным деревянным столиком в домино играют женщины.

Поведение и манеры игры женщин решительно отличаются от мужской, в такой же степени, насколько женщина, как таковая, отличается от мужчины.

Женщины ставят костяшку не спеша и не грохая, приставляют аккуратно, следя, чтобы ряд получался ровный. О ходах не спорят, а больше обращают внимание на архитектуру построек, чем на смысл и цели игры. Женщины трезвы, не шумят и не матерятся, не курят.

Рядом на скамейках и между игроками сидят дети, преимущественно девочки; они играют в куклы или что-нибудь рассказывают. Если случается, девочка положит куклу на стол, мешая игрокам, на неё не кричат, а напротив, похвалят платье куклы или дадут совет, как пеленать ребёнка. Видно, что игре женщины предаются не фанатично, а чтобы заняться. Их беседы не имеют никакого отношения к игре: беседы обо всём и прежде всего о домашних проблемах, каковых у женщин множество.

— • —

Сегодня все меня поучают.

— Может быть, у меня вид глуповатый? — спросил я жену.

Тоня внимательно меня оглядела.

— Да нет, сегодня вроде ничего. Впрочем, возможно, я пригляделась, как говорится, свыклась.

— • —

Утром я зашел в домовую кухню. Стойка пуста, и я оглянулся, чтобы узнать, что кушают люди.

— Только кофе и пирожки, — любезно произнёс мужчина на мой безмолвный вопрос. Я поставил свои два кофе и тарелку с двумя пирожками на круглый мраморный одноногий стол и принялся за еду.

Мужчина вытащил из кармана бутылку, умело удалил пробку и вопросительно посмотрел на меня.

— Будете?

— Нет.

Он налил другому и себе по полному стакану; они выпили, запили кофе.

— Неплохо?

— Хорошо еще чаем запивать. Помню, был я в гостях. С женой и тёщей, — добавил он для солидности.

— Вот хозяйка и говорит: — Хотите, я его протрезвлю? — это меня, значит.

Жена говорит: — Хочу.

— Дали мне горячий чай; я выпил и сразу пришел в себя. Потом даже ещё четыре стакана выдул.

Рассказывал он другу, а смотрел почему-то на меня. Тот молча прихлёбывал свой кофе, однако, вклинился.

— А я закусывал парным молоком. Здорово, но где же его возьмёшь-то, парное молоко.

Камнедробилов

Он увидел меня и подошел. У каждого мужчины подспудно содержится тяга к чему-то героическому, к подвигу, и общение с воином, очевидным носителем доблести и славы, уже приятно.

Я, единственный воин, офицер во всём нашем большом о шести домах дворе, в его глазах, безусловно, олицетворял указанный героический дух.

— Общественность попросила меня, — он указал пальцем в сторону этой общественности, куда-то вверх, — попросила меня выступить против наших алкоголиков, заклеймить их позором и навеки предать анафеме, — с гордостью сообщил он.

— Что же ты?

— Я дал согласие, но, думаю, прежде всего этого мне необходимо очистить собственную совесть. Слова тогда проникнут в душу, если они исходят от чистого сердца и не отягчены грехом, — добавил он назидательно.

Меня поразила нравственная глубина его рассуждения.

— По этой причине я не пью уже целых два дня, — продолжал он, — и хотя у меня в серванте хрустальный графин с чесноковкой, моя последняя новинка и гордость, я твёрд в своём намерении. Мой девиз: «дело прежде всего». Вот выступлю, тогда уж…

— Я даже на днях в амбулаторию ходил. Наш врач Камнедробилов Аркадий Авраамович (Крантова Ивана Ивановича, увы, уже нет, преставился он. Царство ему Небесное, золотой был человек) неодобрительно посмотрел на меня и этак прямо сказал, прогрохотал своим басом:

— Не хвалю твоё поведение, Лулеев, надобно себя сдерживать. Все пьют, это верно, и я пью, но ты в себе человека чувствуй и держи своё достоинство. Ты, Лулеев, скажем, выпил семьсот граммов, остановись, проверь себя, может, надо передышку сделать, а так нельзя.

— Огромный и очень представительный мужчина, похлеще Крантова. В наше время такие врачи — один на десять тысяч. Как на него глянешь, так хочется идти на работу. Теперь всё больше девчушки, раздеться перед ними срамно. Какое от них лечение: бюллетень выправишь, и на том спасибо. Трубку приложит к животу, а сама в надушенный платочек дышит! Медицина, эх, горе.

Я выразил полное согласие с его оценкой состояния нашей медицины и одобрил его благое намерение. На том и расстались.

Через несколько дней мы с моим пятилетним Димой возвращались из детского сада. День светлый, снежная крупа сыпет в лицо, застилает глаза. Проходим во двор. Возле подвала стоят два мужика; один покачивается и льёт вниз, в подвал, другой, прикрыв багровую рожу меховым воротником, ждёт приятеля.

Картина мерзкая. Следовало одёрнуть мужика, обругать; в любом случае, нельзя пройти безучастно. Так гласит требование общественности. Но мужики невменяемы и здоровы, как бугаи, и понятно, без боя не сдадутся, а у меня радикулит и маленький Дима, то есть, расклад не в мою пользу. Надо быть идиотом, чтобы ввязаться со своей порядочностью в эту авантюру. К тому же, мужика не остановить, пока не иссякнет, еще окатит.

Мы двинулись дальше, и тут возле стекляшки, нашего магазина, я увидел Лулеева, именно в тот момент, когда он обратился к народу со своей назидательной речью. Он таки сдержал своё обещание провести душеспасительную беседу с алкоголиками.

— Сообщу о себе, чтобы вам стало ясно, кто такой и что мне можно доверять, — услышал я его слова.

— Я отличаюсь выраженной общительностью, — сообщил он, — меня так и тянет поговорить, особенно, когда выпивши. Твёрдо знаю, выпивка зло, не пейте, ребята, но уж если пришлось принять, то имейте в виду, им, трезвым, мы, выпившие, не нравимся: наша манера изложения мыслей, походка и прочее, словом всё, что в нас. Мы многочисленны, но, увы, не организованы, боремся каждый в одиночку. Скажу больше, эта, эта…

Он глубоко задумался, всхлипнул и затем энергично произнёс:

— Организация представляется проблематичной, ввиду наших особенностей, о коих речь пойдёт ниже.

Речь, произносимая с ящиков из-под помидоров, неоднократно прерывалась по причине падения оратора с оных. Однако, он всякий раз вставал, забирался на трибуну, протирал глаза пыльной тряпкой и продолжал.

На собрании присутствовали две дворняги и огромный рыжий кот с зелёными блудливыми глазищами.

Обращался оратор преимущественно к Розке, которая, как ему казалось, смотрела на него ободряюще и с пониманием. По правде сказать, Розке было полностью накласть на его слова: она чувствовала голод и ждала, не перепадёт ли чего пожрать.

Тут же, совсем рядом, находился мужчина; он стоял в раскованной позе, комфортно опершись о высокую заплёванную урну с мусором, и с болью в голосе жаловался пожилому гражданину с носом, повёрнутым в сторону.

— Раньше. Раньше все бутылки закрывали пробками, настоящими пробками! А теперь!? Разве это пробки? Пустышки какие-то.

Он уронил голову на грудь гражданину со свёрнутым на сторону носом и зарыдал горько-горько.

— Разве это пробки? — повторил он с горечью и продолжая лить слёзы.

Лукарак

Повесть

Откровение автора

Прежде чем браться за перо, человеку следует убедиться в наличии у себя таланта и честности по отношению к истине. Посильно чётко уяснить понимание добра и зла. Проверить свою способность представлять плоды трудов в виде сплава иронии с юмором, но непременно с философским проникновением в суть.

Мысли и события излагать ярко и кратко. В основе изображения — правда и только правда. Где голая правда не проходит, допустимо одеть её в юмор или, на худой конец, в фантастику. Это возможно, только, главное, автор ни в коем разе не должен ползать перед читателем на брюхе.

Если человек всех этих качеств в себе не ощущает, так лучше ему заняться иным, более полезным делом.

Одновременно, автор чистосердечно признаётся, что, к своему глубокому сожалению, сам он ещё не обладает вышеперечисленными свойствами достаточной глубины, но… искренно заверяет читателя в наличии твёрдого и постоянного устремления к ним и даёт в связи с этим своё доброе честное слово.

Немного о специфике труда. Автор, будучи инженером, не мог избежать влияния этой благородной профессии, и, естественно, заложил в свой труд известный принцип безотходности производства, лежащий в основе любого проекта.

Он ничего не выбрасывал в мусоропровод, но, закончив труд и перепечатав рукопись, из картонных обложек черновика кроил стельки для обуви, а тонкие листы пускал на растопку печи в деревне в холодную погоду.

Здесь нет ни одного реального лица, но мысли и события взяты с натуры. Если кто и узнает себя, то по той лишь причине, что подобным образом мыслят и поступают многие люди.

Дневник

Роясь в кладовой в поисках бинокля, я наткнулся на старую коричневую дерматиновую сумку с испорченной застёжкой-молнией; мне всегда казалось, что в ней ничего существенного нет. Сумке не менее четверти века, и я всё собирался выкинуть её вместе с остальным хламом, скопившимся в кладовой за многие годы, да как-то не удосужилось.

Я взялся за сумку, чтобы отшвырнуть её в сторону и добраться до большого бежевого портфеля, где, скорее всего, находился искомый бинокль, как ощутил, что сумка не пуста.

Обламывая ногти, с трудом я сдёрнул молнию, запустил руку внутрь и извлёк на свет блокнот серого цвета, в обложке из грубого скверного картона и с бумагой чрезвычайно низкого качества. Теперь таких блокнотов вида послевоенного нищего времени в магазинах не увидишь.

На передней обложке надпись чётким чертёжным шрифтом фиолетовыми чернилами от руки.

«Дневник инженера Северова Николая Васильевича, Западная Сибирь, посёлок Лукарак, январь 1952 года».

Последней обложки и нескольких листов не хватало, и куда они подевались, я вспомнить не мог за давностью лет. Я полистал его.

Сохранившиеся листы убористо, с двух сторон покрыты хорошо читаемым почерком, перьевой ручкой, частью фиолетовыми, частью чёрными чернилами, а несколько последних сохранившихся листов — карандашом.

Дневник содержал в себе описание первого года моего пребывания в посёлке Лукарак, куда я попал после окончания Белорусского политехнического института.

Моё внимание привлекли карандашные пометки, сделанные почерком очевидно не моим, и судя по виду, женским. В этих пометках некая женщина выражала своё возмущение содержанием дневника, как раз в тех местах, где автор нелицеприятно отзывался о хозяйке дома, где он жил и столовался.

«Ты так обидел этим, Коля», «Как пал ты низко, Коля» и прочее в этом роде.

Ясное дело, Шурочка, дочка хозяйки, прочитала дневник без разрешения, и это скверно. Но ясно также, что она имела виды на Николая, и уже одно это оправдывает Шурочкино любопытство, как, впрочем, любую женщину в подобной ситуации, когда все средства хороши.

Хотя, как ни крути, как ни оправдывай, но читать чужие дневники без позволения автора не делает чести никому, даже женщине.

Впрочем, всё это рассуждения. Главное, что заинтересовало меня в дневнике, это образ мыслей, взгляды на события, на характер отношений людей того отдалённого от нас на полвека времени. Они сильно, прямо-таки разительно отличались от нынешних.

Впрочем, и неудивительно: записи в дневнике сделаны в стране с тоталитарным, коммунистическим, советским режимом.

Сегодня этот режим, рухнув в начале девяностых годов, более не существует, и люди снова, как и тысячи лет прежде, живут в обществе с частной собственностью и рыночной экономикой.

Скачок, каких не знает история! Однако, предоставляю слово дневнику.

Институтская вольница

Мы были молоды, энергия нас переполняла. Её хватало на всё: и на бессонные ночи подготовки к экзаменам, и на дружеские выпивки, и на танцы, и на встречи с девушками.

Веселью, шуткам, остротам не виделось конца, а сама жизнь казалась бесконечной.

При этом духовно мы были готовы к серьёзному труду, а глубокая ответственность к жизни являлась нашим стержнем.

Пищу мы воспринимали по-первобытному, исключительно как источник существования, и ценили каждый кусок хлеба; мерилом еды служила сытость. Если перед студентом стояла дилемма между пирожным и тарелкой картошки с хлебом, он без колебания выбирал последнее. Тут для него и вопроса-то не было, а виделось очевидным, как дважды два четыре.

Впрочем, о каком пирожном я говорю. Это так, для гипотетического сравнения.

Мы могли пропустить нелюбимые лекции, но никому и в голову не приходило завалить экзамен или зачёт и этим лишиться стипендии, которая являлась не карманными деньгами, а средством жизнеобеспечения. Получение диплома было также целью жизни, ибо он давал гарантию её устройства.

Мы, наше поколение, жило в крайней ситуации, когда всякое понятие обретало свой истинный первобытный смысл, а всякая шелуха сброшена нуждой и войной. Оголённым стало понятие хлеба как жизни: съесть, чтобы не умереть.

В работе люди видели не только творческое эстетическое занятие, но прежде всего кормилицу и источник жизни в самом первобытном её понимании.

Возможно, такое восприятие относилось не ко всем, но уж совершенно точно к огромной, подавляющей части населения страны. Люди стояли перед гранью, жить или исчезнуть. Гарантия жизни съёжилась до четырёхсот граммов тарелки жиденького супа в день да холодного жилища, где возможно согреться лишь под одеялом, и то с трудом, ибо постоянно голодное тело излучало мало тепла.

Вот этим первобытным ощущением жизни и отличалось наше военное и первое послевоенное поколение от последующих поколений.

Государственность в то время замыкалась на личной неограниченной власти вождя; это был апогей авторитаризма на уровне идолопоклонничества. Победа в войне и гигантская гора трупов россиян вознесли его на высшую ступень государственного положения и превратили в идола.

Поколение прошло массированную обработку пропагандой и одновременно жестокими карами за любое инакомыслие.

— • —

Жил я в студенческом общежитии, где нравы не отличались изысканностью и замечательно сохранили простоту человека эпохи неолита.

Мой ближайший друг Лёша Берёзкин в особенности не церемонился. Сидя на моей койке за игрой в шахматы, он курил, а пепел стряхивал в мои калоши.

Юра Грищенко, староста комнаты, часами стоял у выхода и наблюдал за порядком и, прежде всего, чтобы игроки в шахматы не кидали окурки на пол.

Ради истины, следует заметить, что должность старосты Юра захватил без утверждения коллективом; его не выбирали. Тем не менее, эти нелёгкие обязанности он отстаивал с упорством, а исполнял с наслаждением.

Так вот, по моей просьбе Юра запретил Берёзкину бросать окурки в мои калоши. Тот, однако, бешено доказывал, что бросать окурки на пол это одно, и действительно нельзя, а в калоши совсем другое и вполне допустимо.

— • —

Мы периодически занимались в лаборатории кафедры «Детали машин». Это большая комната, сплошь заваленная редукторами, шесте-

рёнками, большими и малыми коленчатыми валами, карбюраторами, цепными передачами и прочим заводским хламом.

В начале занятия мы обычно стояли за столами в ожидании разрешения сесть. При этом главной заботой студентов было не пропустить момента и успеть подложить под зад впереди стоящему коллеге какую-нибудь деталь, по возможности угловатую и ребристую.

«Садитесь», — разрешал преподаватель.

Каждый студент стремительно подкладывал свою деталь и так же стремительно садился, обычно забывая, что и ему сидящий позади дружески настроенный коллега успел подложить своё.

Шло честное соревнование в быстроте и ловкости: кому-то было больно, но весело всем. За возможность занять место в заднем, безопасном ряду проходила яростная борьба.

Ещё любили незаметно положить в портфель кирпич или деталь, по возможности тяжелые. Один студент пять дней таскал длинный толстый болт с двумя массивными гайками и одной контргайкой, аккуратно уложенные на дне портфеля.

«Вроде ничего нет, а тяжело», — удивлялся он.

Отцы-преподаватели

Итак, пять лет учебы позади, и нас собрали для торжественного вручения дипломов.

Вот они, наши «гуру» в президиуме. Самыми заметными нашими учителями виделись доценты Пекелис, Руцкий, Минковский и, безусловно, Добкин.

Добкин в своё время закончил Парижскую политехническую школу. Манера чтения лекций самая вздорная, фигура курьёзная в виде ромба, в котором задница — диагональ, мощная лохматая голова с мясистым лицом и короткие, в жизни не знавшие утюга брюки.

Громоздкий, как котельная установка, он объяснял свой предмет слегка надтреснутым, но громким голосом, отвернувшись от аудитории и глядя куда-то за доску в угол. Машинально брал в руку мел, разминал его, думая о чём-то своём, так же машинально потирал своей мелованной ладонью физиономию, и в конце лекции становился совершенно чумазым, подобным маляру.

Ходил, думал, диктовал формулу.

Кое-кто на его лекциях занимался своими делами, но те, кто его внимательно слушали, не обращали внимания на эти его физиче-

ские упражнения и его внешний вид, ибо были захвачены гигантским интеллектом эрудита и таким разительным пренебрежением ко всему, что не составляло родного ему предмета котельных установок.

Повторюсь, слушали его далеко не все, предмет не шибко-то увлекательный, но уважали Добкина все без исключения. Он был выполнен из высококачественного интеллектуального материала, и среди преподавателей стоял особняком, как редкий диковинный драгоценный камень среди хороших, но понятных и обыкновенных.

Руцкий поражал четкостью изложения сути своего предмета «Теория электромашин». Минковский — признанный производственный авторитет, а Пекелис привлекал эрудицией и удивительной сбалансированностью лекции со своей внешней привлекательностью.

Это был элегантный, модно и красиво одетый человек.

Вот уж чего не скажешь о доценте Нусольде. Этот хлюпик изнемогал на экзаменах, боялся отойти даже по нужде, опасаясь, что студенты воспользуются шпаргалками. Им хоть бы что, а он, бедняга, ляжет на стол своим тощим животом, дышит, как загнанный морской конёк, только глаза таращит. Мучается, но терпит.

Да и предмет-то он читал мутный: «Теоретические основы теплотехники», гаже не придумаешь.

— Это Нусольд, что ли? — разглядел его в президиуме Берёзкин, и долго усмехался.

А вот замдекана факультета старший преподаватель Речин Семён Семёнович, собственной персоной. В своем докладе он порядочно оживил аудиторию эпизодами запылённой давности, когда он охотился за лентяями, пропускающими лекции, причем себя он обрисовал в мягких тонах, хотя в натуре был истинно цербером.

Он даже с кровати стаскивал спящих студентов, отлавливая их в общежитии.

Лена Кубан, как у неё водится, опоздала на собрание, но зато она стала единственной, кого тронули до слёз слова Речина о его доброте к студентам.

Декан едва не уморил студентов докладом о достижениях факультета.

Минковский отметил, что за годы учёбы лица бывших студентов стали осмысленнее.

Откровенно говоря, всё это нас не очень интересовало, и мой друг Марат остался верен себе, сказав:

— Что мы пришли сюда слушать этот трёп? — и прочее.

Словом, так разворчался, что Берёзкин даже призвал его к порядку, двинув локтем в бок. Хотя можно понять и Марата: истинное собрание у нас запланировано на вечер в кафе.

Уважаемый Добкин тоже произнёс несколько напутственных слов.

Как и при чтении лекции, он в своей манере набрал несколько мелков и, хотя ясно, что его речь не нуждалась в иллюстрациях на доске, машинально размял их и к всеобщему удовольствию вытер ладонью лицо. Затем смущённо поклонился и под гром аплодисментов плюхнулся на своё место в президиуме, чумазый до предела.

— Вести себя не может, поросёнок, — презрительно пробурчал и даже плевался Марат.

По правде сказать, угодить Марату не так-то просто: он обладал громадным самомнением, и если уж определит своё видение, то это основательно и надолго. Его отношение к доценту Добкину, впрочем, мы не разделяли. Непосредственность Добкина и некоторая его беззащитность нас трогали; мы его почти любили.

Стали выкликать на букву «С», и вот я держу в руках свои заветные тёмно-синие корочки с вытесненным государственным гербом и словом «Диплом».

— • —

Я знал, что направлен в распоряжение треста «Западносибирское золото» в город Новосибирск и был доволен этим: работа в таком крупном индустриальном центре меня вполне устраивала.

По своей неопытности я не придал значения слову «в распоряжение», и напрасно.

Путешествие в Швейцарию

Я прибыл в Новосибирск и представился начальнику отдела кадров треста «Западносибирское золото». Он не колеблясь сообщил место моей работы: Кийская электростанция, посёлок Лукарак Тисульского района Кемеровской области.

— Красота, вторая Швейцария. Вам повезло, — ему приятно было порадовать меня этим известием.

Хотя назначение оказалось для меня неожиданным, я отнёсся к нему спокойно, ибо жаждал работы как таковой и готовился ехать для этого куда угодно.

— • —

Если сойти с поезда на станции Тяжин Транссибирской железнодорожной магистрали, да проехать автобусом километров шестьдесят на юг до районного центра Тисуль, то это уже начало горного Алтая, страны прекрасной тайги с чистейшими реками, бесчисленными ручьями, кедром, сосной, пихтой, берёзой и дубом.

Алтайские горы не грозят открыто, как, скажем, Памир или Кавказ. Они лишены грандиозных пиков, бездонных пропастей, ужасных ущелий; напротив, рельеф их мягок и довольно удобен для путника.

Мягкость эта, однако, относительна: бескрайняя тайга с редким поселением, жестокие морозы зимой, обилие зверей, в том числе таких, как волк и медведь, представляют несомненную опасность для любого путешественника.

К тому же, существует ещё одна неприятная реальность, усложняющая ситуацию.

В краю добывают золото, и в рудниках работают заключённые. Немало их шастает по тайге, и встреча с ними значительно более нежелательна и неприятна, чем любые опасности, связанные с природой, в том числе и со зверями.

Понятно, что ничего здесь сказанного молодой специалист инженер Северов Николай Васильевич ещё не знал; всё это ему предстояло.

Сойдя с поезда, я обнаружил тут же, на привокзальной площади, автобус, направляющийся в Тисуль. Автобус — слишком важно сказано: просто грузовик с уложенными поперёк кузова толстыми досками для сидения и даже не укрытый тентом.

Указанное ёкающее своими железками транспортное сооружение радушно приняло меня на борт и догромыхало по скверной пыльной дороге до Тисули.

Я слез и огляделся.

Собственно Тисуль для меня лишь промежуточный пункт до конечного Лукарака.

Посёлок Тисуль небольшой, составленный из бревенчатых изб различного размера; весь набор государственных служб также размещался в бревенчатых домах, отличающихся лишь большей величиной да казённым обликом, то есть, вывесками.

Еще в поезде добрые люди проинформировали меня, что далее Тисули никакие рейсовые пассажирские автобусы не ходят, а в глубину, в том числе и в Лукарак, возможно добираться только попутками. С целью навести справки, а заодно и перекусить, я отправился в «Чайную», которая красовалась сразу за поворотом на улицу.

Стояла августовская жара, в чайной очень душно. В небольшой двухоконной обеденной комнате густо пахло щами; по грязным с остатками пищи столикам ползали мухи; еще больше их гудело в воздухе.

В комнате находилось несколько крепких, загорелых, запылённых мужчин, сильно напоминающих людей физического труда под солнцем, возможно, грузчиков, лесорубов или шоферов. Перед ними стаканы с водкой, лица багровые.

Я взял плов и, попросив разрешения, подсел к ним на свободный стул.

Они прервали свой разговор и принялись меня разглядывать. Затем сидящий напротив коренастый с крупными чертами лица мужчина, по виду очень сильный, спросил:

— Куда едешь, сынок? — голос его звучал сипло.

— В Лукарак, — вежливо ответил я, — да вот не знаю, как добраться, автобусы-то не ходят.

— Ну, это дело простое, — охотно откликнулся он, не торопясь отхлебнул из стакана, с очевидным удовольствием подержал водку во рту, проглотил, и продолжал.

— В Лукарак не знаю, а вот на шахту точно идёт грузовик, вон он за деревом, — он повёл пальцем в окно, указывая на орсовскую контору, во дворе которой стоял с раскрытыми бортами пятитонный «ЗиС-5».

— А с шахты постоянно ходят машины в Лукарак, уголь возят. Оттуда уедешь наверняка.

Я поблагодарил.

Его начинала забавлять моя вежливость.

— Какое же дело? Больно скарб у тебя жидок, — он ухмыльнулся и кивнул на мой потёртый фибровый чемоданчик.

— Направили после института инженером на Лукаракскую электростанцию.

— А-а-а, это хорошо, — он уважительно посмотрел на меня. — Женатый?

— Не успел, рано мне ещё.

Он рассмеялся.

— Ничего не рано. Как женилка выросла, так и пора.

Помолчал, снова ухмыльнулся и произнёс нечто для меня непонятное:

— Вот Бугаеву радости будет.

Я не знал, кто такой Бугаев и почему его обрадует мой приезд, но расспрашивать не стал.

Мужчина, отмахиваясь от мух, всё отхлёбывал из стакана: видно, сильно его глотка пересохла.

Я доел свой плов, попрощался и вышел. Водителя в кабине не было, но вот минут через двадцать трое подтащили электромотор с насосом, несколько автомобильных баллонов, загрузили их в кузов и с лязгом закрыли борта.

Один из них оказался шофёром; получив его согласие, я забрался в кабину, и мы помчались.

Шахта, это подразделение электростанции, один из цехов, снабжающий её топливом; меня тут же, как родного, усадили в кабину самосвала. Мы подъехали к бункеру, который немедленно обрушил в нашу машину порцию угля, отчего та присела, а затем с тяжким рёвом рванулась вперёд.

От шахты до Лукарака ровно пятнадцать километров. Не успели мы с шофёром поговорить, как уже притормозили у цели. Я вылез, подошел к краю обрыва и глянул.

Передо мной, а точнее подо мной, предстал вид, затмевающий разум.

Гигантский каньон, на дне которого, метрах в трёхстах внизу гремела горная река, широкая и мощная. Видно, как стремительное течение бурлило возле огромных валунов, хаотично брошенных природой в разных местах реки.

Крутые, а чаще отвесные склоны берега обрывались к реке; они состояли из сурового вида скал, поросших соснами, и представляли собой картину, полную дикой красоты. Дальше, за рекой и противоположным берегом, простирался тёмно-зелёный океан тайги.

Захваченный чудом матушки-природы, я не сразу разглядел на правом берегу реки, на вершине которого я стоял, на узкой полосе у самой воды человеческое обитание: посёлок и корпуса электростанции с типовой трубой из красного кирпича.

— Вот она, моя земля обетованная! — растроганно произнёс я. — Не предполагал я, что ты такая шикарная. Куда до тебя всемирно известной Швейцарии. Здесь мне трудиться и жить. Посмотрим, так ли ты красива внутри, как сверху.

Я расчувствовался и долго смотрел на панораму вновь обретаемого мира. Затем поднял свой потёртый фибровый чемоданчик и пошагал по дороге, полого, серпантином ниспадающей в Лукарак.

Первый экзамен

Изготовление чертежей конденсатора было первым заданием Рубина, когда я, молодой инженер, прибыл в Лукарак и представился главному инженеру электростанции.

Рубин усадил меня на стул, выспросил, кто я, откуда, словом, приветливо поговорил.

Помолчал, посмотрел на меня своими мудрыми выпуклыми карими восточными глазами и произнёс:

— Для начала сделайте чертежи вон того аппарата, — он показал пальцем в окно. — Скоро будем монтировать турбоагрегат «АЕГ», а у нас нет его чертежа.

Вначале я не понял, зачем нужен чертёж уже изготовленного конденсатора: не собирается же Рубин заказать еще один подобный. Позже до меня дошло — да он просто таким образом проверяет меня, мой инженерный уровень знаний.

Для меня порученная работа не составляла проблемы, ибо я прошёл двухгодичную школу доцента Зубарева на танковом факультете Сталинградского механического института.

Четыре семестра указанный доцент за скверные чертежи ел студентов с кашей; раз за разом он возвращал их работы с оценкой «два».

Несчастные студенты простаивали над чертёжной доской днями и ночами, худели, и от бессилия перед Зубаревым наливались злобой, но работали и работали.

Этот кошмар продолжался до тех пор, пока студент не превращался в аса чертёжного дела, а его чертежи — в сверкающее произведение искусства.

Кто знает доцента Зубарева, тот подтвердит мои слова.

Конденсатор представлял собой огромный бочкообразный, пузатый, вроде бегемота, теплообменник с множеством переходов цилиндрических поверхностей в конусные, иных криволинейных переходов, фланцев, штуцеров, теплообменных труб и прочего, представляющих особую сложность для чертёжника.

Четыре дня я с мерительным инструментом лазал по аппарату и возле него: мерил и определял резьбу штуцеров, диаметры труб теплообменника, мерил и считал сотни иных размеров, словом, трудился в поте лица.

Наконец, я уселся за чертёжную доску и нанёс на ватман всё увиденное и замеренное.

Мудрый и коварный Рубин был убеждён, что я ни в коем разе не осилю задание хоть как-то удовлетворительно, и он предвкушал сцену моего позора во время отчета о проделанной работе.

Когда же через десять дней я положил ему на стол лист ватмана с чертежами его любимого конденсатора, он не поверил своим глазам, и у него отвалилась челюсть.

Перед ним лежал безукоризненно профессионально выполненный, исчерпывающий в инженерном отношении, и даже с шиком, чертёж. Чертёж, образно говоря, сверкал.

Покорённый Рубин повесил ватман на стену в своём кабинете, как картину Айвазовского.

Отбросив излишнюю скромность, могу сказать, что мой чертёж украсил его кабинет, а самому Рубину придал значительность.

Шурочка

Поначалу я и мой тёзка Коля Долинин, начальник линии электропередачи «ЛЭП», поселились у одинокой вдовы Анны Алексеевны. Оба мы холостяки и, по Лукаракским понятиям, женихи высшего разряда.

Хозяйка наша тут же, не откладывая, отправила письмо с сообщением об этом чрезвычайном событии в город Мариинск своей единственной дочери Шурочке, работающей товароведом в промтоварном магазине и состоящей замужем за техником Мариинского лесопильного комбината Зарубиным Валерием Ивановичем.

Дело в том, что в это историческое время Шурочка состояла в статусе соломенной вдовы, ибо вышеназванный Зарубин В. И. вот уже полгода сидел в тюрьме за драку с тяжёлыми последствиями для потерпевшей стороны; короче, случилась поножовщина.

Драка произошла по пьяному делу и не являлась случайным или редким эпизодом в жизни гражданина Зарубина. Он натурально отличался задиристым нравом, пил по-черному, не гнушался дружбой с местными ворами и бандитами, и если сам не воровал, то хулиганил вовсю.

Постепенно сама Шурочка и её мама Анна Алексеевна осознали всю глубину беды, в какую они влетели, но не знали способа избавления от своего вампира.

Сам вампир, однако, их мнения не разделял. Более того, при свидании он проинформировал их, что если Шурка станет вести себя не так, как подобает благонравной жене добропорядочного арестанта, то он, выйдя на волю, наступит ей на одну ногу, крепко возьмётся за другую и раздерёт её, Шурку, на две части, равные или неравные, это как получит-

Коля Долинин с девушками

ся. Во всяком случае, производить замеры штангенциркулем он не будет.

Последнее замечание, безусловно, свидетельствовало о наличии у Зарубина чувства примитивного юмора, а также среднетехнического образования.

Несчастная мать решила, что сам Бог послал ей спасение в лице одного из постояльцев; глубоко безразлично, кого из них, оба хороши. Они ей казались людьми степенными, самостоятельными и поведения хорошего, а если и выпивали, то нечасто, и ни в какое сравнение с зятем-вампиром не шли.

Этот подлец им в подмётки не годился, хотя, с другой стороны, мужчина он видный, на что в своё время её Шурочка и клюнула.

Шура, хорошенькая молодая женщина, небольшого роста, и хотя хрупкой или изящной её не назовёшь, у неё были несколько полноватые

ноги, но всё же она выглядела стройной и соблазнительной, а большие синие глаза ещё усиливали её привлекательность и делали совершенно сиреной-соблазнительницей.

По этой причине не содержалось ничего удивительного в том, что появление однажды Шурочки в доме было воспринято постояльцами, как молодыми кобелями, каковыми они по сути и являлись в свободное от работы время, то есть, положительно.

Ради справедливости, необходимо, однако, добавить, что сказанное ни в коей мере не мешало им добросовестно трудиться на электростанции и принимать активное участие в общественной жизни.

Первые несколько дней по приезде Шурочка просто крутилась по дому и во дворе, стараясь лишь почаще попадать в поле зрения ребят с тем, чтобы они могли получить максимум информации о всех её прелестях, и чтобы ни единый штрих её женского арсенала не остался незамеченным.

Напоследок она провела неубиенный коронный приём: она отошла в сторону, но так, чтобы её видели, кокетливо присела и сексуально пописала.

Дело сделано, оставалось ждать результата, который вскоре и последовал.

Как-то вечером в доме остались Шурочка и Коля Долинин. Слово за слово, одно зажигательнее другого, затем ритуальный комплекс общеизвестного ухаживания.

Она призналась, что Коля ей нравится.

— У тебя хорошая походка, — сказала она.

«Вот уж, никогда не думал об этом», — сказал себе Николай, увлекая её на кровать.

И вот они лежат на кровати, и Николай желает получить то, ради чего весь этот сыр-бор.

Шурочка повторила, да, он ей нравится, но о том, чего он хочет, не может быть и речи.

— Вот если ты пообещаешь жениться на мне, тогда я не стану возражать и дам тебе всё, — прошептала она ему на ухо, помолчала и добавила, — я люблю это больше всего на свете.

Он стал уговаривать её, и вконец измучился, но тут ему в голову пришла удачная мысль.

— Послушай, — шепнул он, — ну как же мы с тобой будем, если не попробовали, годимся ли мы друг для друга?

Шурочка некоторое время лежала, молчала, соображала, как ей быть. Довод Николая прозвучал весьма убедительно.

— Ну хорошо, — сказала она, — только чуть-чуть.

— Естественно, — согласился Николай, — ровно на половину.

Шурочку этот вариант, по всей видимости, вполне устраивал; ей самой надоело тянуть время.

После этого сепаратного и равно тайного соглашения дело пошло на лад, и они прекратили его только когда постучали в дверь. Пришла мать.

Лукарак

В посёлке менее пятисот жителей, но это в полном смысле государство в миниатюре. Оно содержит малый, но самый необходимый набор общественных и властных атрибутов, и в этой малости даже легче понять здешние отношения, ибо суть их становится более рельефной и простота не приводит к вульгарному и бессмысленному упрощению.

Аборигены в той или иной степени причастны к службе на электростанции, да, собственно, и сам Лукарак возник вместе с этим производством, как его инфраструктура. Приехали энергетики, стали вырабатывать электроэнергию, основали посёлок.

Ещё были врачи, учителя, воспитатели детского сада, кулинары, работники торговли: всех понемногу, по одному, двум человекам. Служил даже руководитель любительского театрального кружка, спившийся профессиональный актёр.

Золото в Мариинской тайге обнаружили еще в восемнадцатом веке; мыли по речкам, рыли в жилах, где порою находили изрядные самородки. Однако, со временем золото наиболее доступное, как говорят, лежащее сверху, иссякло, и теперь по речкам громыхали драги, в местах залегания жил возникли шахтные рудники.

Кийская электростанция вырабатывает энергию, и по высоковольтным линиям ЛЭП транспортирует её к золотодобывающим рудникам и на драги. Рудников всего три: Центральный, Берикульский и Комсомольский.

Драга — это сложное машинное сооружение. Ковши скоблят дно речки и высыпают донную породу на корытообразное вибрационное устройство. В корытах порода промывается, и золото предстаёт перед человеком в обнажённом виде.

Рудники и драги насыщены различными механизмами, которые питаются электричеством. Вот его-то и доставляет Лукарак.

— • —

Параллельно воздушной канатной дороге, чуть левее, если смотреть от реки, круто убегает вверх, прижавшись к откосу, длиннейшая деревянная лестница со ступенями из толстых досок и с перилами, отполированными за годы своего существования тысячами мозолистых рабочих ладоней до угольно эбонитового блеска. Окончание лестницы еле заметно невооружённым глазом где-то там, у неба.

Колоссальный откос, густо усеянный тёмными и рельефными обломками скал, обрывно падает до самого берега Кии и образует угрюмую и впечатляющую картину.

На береговой полосе шириной не более сотни метров разместилась электростанция со всеми цехами, теплотрассой, баней и мощной кирпичной трубой.

От станции единственной улицей протянулся посёлок, состоящий из бревенчатых домов обычного для Сибири вида.

Кия, река ширины изрядной, истекала из Алтайских гор и быстро мчалась постоянно, а в конце весны, в период таяния снега в горах, становилась бешеной. Вода в реке очень холодная, и рыбы в ней водилось в изобилии.

Хорошая река Кия!

Чуть ли не от крыльца «Чайной» начинался наплавной деревянный мост, который всякий год река в период своего буйства размётывала и уносила. Вскоре, однако, на том же месте неизменно возникал новый мост, такой же деревянный и тоже временный.

Строили его быстро всем миром безотказно; никто не ссылался на занятость, а напротив, трудились охотно и инициативно. Мост нужен всем.

Своё полунатуральное хозяйство аборигены вели на обоих берегах; коров, кроликов, поросят и прочих домашних животных содержали на правом берегу, а корм для них добывали на левом.

На левый берег ходили косить траву, гоняли животных на выпас, там же охотились, собирали ягоду, кедровые орехи: в общем, жильё и работа на правом берегу, а тайга на левом. Левый берег служил и житницей, и здравницей, и охотничьими угодьями, и он занимал в жизни людей такое важное место, что без него существование не мыслилось.

Вот почему потеря моста воспринималась как большая общая беда, и на её ликвидацию наваливались всем миром, без разногласий и препирательств.

Администрации станции хватало разума понимать это и без разговоров и бюрократии обеспечивать ударную стройку необходимым

инструментом и пиломатериалом. Больше того, местному профсоюзному боссу Солдатову предписывалось мобилизовать общественность на активное участие в стройке.

Солдатов сильно хромал: правая нога у него не сгибалась в колене после ранения на войне, и он ходил с палкой. Он серьёзно воспринимал себя как единственного защитника прав рабочих от произвола администрации.

Северова, молодого специалиста-инженера, он, безусловно, причислял к администрации и видел в нём пусть не законченного, но уж во всяком случае потенциального пожирателя рабочего человека.

По этой причине при общении со мной он придавал своему взгляду вид пронзительный, так сказать, видящий насквозь.

Вместе с тем, ни на какие серьёзные конфликты с начальством Солдатов не шел, ибо знал своё истинное место и отлично понимал, кто является настоящим хозяином на электростанции и за её ближайшими пределами. Он в определённом смысле был артистом и неплохо играл свою роль лидера рабочего класса в Лукаракском масштабе, с выгодой для себя.

Работники электростанции дорожили своим местом, ведь иной работы здесь не существовало. Обязанности свои они знали прочно и исполняли их добросовестно.

ДИС

В августе 1951 года я приступил к своей трудовой деятельности в должности дежурного инженера электростанции (ДИС).

ДИС в течение своей смены в полной мере несёт ответственность за всю работу электростанции. Он, в связи с этим, обязан знать всё: топливоподачу, котельные установки, турбины, электрогенераторы и автоматику.

Но, прежде всего, он отвечает за бесперебойную подачу электричества на золотоносные рудники и драги, ради чего, собственно, и существует станция.

Самая нудная смена ночная, особенно, если процесс проходит в норме. Ходишь себе по цехам, поглядываешь на агрегаты, примечаешь показания приборов; все дела. Даже спать хочется.

Работа в ночную смену имеет и свои прелести: подойдёшь к турбине, этакому огромному гиппопотаму, выделяющему тепло и нутряной гул, прислонишься к её гладкому тёплому боку, и отчетливо слышишь сип-

лый свист пронизывающего её урагана перегретого пара высокого давления, принуждающего её крутиться и делать энергию.

В ночные смены я и курить пристрастился.

Миша Брюханов, бригадир слесарей-ремонтников, всё меня шутливо провоцировал.

Молодой мужчина в расцвете сил, очень крепкого сложения и с благородной горбинкой носа, истинно сибиряк, он был мне необычайно симпатичен. Я, между прочим, заметил, что типичная фигура коренного сибиряка, это не какой-то гигант, а человек среднего роста при очень крепком сложении, как говорят, кряжистый.

Так вот, Миша Брюханов сказал:

— Николай Васильевич, Вам надо курить.

— Зачем, Миша? — мне нравилось беседовать с Брюхановым. Он умён и излучает доброжелательность; я охотно подхватывал его травлю и подначивание.

— Ну как же без курева. Вот женитесь, станете с молодой женой миловаться, а в перерывах что? Только и дело, что курить.

— Миша, но я не женат.

— Правильно, но готовиться к этому надо?

Шутки шутками, но, чтобы отбить сон, я стал курить. Часа в два ночи начинаешь обход станции. Народу мало; только дежурная смена: дежурный по электрощиту управления, машинисты турбин, рабочие в котельной и на топливоподаче.

Функционально станцию можно разделить на две части, на одной производят пар, на другой, с помощью этого пара, электричество. Обе части одинаково важны и вместе являют единую технологию получения электричества.

Однако, условия труда людей, занятых в процессе, разительно различаются.

На станции четыре котла с ручной подачей угля, то есть, как и на паровозе, уголь в топку подают лопатой. Только у котла не одна, а две дверцы, да топочное хайло прожористее.

И вот, представьте себе, стоят перед каждым котлом на отполированной металлической площадке, обливаясь потом, два кочегара. Широкой ковшовой лопатой они кидают уголь в топку, ворошат его длинной тяжелой кочергой (шорошкой), а сами бдительно посматривают на манометр, ибо их главная задача — поддерживать давление пара в котле, хоть тресни, но держи установленные шестнадцать атмосфер.

Из топок несёт вулканическим жаром, пить хочется нестерпимо, и кочегары то и дело прикладываются к ведру с кружкой. Пьют много, но

так как в этом аду вода в теле не задерживается, то за смену пустеют два ведра. Бывает, и их не хватает, а ведь в каждом ведре двенадцать литров, в двух двадцать четыре, и весь этот объём — всего за шесть часов смены.

От угольной пыли, изнуряющей потной жары, обдающих со спины морозных зимних сквозняков и непомерно большого потребления воды, вид у кочегаров болезненный, кожа нечистая и воспалённая.

Под котлами зольное помещение; оно быстро, по мере сгорания угля, наполняется золой, и, естественно, нуждается в периодической очистке. Ждать, когда зола остынет сама собой, нельзя, некуда станет сбрасывать её из топок.

Кочегар надевает респиратор, этакий намордник с фильтром, спускается в зольное помещение и поливает золу водой из шланга, гасит.

Горячая зола взрывается! Клубы пара и газов, густая зольная пыль, букет самых скверных запахов, гейзеры горячей воды мгновенно заполняют помещение. Затем постепенно этот кошмар утихает, кочегар грузит мокрую, умиротворённую , остывшую золу в тачку и вывозит за территорию станцию в отвал.

И так всю смену, шесть часов.

— • —

Но не дай Бог, если пойдёт порода.

Порода, это негорючие куски земли или камни, попавшие в котельную топку вместе с углём. Мало того, что она не горит, но еще и топку забивает, а попадает она в шахте, ибо по виду сильно напоминает уголь, и шахтёры не вдруг её замечают.

Это уж такая беда, какую словами выразить затруднительно. Если породы много, необходимо очистить от неё топки и набросать истинный уголь, а за это время котлы остывают и давление пара в них падает: пятнадцать, четырнадцать, тринадцать… атмосфер, и чем ниже давление, тем больше надо пара турбинам, чтобы выработать то же количество электричества.

Труд кочегаров самый тяжелый на станции. Глядя на них, становится не по себе, как-то совестно перед ними, стыдно за относительно комфортный труд других. Помочь им можно лишь одним способом — ввести механическую подачу топлива.

Под тяжелым впечатлением от увиденного, я пришел к Рубину, выложил перед ним адскую зарисовку и сказал:

— Надо подумать, как механизировать топку.

— Уже подумали, — ответил главный инженер, — топка будет переделана в цепную, механическую, проект разрабатывается.

— А золоудаление? — не отставал я. Он промолчал.

— Золоудаление можно выполнить гидравлическое. Это несложно, — предложил я.

— Ну что же, подумайте.

Я понял, что в проекте его нет. Интересно, я обратил внимание на то, что начальник станции, главный инженер, да и начальники цехов стараются не заходить в котельную, совестятся, во всяком случае, я их там не видел.

Но странное дело, сами рабочие котельного цеха не рассматривали так обострённо тяжесть и условия своего труда и не жаловались.

Иногда я подходил котлу, брал лопату и начинал работать. Получалось неумело. Кочегары шутили над моей неловкостью и показывали, как следует забрасывать уголь.

— Надо, чтобы уголь срывался с лопаты веером и ложился тонким слоем, покрывая как можно большую поверхность колосников, — объясняли они. — Тогда уголь займётся гореть сразу весь и быстро отдаст своё тепло. Если же он упадёт кучкой, то верхний слой загорится, а нижний когда еще. К тому же, рядом окажутся места, лишённые топлива, прогары, и это тоже плохо.

Во время работы кочегары не выглядели измученными, убитыми своим трудом. Они знали, что без кочегара станция остановится. Поэтому труд свой уважали, работали с достоинством, а тяжесть труда была даже предметом их гордости.

Рабочие на топливоподаче тоже трудятся изрядно: они подхватывают с канатной подвесной дороги тяжёлые, груженые углём вагонетки, заталкивают их по монорельсу в котельную и опрокидывают содержимое на площадки перед котлами. Опустевшие вагонетки цепляют за канат, и они ползут вверх за новой порцией угля.

Таким образом, вагонетки пребывают в вечном движении: вниз полная, вверх пустая.

Работа нелёгкая, но ни в какое сравнение с тяжестью труда кочегара не идёт.

— • —

На фоне труда рабочих котельной, дежурные по электрощиту и машинисты турбин выглядят аристократами. Сиди себе да поглядывай на приборы и записывай их показания в журнал; захотелось спать, можно походить, размяться. Тепло, не дует.

Я постоял у турбины, потолковал с машинистом Пахомовым: хороший, честный, правильный мужик. Я его уважаю, правда, он немного пресноватый, не скажет ничего неожиданного, нового, интересного.

А вот Евдокия Ивановна, дежурная по электрощиту, дама иного сорта.

Небольшого росточка, худенькая, скуластая, сибирячка, и вроде русская, но истинную её национальность определить совершенно невозможно и непосильно даже для академика-этнолога. Она, безусловно, есть продукт смешения всех рас и народов, в течение многих поколений прокочевавших и осевших в этом сибирском месте.

Она глубоко верующий человек, и поговорить с ней одно удовольствие. Пожалуй, можно сказать, что она к тому же немного суеверна, но не по-дремучему, а в разумных пределах, если можно об этом предмете выразиться таким образом.

Впрочем, кто из людей не суеверен?

Евдокия Ивановна женщина одинокая, но имела дочку трёх лет от главного инженера Рубина; в этом ни у кого в Лукараке сомнений не было. Рубина она уважала безмерно, и совершенно открыто чрезвычайно гордилась тем, что имеет ребёнка от такого умного и значительного человека.

Люди удивлялись их дружбе: она вдвое ниже его. Их нередко видели на стадионе в тёмное время стоящими рядом, даже слитно, как телеграфный столб с подпоркой.

— Как нагрузка? — спросил я вместо приветствия. Мог бы и не спрашивать: величину нагрузки я прекрасно видел по фидерным ваттметрам и в ответе не нуждался.

— Я вижу, Комсомольский рудник явно перебирает свою норму киловатт на шестьсот.

— У них подключили драгу. Та ест, будь здоров! — Евдокия звёзд с неба не хватала, но щитовая она опытная и предельно дисциплинированная. Мы помолчали.

— Скажите, Евдокия Николаевна, а есть ли в посёлке верующие люди? — в моём вопросе обнажилось моё вульгарно-атеистическое воспитание и непонимание того, что на свете вообще могут быть религиозные люди.

— Конечно, есть.

— Где же они молятся? Церкви-то нет.

Она насупилась и замолчала.

— А на что им церковь, разве нельзя молиться без церкви? — всё же ответила она.

— Священника нет, как же без него? — продолжал наседать я.

— Не нужен священник. Молятся Богу, а не священнику.

За её словами ощущалась убеждённость человека, для которого затронутая тема вовсе не праздная.

— Удивительно, — засомневался я.

— Что ж в этом удивительного? — она серьёзно посмотрела на меня непонятливого. — Как же не верить, если в жизни случается такое, чего не объяснишь.

Уходящие «ТУДА»

В другой раз я заметил Евдокии Ивановне, что в посёлке нет кладбища.

— Где же вы хороните, — спросил я, — возите, что ли, куда?

— Мы не хороним, — спокойно ответила она, и, увидев, как в удивлении и недоверии у меня широко открылись глаза, добавила, — у нас не умирают. У нас уходят.

Она произнесла это так спокойно, будто смысл сказанного был совершенно нормальным, и даже обыкновенным, и уж тем более не содержал в себе ничего удивительного.

— Как это не умирают, — поразился я, — что же, у вас люди бессмертные? — я не только не скрыл откровенной иронии, но напротив, выразил её в полной мере.

— Да так, почувствовал человек, услышал зов, собрался и ушел.

— Куда же?

— Вот этого нам знать не дано, да и не нужно это нам знать, — почти сурово произнесла она.

Я взял себя в руки.

— Что же они берут с собой? — этим, вроде бы, неуместным вопросом я попытался направить разговор в понятный мне смысл.

— Ничего. Собираются, как обычно в тайгу.

Во мне густо смешались недоверие и любопытство. Я продолжал расспрашивать, норовя в целях уяснения затащить её в подробности, но она замкнулась, и, судя по всему, уже жалела, что сказала слишком много. Я для неё человек чужой, пришлый, которому не понять и не должно знать того, что касается только коренных здешних людей.

Она, очевидно, корила себя за излишнюю откровенность и очень взволновалась.

Сообразив, что большего мне не добиться, и своими упрямыми расспросами я лишь отталкиваю её и теряю атмосферу доверительности, которая так необходима для прояснения дела, я прекратил свой допрос и перевёл разговор на обыденные, понятные всем предметы.

Она тут же и успокоилась.

Но не успокоился я. Мысли мои, подхлёстываемые сильнейшим любопытством, будоражили моё воображение и неслись в том же направлении. Я чувствовал, что всё сказанное ею не пустой разговор, не дремучее суеверие аборигена, а нечто значительно большее и реальное по сути.

Но что?

Про себя я твёрдо решил исследовать дело и посильно приоткрыть тайну.

«Не следует торопиться, — решил я, — но использовать всякий благоприятный момент и осторожно подводить разговор к теме, возможно, она пойдёт дальше».

Принятые мною тактика и терпение принесли свой результат. Однажды, в одну из ночных смен, а именно ночные смены чрезвычайно способствовали беседам и откровению, она сказала:

— Вон, Бахолдин, я вижу, собрался, совсем плох. Давно не показывается из дома.

— Что ж, все так уходят? — осторожно, вроде бы с безразличием в голосе, спросил я.

— Все, только разными путями. Одни идут светлой тропой «Туда», а иных влекут дорогой возмездия, ибо, как сказано, «Им воздастся», — убеждённо и даже торжественно произнесла она. Ей, очевидно, нравилось сознавать, что она может произносить такие значительные слова.

Сказанное было, несомненно, значительным для неё, мне же оно, хотя и содержало новую информацию, но не добавило понимания.

Верный своей тактике, я не стал спрашивать, «куда они уходят», она повторила бы своё «нам это неведомо», а аккуратно задал более осторожный вопрос:

— А случалось, что возвращались?

Она задумалась.

— Рассказывали, было такое, давно. Вернулся один человек, Сафрон Курдяев, да только замолчал он, онемел. Сказывают, здоров он стал, как бык: в тайгу ещё долго ходил за зверем, и притом необыкновенно удачливо. Удачливей его рядом человека не было. Потом снова ушёл и уже насовсем.

— Отчего же уходят, как это?

— Да как, когда у человека плоть износится, ну, то есть пришла в негодность, в ветхость, вон, как наш дымосос, — она повела пальцем в сторону утильного помещения, куда выбрасывали станционные агрегаты, не поддающиеся ремонту.

— Да как учуют предел, что уж нечем держаться на земле, так и уходят, но вот что интересно, собираются, словно на охоту. По привычке, что ли, — добавила она задумчиво, вроде от себя.

— Как же туда пройти, — продолжал я свою линию.

— Да как, — она по-детски отвела глаза в сторону, боясь взглянуть на собеседника, когда говоришь неправду.

— Ну хорошо, как они находят дорогу: они что, знают её заранее? И как их туда пускают?

— Вот это полное понимание своей ветхости и непригодности к природной жизни и есть пропуск.

— Как же знают, куда идти? — дотошно продолжаю я.

— Они не знают, просто идут и попадают куда надо.

«Непременно попробую проследить», — подумал я, но она угадала.

— И не пытайся, ничего у тебя не выйдет, — в своих беседах мы давно перешли на «ты».

— Пробовали, что ли?

Она усмехнулась, а затем сказала очень серьёзно:

— Ты вот что, Николай Васильевич, — она упорно так обращалась ко мне из уважительности и служебной субординации, — не ходи. Были у нас такие, давно это, так сгинули они без следа, а люди хорошие, вроде тебя.

Вообще говорила Евдокия Ивановна на эту тему неизменно неохотно, и больше намёками, и исключительно из уважения к инженеру Северову, и когда вовсе отмалчиваться ей казалось неприличным, неучтивым.

Но даже незначительных её намёков оказалось достаточным, чтобы ещё сильнее разжечь моё любопытство, а также хоть по чуть-чуть, но приоткрывать завесу над тайной.

«Уходят в разные места», «Одни туда, другие в иные», «Вон Бахолдин, я вижу, собрался».

Словом, несмотря на серьёзное предупреждение Евдокии Ивановны, моё намерение стало решительным и неудержимым.

Я принялся посильно скрытно наблюдать за домом старика Бахолдина, и в один из поздних вечеров заметил, что свет в его окнах задержался дольше обычного. Стоя на пригорке, удобном для наблюдения, я

отчетливо увидел в бинокль, что старик не спеша, основательно собирается к выходу.

Сердце моё замерло. Неужели это долго ожидаемый мною момент?

Бахолдин вышел, одетый в свою лучшую, если не сказать праздничную, добротную одежду аборигена, и не спеша, опираясь о дубовую палку, двинулся по улице к краю посёлка. Огромная сияющая полная луна освещала окрестность и создавала великолепную видимость.

Меня удивила лёгкость, с какой он шел.

Я выждал, прикинул расстояние, необходимое для того, чтобы не потерять его из вида, но при этом соблюсти свою скрытность. Ни в коем разе мне нельзя было обнаружить себя перед стариком.

Мы вышли из посёлка и двинулись по тропе, хорошо известной мне по многочисленным прогулкам в тайге. Если не свернём и дальше, то старик наверняка шёл к пещере. Через пару километров я убедился, что прав в своём предположении, и скоро мы окажемся у пещеры.

Но вот я с беспокойством заметил, что силуэт Бахолдина стал как-то теряться, и это несмотря на то, что расстояние между нами сохранялось достаточным, чтобы видеть его, как и раньше, совершенно отчетливо. К тому же, прямой видимости ничто не мешало.

Бахолдин стал расплываться и терять очертания. Я невольно прибавил шаг, чтобы не потерять зрительную связь с ним. Не потерять его, пусть изменяющегося и искажённого. Вот он остановился возле отвесной скалы и внезапно исчез вовсе.

Я было рванулся к нему, забыв про осторожность, но притормозил, поражённый видом неба. Оно стало резко багроветь, будто освещённое огнём. Ярко вспыхнули звёзды, приблизились, укрупнились в галактики, и в этом устрашающем разум виде обрушились вниз, на землю, на меня.

Я потерял сознание и обнаружил себя сидящим на пеньке старого дуба без каких-либо ощутимых повреждений.

Вот она, та отвесная скала, возле которой я наблюдал Бахолдина в последний раз. Так же ярко сияла полная луна. Всё видно, как днём, всё, кроме старика Бахолдина.

Его вообще больше никто не видел.

О своём происшествии Евдокии Ивановне я не сказал ни слова, даже намёком.

Прошло несколько недель, и следующим объектом моих наблюдений стал Пименов.

По слухам, он давно находился в безнадёжно гибельном состоянии и только мучился. «Как же он уйдёт-то?» — думал я.

Заведующая столовой (слева) и официантка Лидочка

Однако пошел. Я угадал момент и двинулся следом. Снова было полнолуние, так же луна освещала местность до подробностей, но вид мне представился иной.

Опираясь на клюку, как на костыль, весь перегнувшись и скособочившись, Пименов двигался, а вернее сказать, тащился по тропе, но по иной, чем та, по которой уходил Бахолдин.

Тропа всё круче шла вверх, и я отчётливо наблюдал жалкую фигуру Пименова. Я видел, что он уже вынужден цепляться за малейшие неровности и двигаться почти на четвереньках.

Я обратил внимание на непонятно большую протяжённость пройденного пути и нескончаемую крутизну тропы. Местность здесь, конечно, гористая и сложная для похода, но не до такой же степени, какой она предстала передо мной теперь. Самый сложный путь, какой здесь существует, мы с Пименовым прошли уже не менее трёх раз. Я, молодой человек, порядком подустал, как же он-то.

Я различал кровь на камнях и слышал ужасные стоны ползущего старика.

Сам Пименов в своём состоянии и сложности пути идти никак не мог. Однако шел. Им, несомненно, двигала некая мощная, беспощадная

сила, забравшаяся в его нутро. Она не облегчала его усилий, не смягчала страданий, но лишь безжалостно понукала его двигаться в указанном ею направлении.

Он обрывал ногти, цеплялся подбородком за выступающие камни и полз.

«По времени и расстоянию, мы дошли бы уж до Эвереста, — подумалось мне. — Я изрядно устал, как же тот-то».

Но вот жалкая стонущая фигура впереди достигла небольшой площадки возле бугристой, замшелой, гранитной, отвесной стены. Куда же его понесёт теперь?

Однако, это был тупик. Пименов лежал на площадке, как на жертвенном алтаре, и стонал.

Предельно осторожно я двинулся к нему. Когда до площадки оставалось не более десятка шагов, там что-то взметнулось волной, заискрилось, завибрировало в конвульсиях… и исчезло.

Я постоял в нерешительности и попытке осознать увиденное, а затем подошёл.

Площадка пуста. Я внимательно осмотрел место. Никого и ничего, ровным счётом ничего, ни малейшего следа или какой ямы или прохода, куда бы мог уйти Пименов, не было. Но не было и самого Пименова.

— • —

Мягко и могуче гудели турбоагрегаты, создавая атмосферу добротности, уверенности бытия и доверительности. Беседы наши продолжались в том же ключе: я допытывался, а Евдокия Ивановна старательно норовила уйти от понятных и определённых ответов, но порою увлекалась, да и проговаривалась.

И так, от беседы к беседе, сквозь её закрытость, просвечивалась суть дела. Я же эту суть жадно схватывал, переваривал и составлял картину проникновения в явление.

Получалось, что люди, «уходящие туда», попадают в некое пространство, заполненное призрачным сиреневым светом.

Они выбирают себе место, засыпают и переходят в мир духовной жизни, общаясь с приятными им людьми. Сновидения обретают самостоятельность и составляют эту их особую жизнь. Видения сна образуют духовный мир и общение в нём. Они видят где-то внизу останки природных людей, которые они сбрасывают, чтобы обрести иное содержание в виде духовной свободы. Сбрасывают, как выбрасывают старую изношенную одежду.

Не обладая объёмом, величиной, цветом, присущим природному существованию, они живут, общаются и ощущают, находясь в некоей субстанции, неведомой людям; пребывают мыслями.

Они представляют из себя теперь в этом новом обличье сгустки некоей энергии, полные смысла, на порядки более глубокого и организованного, чем разум природного человека во плоти.

Истина здесь проявляется в очищенном виде без земной суеты, сутолоки и неразберихи.

Сути указанного существования природному человеку не понять, как невозможно для него понять механизм и смысл Вселенной. Прежде всего, по той причине, что это разные миры, которые соединены единственно анизотропным переходом: от природного человека в духовный мир, но не обратно!

— • —

Иное дело происходит с людьми, «уходящими по тропе возмездия». Именно по этой тропе двигался несчастный Пименов.

Участь их ужасна. Они засыпают и видят бесконечно длящийся сон в ярких картинках, показывающих злодеяния человека. Одна картинка за другой, обличающей чередой, повторяют и повторяют его зло.

— Довольно! — кричит человек. — Я не хочу этого видеть! — но сны повторяются с неумолимой и беспощадной последовательностью. И человек корчится от невозможности видеть свою собственную мерзость, ужаса неотвратимости повторения и отсутствия надежды на конец.

— Это не я! — орёт он. — Этого не может быть, чтобы я.

Это продолжается до тех пор, пока он не скажет:

— Да, это я, — да и то, если от чистого сердца.

— • —

На станцию навалилась беда. Увы, именно в моё дежурство.

Пошла порода.

Я в котельной, с тревогой наблюдаю, как падает давление в котлах. Сам сделать ничего не могу, да моя помощь и не нужна. Кочегары знают своё дело лучше меня и делают всё необходимое в этой ситуации. Они работают, как бешеные, сбрасывают негорючую породу и загружают настоящий уголь, а на это требуется время. Время, которого катастрофически нет.

Молодые специалисты и Петр Константинович Витт

Турбины теряют мощность, слабеют, требуют всё больше пара, которого уже не хватает, и чтобы выиграть время и спасти положение, я отключаю наименее значимый, по моим соображениям, потребитель, фидер.

Снова бегу в котельный цех, оцениваю обстановку. Здесь работы еще много, положение отчаянное.

Отключаю еще несколько фидеров, питающих рудники. Это уже совсем плохо.

В рудниках постоянно работают электронасосы; они откачивают воду, и если рудник отключен, как в данном случае, его немедленно начинает заливать. И это под землёй, и там работают люди.

Золотокопы и так трудятся по щиколотку в воде; им для профилактики, от простуды, перед сменой и после смены выдают по стакану спирта.

А тут заливает вовсе.

Начинаются телефонные звонки, естественно, ко мне, дежурному инженеру, кому же ещё. Он за всё в ответе. Звонки не праздные, а тревожные и по самой острой необходимости.

Первые звонки вежливо уведомляют, что у них в руднике почему-то нет энергии. Затем спрашивают, что случилось, а дальше я выслушиваю сплошную матерщину.

Я как могу успокаиваю их, но у меня для этого нет времени, я кидаю трубку и убегаю в котельную: там сейчас центр жизни.

Но вот кочегары совершили, кажется, почти невозможное: они выправили положение.

Свежий уголь ревёт могучим пламенем, давление в котлах быстро поднимается, я облегчённо вздыхаю и спешу наверх, чтобы включить фидера: всего их одиннадцать.

Теперь можно и послушать, что о нас говорят наши подземные коллеги. Теперь они беззлобно интересуются, что же это у нас произошло по технике. Я с удовольствием и уже не торопясь, подробно рассказываю, заодно договариваюсь о совместной рыбалке.

Золотокопы, выпив свой стакан спирта, роют своё золотишко.

На этот раз пронесло, но, увы, случаются в нашей практике подсадки на «ноль». Редко, но случаются. На «ноль» означает, что порода пошла навалом, котлы заглохли, рудники обесточены.

Это самое страшное, это катастрофа.

О подсадке на «ноль» сообщают в трест «Западносибирское золото», начальству, как о чрезвычайном происшествии; соответственно, далее следуют приказы о наказании виновных.

Вот почему дежурный инженер, даже если смена проходит нормально, постоянно носит в себе подспудную тревогу, беспокойство о качестве поступающего угля.

Я нет-нет, да влезу во время дежурства на верхний уровень канатной дороги, к бункеру, поглядеть на завозимый уголёк. Для этого мне, правда, необходимо протопать по деревянной лестнице, то есть, отсчитать ножками тысячу триста сорок две ступени. А как вознесёшься, так надо еще посидеть, чтобы оклематься до нормального дыхания.

Мне нравится подниматься по лестнице: этот путь меня успокаивает, создаёт прекрасную атмосферу для размышления, словом, настраивает на философский лад. О многом успеваешь подумать.

Изобретатель

Стояла прекрасная погода, утро не сулило, казалось, ничего неожиданного, и тем более скверного, хотелось думать о добром и вечном, когда я заметил, что к главному инженеру проследовал некий человек с мешком, который издавал сильное громыхание.

Незнакомец пробыл у Рубина не менее двадцати минут, после чего тот, раскрасневшийся и слегка вспотевший, заглянул в мою келью и попросил зайти незамедлительно.

Я вынужденно отложил в сторону увлекательный труд о химической обработке циркуляционной воды для охлаждения турбинных конденсаторов с целью уменьшения накипи на их теплообменных трубах, и явился перед начальником.

— Николай Васильевич, поговори с товарищем изобретателем, — Рубин указал на своего посетителя, который выжидающе и несколько недоверчиво смотрел на меня: мужчина средних лет, по виду мастеровой.

— Северов специалист-энергетик, он разберётся. Я назначаю его экспертом по Вашему изобретению, — представил меня Рубин.

Я пригласил изобретателя к себе. Он нагнулся, поднял свой грязный, сильно громыхающий мешок и последовал за мной.

«Хорош начальник, — подумал я, — сам умучился с этим изобретателем, так теперь перевалил его на меня». Но в определённой степени мне самому было любопытно, что придумал этот абориген.

Моя келья, хоть и не шикарная, но тёплая и со стульями. Я усадил изобретателя и попросил рассказать о своём деле.

Он бережно поставил мешок на пол у своих ног; при этом в мешке звякнуло и даже громыхнуло.

— Я изобрёл вечный двигатель, — скромно сказал он.

За время моего обучения в Политехническом институте учёные профессора крепко вбили мне в голову истину, что «вечных двигателей не существует и не может существовать, как понятий, противоречащих законам природы и, в частности, законам физики. То есть, вечных двигателей не может быть по определению».

А тут передо мной сидит живой, во плоти изобретатель с вечным двигателем в грязном мешке.

Момент, прямо скажем, эпохальный.

Я внимательно посмотрел на него. Он усмехнулся как-то устало и сказал:

— Не верите?

— Ближе к делу, — ушел я от ответа и приготовился слушать. Следует отдать мне должное, слушать я умел не только внимательно, но и доверительно.

Человек приступил к рассказу. Он стал объяснять принцип действия своего аппарата, и мне тут же стало ясно, речь идёт об одном из вариантов «вечного двигателя», приведенных в школьном учебнике по физике. Сам ли он придумал аппарат или просто стянул из учебника, трудно сказать.

Теперь моя задача, с одной стороны, упрощалась, ибо я знал суть «изобретения», а с другой стороны, усложнялась: мне предстояло отделаться от изобретателя чем скорее, тем лучше и, к тому же, не обидеть его.

Да и неизвестно, нормален ли абориген, а то запросто шарахнет своим мешком по голове эксперта: судя по грохоту и звякам, мешок увесистый, безусловно, убоистый. Словом, следует проявить осторожность.

— Покажите, — предложил я, — как говорится, лучше один раз посмотреть, чем сто раз послушать.

Я хотел настроить его на весёлый лад.

Он молча нагнулся над мешком, развязал верёвку и с усилием извлёк солидное сооружение, состоящее из рамы формы неправильного треугольника, роликов, колёсиков и грузиков, соединённых верёвочной передачей несколько перепутанного вида. Всё это он поставил на стол.

— Запускайте! — скомандовал я официальным тоном эксперта.

— Не могу запустить, — произнёс изобретатель, — в аппарате не хватает важной детали, которую я не могу изготовить сам.

— Что же это за деталь?

Он стал горячо и путано объяснять. Я слушал его, не перебивая, и думал: «Ясное дело, с этой деталью или без неё, несерьёзно всё это, но как сказать ему, увлечённому своей идеей?»

Я довольно долго молчал. Он нервно ждал моего слова.

— Не будет Ваш аппарат работать, — сказал я напрямик.

— Почему? — вскинулся он. — Будет!

— Нет, не будет, — медленно повторил я. Мне было ясно, что полемику со мной он станет строить на этой несуществующей детали, и решил не предоставлять ему такой возможности.

— Вы знаете, как сложна современная техника, — начал я медленно и глядя ему в глаза; он же свой взгляд отводил.

— Чтобы изобрести новое, необходимо знать, что уже есть, создано на планете, и надо знать законы природы.

Я сделал паузу.

— Вы не знаете ни того, ни другого.

«Не моё дело вести дипломатию, — решил я, — да еще угождать неучу, а возможно и шизофренику».

— Смотрите, — я взялся за один из роликов, входящих в цепь задуманного движения, — вот колесо с грузом, и оно, конечно, если его поместить в верхнюю точку аппарата, даст импульс движению вниз. Цепь начнёт двигаться, но… только до крайнего нижнего положения колеса, ибо на подъём необходимо затратить работу, большую той, какая получена при его спуске. Механизм остановится.

— Усекли? — перешёл я на студенческий сленг. — И эта Ваша недоделанная деталь ничего не изменит, — добавил я в завершение.

— Я на Вас буду жаловаться! — стал багроветь изобретатель.

— За что? — изумился я. — За то, что я Вас просветил, так сказать, бескорыстно поделился умом-разумом?

Он молча сгрёб со стола аппарат, дрожащими руками с грохотом затолкал его в мешок и ушёл, так сильно хлопнув дверью, что звякнули стёкла в окне. Я облегчённо вздохнул.

Дверь, она ничего, она выдержит. Вот ведь, шастает по организациям такой изобретатель, по сути, шарлатан, в надежде подкормиться у простаков, и ему не скажи против, соглашайся. Как же, народный самородок. И вот, главный инженер электростанции, умный человек и прекрасный специалист, слушает его и даже побаивается.

Минут через десять меня снова вызывает Рубин.

— Николай Васильевич, что Вы с ним сделали, он ушел и обещал жаловаться.

— Ничего, Илья Моисеевич, совершенно ничего такого. Я всего лишь популярно объяснил ему, что аппарат неработоспособен, а он обиделся.

— Николай Васильевич, разве Вы не могли с ним как-то без обиды? В районе будут недовольны, может, какой самородок.

— Так аппарат-то, Илья Моисеевич, не фурычит, что ж я тут могу поделать?

Рубин помолчал, посмотрел на меня своими выпуклыми восточными мудрыми глазами и произнёс:

— Вы же сделали прекрасные чертежи конденсатора, — он показал в окно в сторону огромного, как железнодорожная цистерна, аппарата, мирно покоившегося на деревянных, испачканных мазутом чурбаках в углу станционного двора.

Он всегда произносил эти слова, когда хотел упрекнуть меня за нежелание выполнить его указания.

Странная лестница

Нечто необычное случилось со мной в середине сентября в моё вечернее дежурство.

Как обычно, я принял от своего коллеги Кузнецова Валерия станцию со всеми потрохами во вполне рабочем состоянии: рутинная процедура сдачи и приёмки дежурства.

Кузнецов удалился на заслуженный отдых, а я приступил к исполнению обязанностей дежурного инженера, вечернего хозяина электростанции, и то и другое в шестнадцать ноль—ноль.

Посидев у щита электроуправления и убедившись, что золотокопы и драги ведут себя пристойно, то есть берут столько энергии, сколько им положено, я прошел в котельный цех. То, что я обнаружил там, вызвало моё беспокойство.

Старший кочегар озабоченно сообщил мне, что уголь сильно засорён породой, и кочегары работают на пределе. Действительно, те усиленно чистили топки и роптали, а стрелки манометров дрожали у цифры, означающей низкое давление. Вскоре, однако, положение выправилось.

Я еще не успел забыть недавний аврал по такой же причине, и решил подняться к угольному бункеру, чтобы оценить обстановку.

Лестница, по которой я начал своё восхождение, этакое длиннющее, из тысячи трёхсот сорока двух ступеней, деревянное сооружение,

обеспечивало трудный, но кратчайший подъём с берега Кии, то есть, от электростанции, на добрых полкилометра вверх, до края каньона, где у железного бункера заканчивался угольный маршрут из шахты до Лукарака.

К бункеру возможно добраться и по шоссейной дороге, но она проходит далеко в обход и растянулась километров на семь.

Итак, я поднимался по лестнице, преодолевая ступеньку за ступенькой, и, наконец, остановился, чтобы перевести дух. Я закурил и огляделся.

Солнце почти скрылось за горным хребтом, но было ещё довольно светло, и всё вокруг замечательно просматривалось.

Внизу лежал Лукарак. Из котельной трубы деловито валил столб полупрозрачного дыма, у чайной расположилась группа людей, а ещё ниже стремительно бежала Кия.

Я стоял и смотрел вниз, когда ощутил некие изменения в своём сознании. Мне вдруг показалось, что я отделяюсь от всего того, чем был окружён там, внизу, освобождаюсь от тревог, забот и прочих суетных спутников природного существования человека. Всё это уже не давило на меня: оно осталось там и меня, вроде, теперь не касалось.

Я стоял наверху над ними, умиротворённый и с необычайной ясностью мышления.

Вместе с тем, изменения эти были не настолько сильными, чтобы полностью освободить меня от влияния недавнего общения с людьми, с их запутанными отношениями; память прочно хранила их голоса, выражение лиц, поступки, и слова, слова, слова… каждого со своей правдой.

Память ещё подавляла мою способность оценки истинного характера их отношений; мешала отделить справедливое от своекорыстного, благородное от вероломного, ложь от правды.

Тем не менее, я, кажется, верно ухватил связь своих новых ощущений с подъёмом по лестнице, и продолжал шагать вверх, надеясь получить дополнительное подтверждение своей догадке. Мысль эта решительно захватила меня.

Постепенно, но ощутимо, ясность моего мышления всё увеличивалась и вскоре стала необыкновенной. Многое, казавшееся ранее загадочным, стало проясняться и предстало передо мной теперь совершенно понятным и естественным. Я почувствовал, что в состоянии понять отношения людей как единую живую систему, очищенную от шелухи, мешающей вникнуть в суть.

Из вороха отношений, воспринятых при общении с людьми, остались лишь самые существенные, определяющие судьбы, идущие от натуры человека, его жизненного уклада и его устремлений.

На самом верху, уже под железным бункером, помехи почти исчезли, и я испытал высший уровень своего нового удивительного состояния: уровень рафинированного размышления и осмысления.

Я ощутил глубоко в себе великую радость свободного мышления и уверенность в достижении главной цели разума — проникновения в суть вещей.

Это состояние было очень близким к тому, что позже, через много лет, открылось мне как условие прохода в Сиреневый мир, где только и стало возможным моё общение со Странником.

Охота

Коренной сибиряк, независимо от рода своих занятий, — обязательно охотник. По этой причине охотничье оружие и припасы занимают значительное место в его жизненном укладе; сибиряк — знаток оружия и может сколько угодно и притом с большим удовольствием толковать о его преимуществах или недостатках одного в сравнении с другим.

Оружие и охотничьи припасы являются постоянным предметом его забот, и то время, которое остаётся у него от работы и хозяйственных дел, он полностью посвящает изготовлению и совершенствованию различных промысловых приспособлений.

А уж приёмов добычи дичи он знает поистине множество.

Охота, и рыбалка в том числе, доставляет к столу сибиряка дополнительный и порой весьма солидный приварок. Трудно сказать, смог бы сибиряк выжить в жёстких условиях сибирских зим, используя лишь традиционные способы пропитания российского крестьянина, если бы не охота и рыбалка.

Необъятные просторы тайги, богатой дичью и ягодами, редкие поселения делают этот источник добывания пищи надёжным и постоянным.

Охота на медведя — самая опасная из всех видов сибирской охоты. Место, где Топтыгин залёг в спячку, метят заранее. Поднимать его из берлоги идут с одноствольным охотничьим ружьём тридцать второго калибра; это самое дешёвое и непрестижное ружьё обладает, однако, одним весьма ценным качеством — высокой прочностью ствола.

Вместо дроби патрон снаряжают круглой свинцовой пулей, а пороха насыпают две нормы; ствол толстенный и выдерживает, не разрывается

от такого недозволенно усиленного заряда, а это наверняка произойдёт, заложи столько пороха в иное, пусть даже очень дорогое и хорошее ружьё.

Ценились в этом смысле также берданки, но их в продаже не было, и если оставались кое у кого, то с прежних времён.

Приходят обязательно вдвоём или втроём, не больше, но и не меньше. Один запускает в берлогу шест и ворошит им, беспокоя, будя зверя. Два других стоят наготове с ружьями; большим числом на медведя не ходят, можно пострелять друг друга.

Зверь просыпается и вылезает наружу, преисполненный злобой. Тут держись, время меряется на доли секунды. Он бросается молнией. Не успеешь застрелить, беда, поломает.

Охота на медведя, тем не менее, а возможно, благодаря этому, почитается весьма престижной, да и добыча хорошая: гора мяса, и вдобавок богатая шкура. Словом, игра стоит свеч. Далеко не все охотники решаются идти на медведя; есть признанные мастера, медвежатники.

Гусь — птица крупная и вкусная. На него применяют ружья калибра не менее двенадцатого, а вообще-то, чем больше калибр, тем лучше.

Чемпион посёлка по гусиным ружьям, несомненно, слесарь-умелец Назарыч. Он где-то раздобыл старинное кремнёвое, раза в два длиннее обычного, ружьё-фузею и, будучи уникальным специалистом, расточил ствол до восьмого калибра. Изготовил и патроны.

В патрон уходила чашка пороха и чашка дроби. Фактически, получилась у него уже не столько ружьё, сколько маленькая пушка. Отдача у этого ружья-монстра получалась соответствующая, то есть, сумасшедшая, и пока длился сезон гусиного пролёта, правая сторона морды Назарыча выглядела сильно вспухшей и по размерам вдвое толще левой.

Назарыча такие пустяки, однако, не тревожили напрочь; одним выстрелом он сшибал несколько гусей разом, к тому же, его грела слава владельца уникального снаряда. А физиономия? Ну что ж, эта незначительная издержка с избытком перекрывалась указанными выше показателями.

У Назарыча мотоцикл «Иж-49», с помощью которого он вытаскивал брёвна из реки, выполнял все работы по хозяйству, используя его как лошадь, и уж, конечно, на нём же ездил на охоту.

Не лишённый тщеславия, Назарыч, возвращаясь с охоты, перед последним перевалом, за которым начинал виднеться посёлок, живописно развешивал добытых гусей на себе и на мотоцикле таким образом, чтобы их казалось больше.

Так вот, аборигены, встречающие охотников, видели вначале ствол знаменитого ружья, потом груду гусей, а уж Назарыча и его мотоцикл, хотя и различали, но с большим трудом.

Начальник электростанции Барковский, еще более тщеславный, чем Назарыч (очевидно, сказывались его шляхетские корни), ездил на охоту верхом на лошади, как заправский кавалерист, и так же, как Назарыч, укладывал добычу так, что лошадь и он сам были сплошь покрыты гусями.

Словом, триумфальное возвращение с удачной охоты выглядело здесь ритуалом, развлечением, вроде парада.

Существующий запрет охоты на диких коз не соблюдали; охотились и на них. Знали места их обитания, тропы, по которым те ходят на водопой, коварно раскидывали соль на полянах. Козам необходима соль, и они подолгу остаются в местах, где она присутствует, лижут её. Они вновь и вновь возвращаются в эти места, да еще приводят своих соплеменниц.

Я предпочитал охоту на рябчика, любил прогуливаться в одиночестве, и охоту совмещал с размышлениями.

Рябчики стайками, здесь говорят табунками, располагаются на пихтах: серенькие, незаметные, их можно и не разглядеть, да это и не обязательно, важно их спугнуть, чтобы они взлетели.

Вот тут смотри внимательно, где сядут. Отлетят они недалеко, шагов на сто, не больше, и сядут. Дальше ружьё держи наготове и без резких движений, рывков, не торопясь, топай к ним. Таким манером можно подойти совсем близко, но не надо: выстрел с расстояния ближе сорока шагов разнесёт птицу на куски. Лучше стрелять шагов с шестидесяти.

Тук! Один упал, табунок вспорхнул и улетел. Смотри, где сядет. Заметил. Теперь забирай упавшую птицу и таким же образом двигайся к табунку.

Так я и хожу, пока не изведу всех рябчиков табунка. Местные умельцы делают свистульки-манки; их звук подобен крику рябчика. Тот слышит и сам летит к охотнику, на свою погибель. Я этого не умел.

Бродя по тайге, я никогда не забывал об опасности возможной встречи с медведем. Встречи этой я, естественно, не желал. «Против медведей, этих симпатичных животных, я лично ничего не имею, — размышлял я, — но у меня нет убеждения, что наша встреча закончится для меня благополучно».

Я держал на этот опасный случай в верхнем карманчике куртки два патрона, снаряжённых жаканом, то есть, пулей. Такая моя предусмотрительность придавала мне уверенности, а в возможной схватке давала значительное преимущество.

За медведем физическая мощь, свирепость и быстрота. За мной два убоистых заряда, которые, если я буду достаточно удачлив и проворен, наверняка свалят зверя.

За два года, к счастью, состоялась всего одна встреча, и она оказалась вовсе не такой, какую рисовало моё воображение. Однажды осенью, когда трава в тайге намного выше человека и полно упавших деревьев, я, настреляв рябчиков, забрёл в заросли малины и с аппетитом стал уплетать ягоду.

Мне и в голову не приходило, что в этом же малиннике, с такой же целью и в это же время окажется медведь. Поедая ягоду, мы двигались встречным курсом и, в конце концов, сошлись.

Я опёрся о здоровенный ствол павшей сосны, даже лежащая, она была мне по шею, с намерением перелезть, и вдруг увидел по ту сторону дерева морду зверя. Я смотрел на медведя, медведь смотрел на меня.

Опомнившись, я рванулся назад, разломил ружьё, выбросил патроны, снаряжённые дробью на рябчика, выхватил из кармана жаканы, загнал их в ствол, одновременно ища глазами зверя.

Однако, поединок не состоялся. Коротко рявкнув, медведь бежал. Треск и топот засвидетельствовали его благоразумное бегство.

Мои коллеги

Пора, однако, показать людей, среди которых я жил и трудился. Без человека всякие, пусть даже самые диковинные описания красот природы ничего не стоят, ибо в центре нашего бытия стоит он, человек, иначе всё бессмысленно.

Лукаракское общество следует для наглядности разделить на приезжих и аборигенов-сибиряков. Приезжие — это инженеры и техники, врачи и педагоги; они представляют собой элиту общества. Аборигены по своему общественному положению занимают нишу пониже: они рабочие, дежурные производственных участков, коих на станции немалое число, и работники торговли.

Первым по чину представляю хозяина, начальника электростанции Барковского, здоровенного рыжего старшего лейтенанта МВД, с крупными чертами лица и породистым выдающимся носом.

С людьми, если видит перед собой беззащитного человека, ведёт себя надменно. Хотя, здесь не всё просто, и ниже я дам своё понимание его поведения. Любит покрасоваться, а уж верхом на лошади в особенности. Заядлый охотник и любитель шахмат, но мне проигры-

вает; при этом он петушится и норовит ошибочный ход взять обратно. Я хода не отдаю, резонно полагая, что нечего его баловать. Олицетворяет собой сладость власти, но в общем, человек он не вредный, нормальный.

Второе лицо в посёлке, несомненно, главный инженер Рубин, длинный, можно сказать, фитиль, умный и хитрый, истинный одессит, откуда он и прибыл в своё время.

Будучи очень толковым инженером, он взял на себя всё техническое руководство станцией, ни единым движением не посягая на сладостное, скорее парадное, правление Барковского.

Котельной и турбинным цехом командовал Стрельников Борис Николаевич, коренастый, крепкий, как дуб, с грубой, корявой от оспы, истинно разбойничьей физиономией, мясистый, черноволосый и башковитый. Он неизменно одет в хромовые сапоги, чёрные суконные бриджи, такой же китель и фуражку без эмблемы. Словом, в типовую одежду партийного функционера.

Всем своим видом он излучал основательность. Любимым и обязательным его выражением было: «В каждом деле должен быть определённый порядок», произносимое сиплым, низким и уверенным голосом.

До моего приезда на станции не существовало раздельного руководства котельным и турбинным цехами. Стрельников быстро разобрался в ситуации и без конфликта сумел оставить за собой котельный цех, а турбинный уступил мне.

А вот и наш Бугаев, загадочно, с неким подтекстом упомянутый мужиком в Тисульской чайной на пути моего следования в Лукарак.

Бугаев Пётр Денисович, с почтением назовём его так, мастер турбинного цеха, сибирский самородок, степенный и плотный. Он здесь единственный, кто проводит ревизию, то есть, профилактический ремонт турбин «Юнгстрем» и «Броун Бовери»; он, можно утверждать, монополист этого дела.

Своё мастерство тщательно охраняет; когда ротор турбины извлекали из чрева машины, он прежде, чем приступить к работе, как к священнодействию, отгонял всех прочь, чтобы никто не смог подсмотреть и перенять его опыт, и только после этого принимался за работу. Он молчалив, и если кто спросит его по турбинному делу, не ответит, а лишь злобно засопит.

С приездом молодых любознательных инженеров Бугаев первобытным своим нутром тревожно учуял, что его монополии крышка, и это обстоятельство его ужасно расстроило. Что из этого его переживания вышло, я расскажу позже.

Известный читателю из главы о Шурочке Николай, начальник ЛЭП, фанатично влюблённый в себя молодой человек с очевидным дефицитом интеллекта; он разительно примитивен. Николай из простой рабочей семьи.

Отец, рабочий цементного завода, главную радость и отдых видел в доброй воскресной выпивке, которая, несомненно, давала ему разрядку после тяжёлого, монотонного и чрезвычайно вредного труда. Каждый рабочий ветеран завода неотвратимо заболевал силикозом, этим тяжким профессиональным неизлечимым недугом, который быстро отправлял человека на тот свет задолго до достижения им научно установленного возраста старости.

Коля высокого роста, смазлив, с хорошими зубами. У себя на родине он научился ослепительно улыбаться и бить чечетку; разумеется, не полностью, а пять первых притопов. Для успеха у девушек этого было с лихвой достаточно. По его собственным словам, он от них отказов не имел.

Валерий Кузнецов — полная противоположность Николаю. Фундаментально образованный инженер, интеллектуал, разительно рыжий и кудрявый, весёлый, очень динамичный и откровенный до неучтивости; что думает об аборигенах, то и лепит. Это вызывает у людей естественное неудовольствие, на него обижаются.

Валерий приехал из Уфы, переполненный скептицизмом по отношению к искусству местных энергетиков; в грош их не ставил. Он словом и делом, по-мальчишески нахально и открыто демонстрировал это своё отношение постоянно, прямо-таки с каким-то даже восторгом.

Начальству уважения не оказывал. Бугаева открыто объявил неучем, и в потворстве ему обвинил опять же начальство. Но не было в нём зла, а единственно молодой задор, уверенность в себе и врождённый интеллект.

По правде сказать, Валера где-то прав; ему не доставало до полной правоты лишь необходимого уважения к людям. Сам он не безгрешен: полагал, что знает и умеет всё, но случалось, ошибался. Год назад посадил станцию на «ноль».

Мне он симпатичен.

В отличие от Кузнецова, я остро ощущал в себе отсутствие практики энергетического дела, без чего нет полноценного специалиста. Я жадно вбирал этот опыт, наблюдая за работой энергетиков различных цехов, признавая, что любой из них даст мне фору, пока я не разберусь сам как следует. Пусть временно, но это так.

Я соблюдал уважение к местным людям: так меня воспитали родители. Меня коробило от хамства, неучтивости и, в особенности, когда унижают человека. Всё идёт из семьи.

Реакция среды образовалась соответствующей: Валеру подвергали остракизму (в лёгкой форме), а меня вроде уважали, и чем далее, тем больше. Я ощущал это кожей.

Бугаев своим первобытным чутьём сразу обнаружил вышеуказанную слабину Кузнецова, и помех с его стороны не опасался. Впрочем, совсем не принимать в расчет Валеру он не мог: тот был фигурой в инженерном смысле.

Николая же Бугаев просто не замечал; если смотрел, то сквозь него.

Инженеры станции пользовались немалыми льготами. Им шла солидная доплата за выслугу лет; все они, за исключением молодых специалистов, вели хозяйство: держали поросят, коров, огород, сад, то есть, вели натуральное самообеспечение продуктами. Великолепная природа давала им охоту, рыбалку, ягоды.

Всё это позволяло им жить сытно и по-своему интересно. И хотя их и тянуло уехать в цивилизацию, но, прикидывая барыши и потери, они не торопились. Пускали корни и жили здесь основательно и привольно.

Витт

В отношениях Барковского с Виттом, как в капле воды, отражалась трагедия общества, придавленного режимом грузина.

Барковский, фактический хозяин здешних мест, и инженер Витт Пётр Константинович, отбывший срок лагерей, обвинённый и осуждённый за случившуюся эпидемию какой-то болезни среди рабочих строительного карьера, которым он руководил. На электростанции он пребывал в статусе досрочно освобождённого, без права отъезда домой, трудился инженером капитального строительства.

Витт истинно интеллигентный человек, правильнее, утончённый интеллектуал; эрудит не только в своей строительной профессии, но и живописи, истории, музыке. Как личность, на порядок выше Барковского, но тюрьма его воспитала.

Он приобрёл бесконечное терпение, выдержку, осторожность; чувства гордости, самолюбия, собственного достоинства, чтобы не дай Бог, не затерять их, запрятал в себе поглубже. Пропускал мимо ушей, не волнуясь, мерзости со стороны начальства, выработал в себе смирение.

Смирение его, однако, не имело ничего общего с покорностью сломленного человека, но, напротив, относилось к личности, хорошо проанализировавшей обстановку, в которую она попала, и принявшей самую оптимальную систему поведения для достижения своей цели.

Он сказал себе: «Это пока не настоящая жизнь. Всё ненастоящее, но всего лишь скверный, по счастью, временный спектакль, который вскоре, слава Богу, должен закончиться, но это при обязательном условии, если я стану вести себя, как задумал. Достоинство подождёт, самолюбие потерпит, я подержу их в себе и уведу от ударов, чтобы сохранить. Их временно как бы не существует».

Главной же целью, которую он поставил перед собой и решительно, последовательно шел к ней, было выжить, и не только физически, но и духовно — остаться человеком. Он ежедневно, до самых морозов, купался в холодной Кие, обливался до пояса ледяной водой всю зиму. Носил кирзовые сапоги, ватные брюки, телогрейку и тёплую кепку.

Ах, как я, Северов, понимал Витта!

А что же Барковский? Если оценивать его поведение по отношению к Витту, то иначе, как хамским не назовёшь.

Всякое его словесное обращение к Витту получалось в издевательской пренебрежительной форме.

В отличие от Витта, Барковский не стоял перед необходимостью относиться к нему таким унижающим образом; отношение вполне могло быть ровным и вежливым с пониманием нелёгкой доли того, и даже с сочувствием.

Ведь не злодей же Витт. Это видно невооружённым глазом. Витт не конкурент ему по службе, слова его ничего не стоят, он бесправен.

Может быть, всё дело в правовой беззащитности Витта. Или, ещё вероятнее, в подавляющем духовном и интеллектуальном его превосходстве, контрастирующем на фоне грубоватого Барковского с его этической ограниченностью и нежеланием пересилить низменность своей натуры?

Может быть, эта его натура ощущала потребность стать над людьми и показать свою власть над ними, чтобы она видна была всем?

Возможно, возможно, но всё же главная причина содержалась в ином.

Страх!

Страх перед режимом — вот пружина, подвигающая Барковского на путь хамства. Нормальные человеческие отношения с Виттом могли быть восприняты партийным окружением как сочувствие преступнику,

вредителю. Вот чего более всего боялся Барковский! Он отлично знал, чем это кончается.

Оберегая себя, он вынужденно дистанцировался от заключенного. Эта норма поведения по отношению к Витту считалась в то время официально безупречной по отношению к заключённым вообще, а заодно и к досрочно освобождённым, которые почти то же, что арестанты.

Возможно, где-то в душе Барковский даже сочувствовал Витту?

Каждый из них играл свою роль. Вот в чём их сходство при кажущемся внешнем полном различии. Оба они лицедеи. И оба по необходимости. Почти оба.

Верность этих рассуждений в определённой степени подтверждается отношением Барковского к молодым специалистам-инженерам, своего рода лакмусовой бумажке, высвечивающей человека в условиях режима.

Молодые специалисты суть полноправные граждане, ещё не запятнавшие свою биографию «антигосударственными преступлениями». Более того, у руководства существовали обязанности по отношению к ним, за них спросят сверху. Да и сами они в силу своей молодости, а также указанных факторов, имели возможность за себя постоять, а при необходимости и пожаловаться вверх.

Монтаж турбины «АЕГ»

Возвратившись из отпуска, я обнаружил рядом с турбиной «Броун Бовери», на ранее пустующей площадке, свежий фундамент под новую турбину «АЕГ».

Этот агрегат, вдвое превышающий по мощности все ранее установленные турбины электростанции, привезли из поверженной Германии после войны в счёт репараций. До сих пор он в разобранном виде хаотично хранился на станции, так как для его установки требовалось немало подготовительных работ. Разработать строительные чертежи фундамента, монтажные чертежи паропроводов и водяных циркуляционных линий, насосной станции, заказать и получить недостающие узлы, трубы, задвижки, вентили, насосы, эжекторы и множество иного сложного энергетического оборудования.

Теперь вся эта система укомплектована, и наступила пора монтажа как такового.

Барковский отбил телеграмму в Ленинград на Путиловский завод с вызовом шефа-монтажника для технического руководства сборкой и

пуском турбины. Без представителя головного завода по паровым турбинам проводить монтажные работы запрещено: таков порядок.

Шефы, в лице двух персон, вскоре прибыли и обосновались в отведённой им избе.

Старший шеф — высокий, полный, видный мужчина, спокойный и обстоятельный. Другой — полная ему противоположность; небольшого роста, черкесского вида, худощавый и импульсивный. Отчаянный выпивоха, он успел загнать и привести в негодность своё сердце и то и дело, закатывая глаза, глотал таблетки.

Меня он бесил своими любовными историями. Он особенно любил рассказывать, как однажды в него безумно влюбилась молоденькая девочка, а он безумно влюбился в неё, и как всё было трогательно. Она оставалась невинной, ибо он её жалел, и, тем не менее, забеременела.

История интересная, но непонятная и даже, на мой взгляд, запутанная; у меня, естественно, возникли вопросы, но поскольку я небольшой охотник до подобных сюжетов, то не стал выяснять детали, как и почему.

Барковский своим приказом определил меня в монтажную бригаду с освобождением от обязанностей дежурного инженера, и эпопея началась. Бугаева в бригаду он не включил, и это, казалось бы, малозначимое обстоятельство оказалось в большой степени катализатором последующих событий.

Тот, кто знаком с монтажом важных объектов, представляет, какой ажиотаж начинается внутри монтажа и около него. Руководство треста «Западносибирское золото» установило срок окончания работ, и принялось из всех сил следить и контролировать ход работ. До установленной даты оставалось неполных пять месяцев, и работа закипела.

Да станет известно просвещённому читателю, что Кийская электростанция вместе с золотодобывающими рудниками и драгами входила в систему Министерства внутренних дел, то есть, в империю всемирно известного злодея Лаврентия Берии. Это чрезвычайно важное обстоятельство незримо, но постоянно и сильно влияло на ход описываемых событий.

Авария

К концу монтажа прикатил представитель Министерства внутренних дел, капитан, среднего роста, в сапогах, полный, с румяным бабьим лицом.

Он подошёл, когда рабочие подводили краном верхнюю часть — крышку цилиндра низкого давления, чтобы установить её на положенное место; был поздний вечер, и ребята сильно устали.

Миша Брюханов, щурясь воспалёнными глазами, внимательно осматривал обоймы лабиринтового уплотнения. На одном торце обоймы виднелся маленький треугольник; с той же стороны на корпусе турбины — тоже треугольник. С противоположной стороны и обоймы, и корпуса турбины — маленький кружок.

При установке лабиринтового уплотнения треугольник должен совпасть с треугольником, а кружок с кружком. Это означает правильность сборки!

Германские конструкторы турбины не зря позаботились о таком точном и ясном указании, ибо осознавали все неприятные последствия неправильной установки уплотнений. Речь может идти о тяжелой, возможно, и непоправимой аварии турбины.

— Федя, ты самый молодой, глаза у тебя, как у орла, глянь еще раз, совпали ли треугольники.

Тот посмотрел на обойму, просипел: «тругольник», залез на стремянку, добрался до внутренней части корпуса, в том месте, где должны совпасть обойма и корпус, и мотнул головой: «треугольник, всё в порядке».

— Ну, с Богом, трави таль.

Крышка медленно пошла вниз, накрывая турбину.

— Стоп! Отложим до утра, устали, как бы напоследок не поспешить. Закроем утром.

На следующее утро собрались у турбины и произвели завершающие работы. Затем монтажники по одному отошли от агрегата в сторону, и остановились в вольных позах, опершись на поручни турбинной площадки; курили и ждали.

Оставался Миша, но вот и он установил крышки подшипников, поправил термометр, чтобы тот выглядел прямее и красивее, оценил взглядом проделанную работу и присоединился к бригаде. Начальство явится к девяти, теперь лишь восемь.

Ровно в девять на площадку с натугой взобрался капитан с бабьим лицом и в окружении командиров производства, с важностью, отвечающей роли полномочного представителя министерства и предстоящему моменту, расположился возле турбины.

Барковский наклонился к нему за разрешением начать пусковые операции; тот кивнул в знак согласия.

К штурвалу подошел полный шеф-монтёр и стал осторожно открывать доступ пара в турбину. Пар засвистел, загудел, ротор тронулся с

места. Шеф подержал машину на малых оборотах, прогрел и увеличил подачу пара.

Так, очень постепенно прогревая турбину, он наращивал скорость вращения ротора, и, наконец, остановился на оптимальных трёх тысячах оборотах в минуту. Все облегчённо вздохнули. Но, увы, преждевременно. Не прошло и десяти минут, как турбину стало трясти, и чем дальше, тем сильнее. Этого не должно быть. Это ненормально! Шеф быстро перекрыл доступ пара и стоял в очевидном расстройстве.

Останов турбины носил аварийный характер. Никто не ожидал такого поворота; все застыли, как в столбняке, не веря в случившееся.

Вместо торжества — авария.

— Через час совещание у меня, — с трудом выговорил Барковский, и начальники удалились в сильнейшем расстройстве.

Совет

Совещание состоялось после того, как сняли верхнюю крышку остывшего корпуса цилиндра низкого давления, извлекли второй блок лабиринтового уплотнения и констатировали, что он основательно выведен из строя. Кажется, не безнадёжно, и, возможно, его удастся восстановить.

Гребешки уплотнения остались целы, однако ясно, что, увы, гребешки вала и корпуса взаимно коснулись (чего никак, категорически, не могло произойти в случае нормальной, правильной сборки), и о чем тем не менее красноречиво свидетельствовали кольцевые цвета побежалости.

Это взаимное касание при трёх тысячах оборотов в минуту вращения турбины закономерно перешло в тепло со всеми вытекающими отсюда печальными последствиями.

На совещании присутствовали Барковский, Рубин, полный с румяным бабьем лицом капитан из Министерства внутренних дел, оба шефа Путиловского завода, Миша Брюханов, Стрельников, Бугаев и я.

Настроение у всех подавленное. Все ждали нормального пуска; да, турбина иноземная, незнакомая, возможны мелкие неполадки, то да сё, но такая авария? Барковский обратился к шефам:

— Можно ли привести в порядок блок?

— Надо посмотреть, — осторожно ответил старший шеф, — полагаю, вполне возможно; чуть подправить на станке, пройтись, пошлифовать.

Я сидел, но слушал вполуха. Мозг сверлили тревожные мысли. «Отчего возникла повышенная вибрация? Только ли от местного нагрева? Возможно, хотя сомнительно; для этого необходимо, чтобы заклинило покрепче, но тогда лабиринты были бы смяты, а этого очевидно нет».

Я следовал неумолимой инженерной логикой. «Следовательно, вибрация, скорее всего, возникла от дисбаланса ротора, но диски ротора в порядке, значит, вал и, конечно, в месте перегрева, но дисбаланс вала — это его прогиб, который мог возникнуть в момент перегрева и исчезнуть при охлаждении, но мог, — обожгла меня мысль, — и сохраниться, а это уже, мягко выражаясь значительно хуже».

Так или иначе, следует проверить биение вала по индикатору; если вал получил прогиб, то это проблема, но я знал, что делать в этом случае.

«Почему лабиринты заклинило?» — вот вопрос, который сверлил меня и представлялся центральным.

— Почему лабиринты заклинило? — спросил Барковский, обращаясь к высокому собранию.

— Неверно рассчитали толщину прокладки, регулирующую зазор между гребешками, — веско произнёс Бугаев.

Гипотеза эта всех устроила и её приняли, как должное.

Накалённая обстановка способствовала образованию у меня особенного состояния; такое со мной иногда случается и возникает именно в критических ситуациях, то есть, тогда, когда многие люди в этих случаях, напротив, впадают в растерянность. Это у меня врождённое.

Слух и зрение обострились необычайно; я замечал и соображал мгновенно. Редкое и чрезвычайно ценное состояние, к сожалению, очень кратковременное.

Большинство людей в таких ситуациях или совершают бессмысленные поступки, или впадают в ступор, или действуют в животном направлении, как бы себя спасти, и только.

Позже, спустя годы, подобное ощущение я испытал в Сиреневом мире. Но там оно спонтанно возникало не под воздействием критической ситуации, а глубоким проникновением в духовный мир, но по ясности мышления и пониманию сути вещей, прозрению, сходство было несомненным.

Так вот, для меня вдруг стало очевидным, что Бугаев, выдвигая свою версию, лукавит с намерением увести обсуждение от истины. И еще я почувствовал его опасение, что ему не поверят из-за его намеренной лжи.

Напоминаю, что всё это я заметил в своей повышенной, можно сказать, ненормальной обострённости. Для остальных участников совещания предложение Бугаева представлялось солидным, достоверным и не вызывало сомнений.

Ещё при разборке турбины после аварии меня привели в недоумение некоторые обстоятельства; впрочем, расскажу по порядку.

Блок лабиринтовых уплотнений я осмотрел не сразу. Дело в том, что, когда поднимали верхнюю крышку корпуса, меня очень некстати вызвали на щитовую к телефону. Звонил рудник Центральный, куда, согласно графику, я должен был приехать для ревизии и профилактики шахтных электромоторов.

Разговор получился длинный, и когда я вернулся, верхняя крышка уже стояла в стороне на четырёх дубовых чурбаках. В воздухе на тросах крана висел ротор, а из нижнего корпуса был извлечён блок лабиринтов.

Я подошёл к блоку и, оценивая величину их повреждения, вдруг споткнулся о явную несуразицу, нарушавшую инженерную логику. Повреждения находились в местах, где их не должно быть по сути!

Я рванулся к лабиринтам вала и всмотрелся, мысленно представляя физику происшествия. Разогрев, расширение и удлинение металла вала и корпуса, их относительное движение, и, наконец, кинематику зазора между гребешками.

Из моих размышлений однозначно выходило, что повреждения могли иметь место только на противоположной стороне кольцевых гребешков, и никак иначе! То есть, то, что произошло, произойти не могло. Что-то тут не так.

Между тем, я несколько раз ловил на себе взгляды Бугаева, выражающие некую тревогу. Что же его тревожило?

Авария? Переживание за товарищей по работе? Это я отбросил сразу и с негодованием: не такой он человек, этот Бугаев. Очевидно одно, его явно беспокоило моё дотошное исследование, и он в связи с этим чего-то опасается. Видимо, опасается, что всплывёт истинная причина аварии.

Возможно, он догадывался о моих соображениях, касающихся причин аварии? А может быть, он просто опасался за свою репутацию незаменимого специалиста и видел в моём лице и в поведении конкуренцию?

Так что же тревожило Бугаева?

Некоторое время я пребывал в тупике. Дело, конечно, не в конструкции. Немцы отличные инженеры и рассчитали, как надо.

Однако возвращаюсь к совещанию.

— Что будем делать? — вопросил Барковский.

— Восстанавливать лабиринты и подбирать прокладку, — снова взял на себя инициативу Бугаев. Он явно укреплял свою репутацию единственного толкового специалиста, без которого им не обойтись. Решение устраивало всех, как простое и понятное.

— Есть ещё какие соображения? — спросил Барковский, больше для проформы.

— Есть соображение, — сказал я.

— Какое?

— Необходимо замерить биение вала в месте перегрева.

Барковский покосился в сторону шефов.

— Не мешало бы, но для этого нужно снять рубашку, а она установлена на горячей посадке, — весьма неопределённо выразил своё мнение старший шеф.

Для горячей посадки рубашку разогревают, от нагрева она расширится, и её легко возможно надеть на вал, а когда остынет, то намертво, плотно, с натягом обхватит вал.

— А нужно ли мерить-то? Какие опасения?

— Вибрация.

— Но вибрация от заклинивания.

— Да, но может быть от прогиба вала. Вот и надо установить причину вибрации.

Все помолчали. Каждый оценивал ситуацию от себя.

«Сроки пуска, конечно, важный фактор, — размышлял Барковский, — но если окажется прогиб вала, то полетят не только сроки, можно загубить турбину. С другой стороны, если против замеров выступили шефы, то последующую неудачу можно свалить на них. Тем более, Северов, инженер электростанции, выступил с необходимостью замеров. Но шефы не дураки, они особенно не возражают. Надо мерить».

Полный капитан с бабьим лицом зол безмерно. «Черт бы побрал их всех. За сроки надают по шее, но голову не оторвут, а вот если окажется прогиб вала и я не поддержал, не разобрался, могут и оторвать. Так бы можно свалить на диверсию, а теперь, после предложения инженера… надо мерить».

«Надо мерить, — шептались шефы, — предложение толковое, да и нам зачем возражать. Один раз проглядели. Надо было самим ставить лабиринты. К тому же, командировочные идут, а сроки нам до лампочки».

— Проверить биение вала. Брюханов, начинай. — принял своё командирское решение Барковский.

— Прошу учесть необходимость быстрого проведения работы. И так бесконечно откладывается пуск агрегата. Сколько можно? Но если надо в интересах дела, значит, надо, но повторяю, быстро. Командованию известно, и оно недовольно, — назидательно, как и подобает начальству, заключил капитан МВД.

Пока шло совещание руководства, монтажники, сильно подавленные случившимся, сидели в турбинном зале, кто на чём, курили и обменивались репликами. Дело приостановлено, решение не принято, а это самое скверное состояние для любого рабочего коллектива.

Но вот подошел Брюханов и дал команду. Зашумели бензиновые горелки, и несколько узких призрачно синих языков пламени упёрлись в лабиринтовую рубашку, облизывая её жаром по всей поверхности.

Через некоторое время Миша отстранил горелки, и, надев толстые жарозащитные рукавицы, попробовал вручную сдвинуть рубашку; она довольно легко подалась на несколько сантиметров, но затем застопорилась.

— Грей ещё!

Минут через пять прогрева рубашку сняли. Вал под ней выглядел прекрасно: полированный, он лоснился и отливал светлыми бликами.

Принесли и установили на верхний срез корпуса стрелочный индикатор, уткнули его носиком в вал, так, что стрелка задвигалась и уставилась в фиксированном положении. По команде бригадира трое рабочих, взявшись за диски, стали медленно вращать ротор турбины.

В идеальном случае стрелка индикатора должна стоять неподвижно на установленном делении. Если же вал имеет прогиб, стрелка покажет его величину по разнице наибольшего и наименьшего значения показаний.

Идеальных ситуаций в технике не бывает; вся практика зиждется на системе допусков, которая устанавливает допустимые отклонения реальных параметров от идеальных. В паровых турбинах допускается прогиб вала не более двух сотых миллиметра. Такой прогиб тоже даёт вибрацию, но опять же, не страшную для агрегата.

Окружающие впились глазами в индикатор. При повороте вала сантиметр за сантиметром стрелка индикатора безжалостно двигалась, беспощадно показывая истинную степень повреждения. Пройдена окружность, и вот результат; он неутешителен.

Вал с диаметром в двадцать сантиметров, этакое стальное бревно, из-за паршивого, вроде пустяшного перегрева получил прогиб, в десять раз превышающий допустимый!

Индикатор отодвинули, вал промыли спиртом и протёрли тряпочками. Снова замерили. Результат тот же.

Мы с Мишей пошли к начальству, чтобы доложить результат замера. Нас ждали с напряжёнными лицами. Миша доложил.

— Я прошу специалистов высказать свои соображения, — с трудом выговорил Барковский, — Борис Николаевич, Вы.

Вот тут-то я впервые увидел Стрельникова настолько растерянным. Его хромовые сапоги, чёрные суконные бриджи, китель и фуражка без кокарды, словом, весь его костюм ответственного партийного функционера, до сих пор верно и безупречно служивший поддержанию его облика уверенного высокознающего специалиста-руководителя, на сей раз не помог.

Основательно выбитый из колеи, растерянный, он тяжело поднялся, открыл пасть, но вместо своей дежурной сакраментальной фразы «в каждом деле должен быть определённый порядок», лишь просипел:

— Надо крепко подумать.

Наступило напряжённое молчание. В создавшейся острейшей ситуации можно говорить только по существу и если имеешь реальные конкретные предложения по сути аварии. Пустословие не пройдёт, его просто не допустят.

Я понял, что тут не до субординации, попросил разрешения и сделал краткую информацию о существующих способах, во всяком случае, мне известных, лечения вала. В частности, я предложил на рассмотрение уважаемым специалистам наиболее предпочтительный из них для нашего случая, способ, известный инженерам, как «клин клином вышибают». Смысл его в том, что если местный перегрев привёл к прогибу, то образуя подобный перегрев, но с диаметрально противоположной стороны, можно заставить вал прогнуться в обратную сторону, то есть, выпрямиться.

Уязвимость предложенного способа заключается в том, что структура внутренних напряжений вала чрезвычайно сложна, и невозможно с уверенностью предсказать направление этого «клина»; он может пойти в ином, нежелательном направлении и не исправит прогиб, а даже усугубит.

Меня выслушали со вниманием; других предложений не оказалось. Прямо скажем, руководители попали в тяжёлое положение; судьба их теперь находилась в зависимости от успеха или неудачи

ремонта вала. Полный румяный капитан так расстроился, что высказался дважды.

Вначале он остановил, а вернее, оборвал меня; он брюзгливым тоном выразил недовольство моей манерой изложения мыслей.

— Что Вы всё «по-моему, по-моему», — брюзжал он, — нас не интересует, что и как по-вашему. Вы инженер и должны доказывать с точки зрения инженерной науки.

Я не знал понятия «инженерная наука» и полагал естественным право специалиста использовать слова «по-моему», ибо не существует в мире отрасли знаний, где всё ясно до конца и не вызывает толкования. Эти слова как раз и выражают степень его квалификации, добросовестности и ответственности. Ведь гораздо проще сослаться на страницу такую-то «инженерного научного труда», как выразился капитан.

Разумеется, все эти мои рассуждения я оставил при себе; я догадывался, что капитану хотя бы по форме необходимо создать впечатление объективности решения, а если окажется не так, значит, его дезинформировали.

И ещё в конце доклада он спросил:

— Вы лично можете гарантировать успех в случае, если мы решим принять Вашу официальную рекомендацию?

Этим коротким вопросом он расставил все точки над «i». Во-первых, определил личную ответственность Северова за результат работы, и во-вторых, принятие официального решения обосновал предложением того же инженера Северова.

Задавая вопрос, капитан сверлил меня взглядом гремучей змеи и ждал ответа; таким манером он ясно понуждал ответить стереотипно и выгодно для него, а именно: «убеждён в успехе, ответственности не боюсь».

Я, хотя и не искушён в чиновничьих повадках, но в своей первозданной чистоте и наивности молодого специалиста среагировал, кажется, правильно.

Я сказал:

— Несмотря на некоторую указанную выше уязвимость способа, вместе с тем, по-моему… — капитан с негодованием посмотрел на меня, и я поправился, — по моему убеждению… — поправка эта по сути ничего не изменила, но капитан сделал вид, что удовлетворён, — по моему убеждению, предложенный способ является наиболее реальным, исходя из ситуации и наших возможностей, да и по ожидаемому результату.

Опасения

Я присел на гладкий выступ корпуса турбины и задумался; турбина излучала мощный поток тепла и солидно гудела, успокаивала и приводила в уравновешенное состояние.

До сих пор авария представлялась мне чисто инженерным событием: какова причина, где допущена ошибка, насколько серьёзно повреждение и как восстановить турбину. Эти мысли не оставляли места для иных рассуждений.

«А что, если не удастся исправить повреждение?» — внезапно подумалось мне. Ведь возможен самый скверный вариант, когда местный перегрев настолько деформировал вал, что прогиб его стал необратимым, вибрацию устранить не удастся, а эксплуатация турбины станет невозможной.

С вибрацией шутки плохи, она способна разнести вдребезги любой агрегат: разболтает и выведет из строя любые крепления, подшипники и разделает турбину под орех, гаек не соберёшь.

Правда, особых сомнений в возможности исправления вала у меня не было, но и стопроцентной уверенности в успехе я тоже не ощущал. Итак, возможно, спасти турбину не удастся. Что тогда? Заказывать новую, но на это уйдут годы, а рудникам уже сегодня не хватает энергии, и мощность их потребления всё возрастает.

Турбина действительно нужна.

В этой ситуации непременно станут искать виновного в аварии, искать серьёзно, иначе как же? Нужный государственный объект выведен из строя, и никто не понёс сурового наказания?

В том, что кара станет суровой, я не сомневался, хотя плохо разбирался в юриспруденции; я и без этого хорошо представлял себе меру наказания, а вот читателю, чтобы понять, надо знать время, в котором происходила эта история.

Государство тогда полностью определяло судьбу человека, в том числе и его жизнь. При наличии формального свода юридических законов и прочих уложений, устанавливающих права и ответственность граждан в процессе их сосуществования, параллельно им имела место реальная жестокая практика, когда группа лиц партийного бюрократического толка по своему усмотрению определяла лояльность человека по отношению к государству.

Человек, обвинённый в нелояльности, подлежал беспощадному уничтожению как враг народа.

Идеологически такой порядок якобы был необходим для защиты социалистического государства от врагов, «которых было множество и

со всех сторон», а по сути, шел процесс укрепления личной власти вождя, товарища Сталина.

Врагами народа объявляли всех, кто в силу своего служебного положения или гражданской позиции хотя бы в малейшей степени, прямо или косвенно представлял угрозу для утверждения и незыблемости неограниченной власти вождя.

Итак, решающим критерием при отнесении человека к категории «врага народа» была исходившая от него потенциальная или реальная опасность для авторитаризма. Под этот критерий подходило несогласие с решением руководства, недовольство, инициативы, не совпадающие по духу с официальной, предписанной свыше линией поведения, обсуждение общественных дел без уважительных ссылок на роль вождя, выражение своих собственных мыслей о положении и состоянии общества, личный высокий деловой авторитет, да впрочем, всего не перечислишь. Проще сказать, любое неосторожное слово.

Как же вести себя человеку, чтобы сохраниться? Для этого необходимо было укротить свою свободолюбивую натуру, смириться с творимыми мерзостями, демонстрировать свою искреннюю любовь к вождю, славить его мудрость и незаменимость. Признать абсолютное согласие с его указаниями, его сверхъестественные способности и правильность пути, начертанного им, все его мудрые указания, и обязательно показывать своё ничтожество в сравнении с ним.

Вот набор основных требований к лояльности, делающих людей ничтожествами, но этого бывало недостаточным, чтобы уберечься.

Для укрепления авторитета вождя даже этих совершенно ужасных требований, оказывается, еще не хватало. Власти решили подавить хотя бы намёк на инакомыслие, создать атмосферу страха, чтобы у людей поджилки тряслись от одной лишь мысли…

Отнесение к врагам народа как можно большего количества людей, чтобы мысль у них металась, «за что?» И чтобы не было у них ответа, а был лишь страх у тех, кого взяли, и у тех, кого еще не взяли.

В результате волн репрессий часть людей были убиты или упрятаны в лагерях, а остальные ради самосохранения громогласно возопили о полном своём понимании и признании величия вождя.

Таким образом, был выкован высокопатриотичный человек нового типа, советский человек.

В свете сказанного, правонарушения, совершённые по халатности, стечению обстоятельств, в сфере производства и прочее, обзывались вредительством; испортил, скажем, рабочий какой аппарат по недомыслию, а его обвиняют во вредительстве.

Вернёмся, однако, к нашей истории. Так вот, в связи с аварией станут искать не просто виновного в повреждении, а врага народа, вредителя, и это совсем не одно и то же. Обвинение во вредительстве могло обрушиться на любого человека, и доказать тому свою невиновность в условиях полного произвола не представлялось никакой возможности.

На практике не соблюдалось ни одно из условий демократического судопроизводства. Обвинение врубалось, как клеймо, и оно лишало человека всех прав, которые режим гарантировал своим гражданам. При этом складывалась парадоксальная психологическая ситуация: люди пребывали в иллюзии своей безопасности, ибо сами-то они знали, что никакого отношения к вредительству не имеют, но они не могли при этом увериться за человека, которого в этом обвинили.

«Надо же, — думали и говорили они, — кто бы мог предположить, что Сидоров вредитель».

Попав в маховик репрессий, они прозревали, но, увы, поздно. В глазах людей они теперь сами вредители, о которых скажут: «Надо же, кто бы мог подумать».

Как видим, система предельно проста, но дьявольски иезуитская по результатам воздействия на людей. Чтобы понять суть системы, надо было поставить под сомнение честность и справедливость руководства, понять его истинные цели и пружины.

Однако, этому решительному анализу не давал хода поток лжи, лившийся на мозги человека из рупоров пропаганды. Цели, внушаемые ложью, были настолько благородны и созвучны идеалам человека о строительстве новой счастливой жизни, что никому и в голову не приходило сомнение в правильности пути.

Люди не могли понять простую истину, что на самом деле руководство встало на мерзкий антинародный путь, и, не брезгуя ничем, воздвигает на трупах и страхе личную власть.

Поединок

С того момента, когда мне впервые открылось удивительное свойство лестницы, я использовал всякий удобный повод, чтобы вернуться в этот удивительный и завораживающий мир ясного разума, где я ощутил себя совершенно свободным.

Разумеется, своё открытие я держал в глубокой тайне, потому что это только моё, и я не собирался делить его ни с кем.

Но существовал и другой интерес к лестнице: мне, молодому человеку, нравилось взбираться по ней круто и на такую высоту в чисто спортивном отношении. Я уж не говорю о служебной необходимости.

Эти мои восхождения, естественно, не остались незамеченными для окружения, но не вызывали удивления. Люди успели узнать моё беспокойное отношение ко всему, связанному с электростанцией.

Я же, со своей стороны, в разговорах обосновывал их своей озабоченностью состоянием угля в бункере, а об остальном помалкивал.

Важно выбрать наилучшую позицию по отношению к предмету размышления. Чтобы понять коллектив, необходимо подняться над ним, охватить зрением его весь, сразу. Вид с высоты способствует этому.

Начиная с двухсотой ступени, я еще отчетливо различаю на фоне посёлка каждого человека, всё проглядывается в деталях ясно и четко. Вот выходит из станционных ворот человек, я узнаю его, вижу, куда он идёт, даже догадываюсь, зачем. Особенно легко угадать намерения работников станции, зная обязанности каждого из них.

С пятисотой ступени детали стираются, картина коллектива становится цельной; не видно выражения глаз, не слышно голосов людей, бьющихся каждый за свою эгоистичную правду. Передо мной возникают лишённые шелухи отношения людей в более или менее чистом виде, если словом «чистые» возможно характеризовать истинные отношения, порою весьма неблаговидные.

Вот ведь как получается, идёшь к угольному бункеру, а приходишь к калитке в сиреневый мир.

Это случилось на второй день после аварии. Брюханов с ребятами готовился к правке вала, а я ждал и молча наблюдал за Бугаевым. Я и раньше присматривался к нему, но исключительно из профессиональной любознательности: он опытный мастер по ремонту турбин, умел как никто здесь проводить их ревизию, и его опыт был для меня ценен.

Бугаеву сильно хотелось узнать о моих соображениях по аварии, и его тяготило моё молчание, он изводился этим. Я же скрывал свои мысли и открыто, даже демонстративно нагнетал напряжённость; тщательно изучал предметы, относящиеся к аварии.

Я вновь и вновь брал лабиринты, освещал их переноской, подолгу рассматривал, то есть безжалостно бил Бугаева в самые больные места, и это при всём том, что кроме подозрений у меня иных доказательств не существовало. Было лишь твёрдое убеждение о связи аварии именно с Бугаевым, но этого, разумеется, мало. В самом деле, ну тревожится и наблюдает за мной или дал ложную версию аварии, что с того. Это не доказательство.

Предположим, Бугаев взял да установил блоки обратной стороной, но ведь в монтажной бригаде его не было ни формально, ни фактически; лабиринты ставил конкретно слесарь Снугаев. К тому же, я не знал, кто их снимал после аварии. Допрашивать ребят я не осмелился: взаимоотношения аборигенов — дело тонкое.

Тем не менее, я решился.

«Будем подбираться двумя путями, с двух сторон, — подумал я, — стану накалять Бугаева, и еще хорошо за кружкой пива потолковать с ребятами, а еще лучше наедине с Мишей Брюхановым. Но это непросто. Брюханов, очевидно, не любит Бугаева, но это совсем не означает, что он пойдёт против него.

Мы — инженеры приезжие, как приехали, так и уехали, корней своих здесь не имеем, тем более таких глубоких, как у местных жителей. Нас держит закон, служба, хорошая заработная плата да льготы, а то бы, фьють, и в город. Только нас и видели. Душа-то у нас там, в городе; это видно и по разговорам, и по всему.

Другое дело абориген, он всей своей жизнью, тайгой, землёй, хозяйством, роднёй, друзьями, своей родословной так врос в эти места, что отделить его от них без крови невозможно. Он есть неотрывная часть здешнего мира, и без него этот мир не полон, а он без этого мира не человек, но кровоточащее больное место».

— Не могу я идти против человека, — повторил Брюханов.

— Даже если этот человек Бугаев? — спросил я.

Он помолчал, подумал и добавил уже менее убеждённо, почти неуверенно:

— Даже если Бугаев.

— Ты считаешь его хорошим человеком?

— Хороший, плохой, причём тут это!

— • —

Я находился где-то около четырёхсотой ступени, поднимаясь к бункеру и думая о своём, когда спину мою просквозил холодок опасности; я взглянул вверх и увидел человека.

Лестницей пользовались редко, и до сих пор не было случая, чтобы одновременно со мной спускался или поднимался ещё кто-то. Поэтому я удивился.

«Кто бы это мог быть?» — подумал я.

Сумерки в апогее и вот-вот должны перейти в ночную темь; пока еще оставалась слабая, тёмно-красного цвета полоска заката, да и та

быстро исчезала. Я узнал человека, когда между нами стало не более тридцати ступеней. Бугаев.

Одет, как обычно, в стёганые ватные брюки, ватную телогрейку и малахай с опущенными ушами; одежда ладно сидела на его медведеобразной фигуре. Спускался он не торопясь, твёрдо ставил ноги, обутые в кирзовые сапоги, на ступени, всякий раз проверяя их надёжность, не скользнёт ли нога, хороша ли опора.

«Да, Бугаев, всё-то ты делаешь основательно, — думал я. — Но однажды ты решил, что одной основательности мало для поддержания своего положения и… порядочно увяз. Что же ты удумал теперь? Случайна ли наша встреча, или тебя так допекло, что решил свидеться со мной без свидетелей? Тогда каковы твои намерения?»

Мы сошлись.

Лестница в этом месте проходит по очень крутому склону, почти обрыву; там и сям торчат тёмные с резкими очертаниями скалы, угрожающие гибелью оступившемуся человеку, более того, они сильно увеличивали опасность места.

В иных местах лестница, хотя и крута, но делает зигзаги, и если с неё шагнуть, возможно, плотно прижавшись к земле всем телом и используя малейшие неровности и кустарник, всё же удержаться без особого риска скатиться вниз, в обрыв.

А здесь, б-р-р! Для человека, сброшенного с лестницы, гибель была неотвратима и шанса на спасение не существовало.

— Наверх, Николай Васильевич, к бункеру?

— Туда.

— Да не ходите, смотрел я, уголь хороший, породы мало, рабочие отбросали.

На этом светский разговор исчерпался; не хватало еще о погоде поговорить. Для такого молчуна-сопелки небывалое дело столько наговорить. В другое время прошел бы молча и всё, а тут стоит, переминается с ноги на ногу. Видно, печёт сказать о деле, да не знает, как начать.

Дипломат хренов.

Я для него птичка не простая, он это понимает. Тебе хочется поговорить, а мне нет.

— Ну ладно, Пётр Денисович, я пойду всё же, погляжу, — сказал я и было двинулся вперёд.

Чтобы разойтись на лестнице, один должен встать боком и ужаться к перилам, а другой пройти тоже бочком. Я ступил на ступень выше, ожидая, что Бугаев пропустит, но он как стоял, так и остался стоять, преграждая мне путь.

— Ну как там? — слова исходили из Бугаева с натугой. Нет, не рождён Бугаев оратором, — как там с этими лабиринтами?

— Ты же знаешь, правим вал. Выправим, соберём, установим правильно лабиринты и запустим турбину.

Он помолчал, видимо, несколько сбитый с толку простотой ситуации на фоне всеобщей тревоги. Картина, нарисованная мною, выглядела слишком уж обыденной, лишенной эмоционального накала, в каковом, несомненно, пребывал коллектив и высокое начальство; просто немного обыкновенной работы и все дела. Всё, что ранее казалось ему значительным, и авария, и работа, и последствия, как бы потеряло смысл. Ничего такого.

— А чего всё смотришь на лабиринты, сомневаешься?

— Нет, не сомневаюсь, знаю.

— Это с прокладкой, что ли?

— Нет, прокладка тут ни при чем, — я не стал уточнять, пусть сам доходит, доспевает.

— Что знаешь? — просипел он.

— То же, что и ты.

Бугаев в этом диалоге перешёл со мной на «ты», чего с ним раньше не бывало. Явный признак того, что он решился; решение это захватило его целиком и стало подвигать на поступки. На «вы» его просто не осталось.

Я же перешел на «ты» намеренно, с целью показать свою решительность и что церемониться с ним я не намерен.

Бугаев сопел, как бегемот.

— Мне что знать, я турбину не собираю.

— Однако, любопытствуешь.

— Так начальство закултыхалось, надо выручать.

Вот тут весь Бугаев, самоутверждается. Благодетель, на выручку пришёл. Я сделал паузу, а затем медленно произнёс:

— Устроил аварию, а теперь хочешь выручить?

Кажется, я переборщил, но истерики он мне не устроил. Возможно, по той причине, что не знал о существовании этого понятия, или оттого, что получил слишком сильный удар.

— Как докажешь?

— Есть у меня доказательства, — сказано солидно, хотя и туманно, но он воспринимал всё, как есть.

— Барковскому не скажешь?

— Если станет надо, скажу.

Вот это я зря. Из моего ответа он поймёт, что о деле не знает никто, кроме одного Северова. Это уже информация.

— Теперь не скажешь.

Ну, кажется, всё сделано, чтобы он дозрел. Не чересчур ли? Бугаев сибиряк во многих поколениях, а сибиряки это почти этнос со своими традициями в решении своих жизненных вопросов; жизнь их сурова, как климат Сибири, и решают они свои дела часто так же сурово.

Кажется, началось. Неужели он решил меня пристукнуть? Это уж край. Я прикинул свои шансы. Разговоры в сторону, моё интеллектуальное преимущество, которое выглядело весьма солидным, можно сказать, на порядок более высоким, исчезло, теперь оно ничего не значит.

Я физически довольно крепкий человек, но не богатырь, а Бугаев кряжистый, как медведь, с медвежьей силой сорокалетний мужик, сохранивший всю свою первобытную мощь. Выражаясь в терминах бокса, мы с ним пребывали в разных весовых категориях. Несколько уравновешивала нас лишь лестница.

Я глянул вниз: да, падение здесь равносильно гибели.

— Ну что же, — сказал я, — уйдём оба.

— Нет, — ощерился он; на меня смотрел медведь, — уж как-нибудь с тобой управлюсь. Я с тобой не собираюсь.

— Однако, пойдешь, — с отчаянной решительностью сказал я.

Время остановилось

Тысячи лет философы, физики и прочие пытливые люди бьются над определением понятия «время».

— Что есть время? — вопрошают они и не знают ответа. От бога Хроноса через научные теории и до Эйнштейна пытаются они познать его суть.

В силу своей скромности и не утверждая за истину, а скорее для удобства изложения, автор предлагает своё видение этого загадочного понятия.

«Время, — предлагает он, — это причинно-следственное чередование событий», или просто «чередование событий». Это упрощение не меняет главного и не мешает пониманию происходящего действа.

Время течет медленно, когда человек ждёт прибытия поезда; он ждёт события «прибытия поезда», а его всё нет да нет. Разум в этой ситуации находится в режиме ожидания: событий нет, значит, время притормаживается. Ожидание — это пауза, бездействие между реаль-

ным событием (прибытием поезда) и менее значимыми реальными или виртуальными, то есть, созданными разумом идеальными образами бытия.

Время ускоряет свой бег, если человек опаздывает на работу; он в своём беспокойстве лихорадочно перебирает большое количество предполагаемых виртуальных событий, а это и есть быстрое время согласно нашему определению понятия времени.

Кроме сказанного, понятие «быстро, медленно» зависит от способности разума реального человека осмысливать события. Это течение его времени. Способность человека значительно усиливается, обостряется в критической обстановке, и он способен переварить большее количество событий и в подробностях, но это не у всех. Некоторые, напротив, впадают в ступор.

— • —

На меня прыгнул барс. Он всё рассчитал, и не было и капли нерешительности в нём. Даже хвост его во время прыжка от самоуверенности вальяжно наклонился в сторону.

В первую треть мгновенья я рассматривал барса, и, признаться, с интересом. Великолепный зверь, застывший в прыжке с выпущенными кинжаловидными смертоносными когтями и с мордой, оскаленной клыками; всё в нём нацелено на убийство меня.

Во вторую треть мгновенья я достал винтовку, вставил патрон и выстрелил.

В заключительную треть мне осталось лишь посторониться, чтобы не быть придавленным падающим мёртвым зверем. Дабы не испортить шкуру, я целился и, естественно, попал точно в левый глаз барса.

— • —

Бугаев, однако, стоял в нерешительности. Вроде приходил в себя; он вдруг осознал, к чему шло дело, и даже посерел. Он осел на ступеньку и дрожащими пальцами стал сворачивать папиросу.

Я тоже вытащил пачку «Беломора», взял зубами папиросу, чиркнул спичкой и закурил; я понял, что самое страшное позади, но держался в напряжённости.

— Да не бойся ты, — Бугаев, этот медведь, едва не плакал. — Нашло на меня такое, сам не знаю. Довёл ты меня.

Мы докурили свои папиросы и взяли ещё.

— Слушай, Пётр Денисович, зачем ты это сделал?

— Да не я это, пойми ты.

Я молча смотрел на него , ожидая продолжения.

— В тот последний день перед закрытием, когда ребята ушли, подошёл и стал рассматривать, что и как. Я ведь всё время приходил и наблюдал, думал, как бы я сам это делал; мучился я, что не поставили меня на монтаж. Ведь я человеком стал через дело; другие отработали и уходили домой, а я вникал, вот как ты.

До этого, как было? «Без Бугаева нельзя, спросите, что скажет Бугаев». А тут такое дело, монтаж, и без меня. Больше всех опасался тебя, вникаешь ты и не зазнаёшься.

Так вот, осталось только крышку цилиндров закрыть, лабиринты уже стоят. Я их снял, прикинул, вижу, поставлены неправильно, хотел исправить… и тут у меня в голове помутилось. Пусть, думаю, как стояли, так и стоят. Вот и оставил их, как было.

Он помолчал, видно, ожидая вопросы, но не дождался и продолжал.

— Пусть, думаю, начальство покултыхается. Думал, ничего серьёзного не произойдёт, однако покорёжит, и хочешь не хочешь вспомнят Бугаева, поклонятся ему, поймут, что без Бугаева им никак не обойтись.

«Кто же это установил обойму, кажется, Витя… Мы ведь полчаса толковали, как правильно ставить. Я даже насечку выбил, чтобы не ошибиться, — вспоминал я. — Но после аварии мне сказали, что лабиринты стоят правильно».

— Как же так? — спросил я Бугаева.

Этот рецидивист, этот медведь, интриган хренов только рукой махнул.

— Да я же снимал блок, я и перевернул, чтобы было вроде как правильно. Ты-то догадывался, я нутром это чувствовал.

Мы выкурили ещё по одной и окончательно пришли в себя. Бугаев оклемался; его ожесточение, этакое стихийное одурение прошло. Дикая дурь в глазах спала; он выглядел растерянным и даже грустным.

— Зябко, однако, — он передёрнул плечами, — пойдём вниз.

«Да и я промёрз», — подумал я и стал спускаться. Хотя накал прошёл, но опасение ещё оставалось. Мне очень хотелось поскорее спуститься вниз от всего пережитого, но так, чтобы Бугаев не заметил моей боязни и чтобы это не выглядело бегством.

Спускался, стараясь сохранять дистанцию между нами не менее шести ступенек, добрался до подножия и не оглядываясь пошагал домой. Все спали. Я присел к столу, вытащил четвертинку со спиртом, налил в стакан, медленно вытянул спирт, запил водичкой, пожевал сало и прилёг на кровать. Дрожь постепенно прошла. Тёплая волна обволокла голову, и меня понесло в страну блаженного тепла; медленно возни-

кали мысли и так же медленно уплывали прочь, и вскоре я погрузился в нирвану.

Проснулся поздним утром; окошко ярко освещено. Солнечные лучи расслаивались радугами в обледеневших стёклах и творили цветные мозаичные абстрактные картины. Сегодня воскресенье, в доме никого. О вчерашнем думать не хотелось.

Однако, думал. Как мне следует поступить в отношении Бугаева. Поступок его, безусловно, отвратительный, но он больше находился в области морали, а юридически…, ну пойду я к начальству, расскажу, предположим, мне поверят, но как я докажу его участие в этом грязном деле? На лестнице, будучи в шоке, он излил душу мне одному, а у начальства наверняка станет отрицать.

Рассказать товарищам, так он и тут станет отрицать, и в глазах людей лжецом окажусь я.

Остаётся надеяться, что судьёй ему станет его собственная совесть, но надежда эта слабая. Его мироощущение, понимание себя в коллективе, стереотип поведения делают его неспособным к самобичеванию. Опасаться меня он не будет: своей первобытной натурой он чуял, что ничего я не стану против него предпринимать в силу своей совестливости, возможно, и брезгливости.

Я не простил его и не прощу никогда. Видеть его не мог. Теперь при встречах я проходил молча; он поступал так же.

Жизнь продолжается

Жизнь тем временем продолжалась; мы правили вал. Хорошо всё обсудили, подготовили необходимые приспособления и инструмент, доложили о своей готовности отцам-командирам, получили их «добро» и приступили.

Вал обложили листовым жаростойким асбестом, оставив оголённым часть вала с противоположной стороны от горбыля, и стали бензиновой горелкой греть это место.

Мы не знали, как долго следует греть, поэтому часто приостанавливали работу и делали замер. После первого же замера мы убедились, что прогиб уменьшился, хотя и немного. Слава Богу, мы на верном пути.

Погрели подольше, замерили: прогиб уменьшился вдвое, хотя всё ещё оставался недопустимо большим. Так, постепенно, мы привели вал по биению в идеальное состояние, прогиб вала исчез как таковой. Оставалось, правда, опасение, что при прогреве турбины паром в рабочем

состоянии прогиб возникнет вновь, как бы возвратится, поэтому нервное напряжение, хотя и уменьшилось, но не отпускало нас.

Лабиринты снова ставил Витя. Я спросил его:

— Как?

— Как надо, Николай Васильевич!

Я подошел, осмотрел обойму, убедился в правильности её установки и громко вопросил:

— Кто хочет посмотреть?

Барковский в волнении с досадой махнул рукой. Крышка цилиндров низкого давления медленно пошла вниз; вот она накрыла лопатки дисков, затем сами диски и, наконец, лабиринтовую обойму, доставившую всем нам столько волнений и даже трагедийных ситуаций.

На пуск, кроме монтажников и шефов, снова собралось всё несчастное начальство. Взрыв радости потряс цех, когда турбина набрала свои номинальные три тысячи оборотов в минуту и никакой вибрации не возникло. Радость наша, выстраданная трудом и неудачами, получилась от этого ещё более значительной и полной.

Миша Брюханов подошел к турбине и поставил на крышку лабиринтового уплотнения гривенник ребром. Гривенник стоял на своём ребре, как приклеенный, и не думал падать. Этот нехитрый замер выставил работе высшую оценку в отношении вибрации.

Миша торжествующе поднял кверху большой палец. Турбина работала час, а гривенник стоял, как поставил его Миша Брюханов. И только тогда все дружно рявкнули: «Ура!», а машинист Михеев прослезился.

Бугаева среди нас не было.

Затем последовал еще волнующий момент синхронизации нового генератора с остальными турбогенераторами электростанции и подключение нагрузки. Здесь всё прошло, как по маслу: генератор принял нагрузку легко и мощно, как говорится, не вздрогнув.

Старушки-ветераны турбины «Юнгстрем» и «Броун Бовери» приняли новичка в свою семью и облегчённо вздохнули, а то они последнее время совсем задыхались и с трудом тянули нагрузку золотодобытчиков.

Пошли обычные доделочные работы: перебрали эжектор, устранили подсосы, где они не нужны, и улучшили, где необходимы. Эжектор, это аппарат, который поддерживает вакуум в конденсаторе, том самом, чертежами которого я так поразил и покорил Рубина в первые дни своего приезда в Лукарак.

Подшабрили баббитовые вкладыши подшипников, устранили утечки пара, да мало ли чего ещё выявляется при пуске турбины со всем её сложным хозяйством.

Но вот работы иссякли, турбоагрегат принял полную нагрузку и вступил, таким образом, в рабочий строй.

Монтажникам начальство дало три дня «на разграбление», как сказал Барковский, отпуская на заслуженный отдых. Разрядка всем была необходима.

У Стрельникова устроили тожественный обед; он недавно заколол корову и ожидалась свежатина. Закуски натащили всякой, а Вася Михеев приволок медвежатины, храня таинственное молчание об обстоятельствах её добычи. Сибиряки в этих вопросах люди тактичные, в душу не лезут.

Брага стояла в нескольких жбанах; присутствовал спирт. Вначале выпили спирта, а затем перешли к долгим беседам за брагой.

Бугаева среди гостей не было.

Общество разбилось на группы собеседников; о работе не говорили, но лишь о рыбалке, охоте, о таёжных событиях. Не обошлось без традиционного эксцесса. Жена Стрельникова Нина внезапно взревновала мужа и тут же влепила ему по физиономии. После чего успокоилась и включилась в беседу.

Молодёжь, и я в том числе, выпив как следует, ушли погулять, а солидные люди остались допоздна.

Ребята взяли ружья и принялись с наслаждением палить в стоящий на пригорке деревянный сортир, торжественно салютуя таким образом в честь победоносного завершения монтажа и пуска турбины «АЕГ».

Выпустили в него не менее десятка зарядов картечи, прежде чем кому-то пришла в голову хорошая мысль проверить, не сидит ли кто в сортире.

Командировали Колю; он отправился к сортиру, оглядываясь и опасаясь, чтобы ему самому не влепили в зад.

— Никого, — радостно доложил он, после чего мы с чистой совестью врубили в сортир еще десятка два зарядов. Мы бродили по посёлку, шутя и балагуря.

— • —

Вскоре после изложенных здесь событий судьба круто повернула меня на иной путь.

Рассказы

Мой Билли

У моего доброго приятеля Валентина живёт собака дог сука Дездемона. У меня бульдог кобель Билли. Обе собаки, как, впрочем, и всё живое, имеют достоинства и недостатки.

Как-то мы с Валентином необычно поздно засиделись за бутылкой портвейна «Три семёрки». Это только так говорится, «за бутылкой портвейна»; тема нашей беседы оказалась настолько сложной, что пришлось для достижения полной завершённой ясности усидеть не менее трёх бутылок упомянутого выше напитка. По правде сказать, выпитого, можно полагать, даже немного, если учесть серьёзность обсуждаемой проблемы.

Однако, к делу. Прежде всего, мы скрупулёзно выявили основные недостатки наших собак.

У суки Дездемоны: похотливость, толстый зад и белая отметина на лбу, порочащая благородную породу и ставящая под сомнение нравственность её предков по дамской линии.

У кобеля Билли: прожорливость, слюнявость и неприятный для некоторых людей облик морды.

По достоинствам мы с Валентином общего языка не нашли. Мы сильно любили своих, преданных нам питомцев и в силу этого оказались не в состоянии дифференцировать их достоинства, которые полностью охватывались нашими добрыми к ним чувствами.

Итак, после продолжительного всестороннего обсуждения и третьей бутылки мы приняли консенсусное решение скрестить наших любимцев. При этом мы почему-то были уверены, что недостатки родителей непременно исчезнут в потомках. Откуда такая уверенность, для меня тёмный лес; какое-то затмение. Тем не менее.

Технологических препятствий не предвиделось. Мой Билли — бравый пёс, всегда готовый к делу; у него по этой части, как говорится, не заржавеет. Дездемона, как уже сказано, своей похотливостью могла дать фору любой сучке.

Собаки справили своё дело, и мы с Валентином стали терпеливо ожидать результатов опыта.

В положенный собачий срок Дездемона разрешилась тремя щенками. Что с них взять, сосут молоко, и все дела. Какие там признаки, разве поймёшь? Мы рассматривали их, крутили, вертели; нет, следует набраться терпения. Единственно, что мы установили достоверно, хотя и с трудом, так это их пол. Две сучки и один кобелёк.

Кобелька мы назвали Билли, Билли Младший, а сучек, чтобы матери не было обидно, одну Дездой, а другую Моной.

Постепенно щенки приняли соответствующий своей наследственности облик и парадигму поведения, и мы с Валентином получили возможность подвести итоги опыта, определить, так сказать, сухой остаток.

Дезда обещала стать изящной собачкой, но, к сожалению, число белых отметин на голове достигло трёх, что окончательно ставило крест на чистоте породы.

У Моны отметин не стало, но зато зад обещал стать еще толще, чем у матери, и она призывно лаяла даже при отдалённом нахождении кобеля. Валентина это озадачило, и он слегка расстроился, но я учтиво успокоил его, сказав, что, по моему мнению, Мона, кажется, избавилась от порочащих породу признаков. Что же касается толстого зада и похотливости, то эти качества вполне приемлемы и для породистых собак. Мои суждения, кажется, успокоили Валентина.

Зато с моим Билли всё в порядке. Билли Младший получился вылитый Билли Старший. Хотя указанные ранее недостатки в его щенке даже усилились, я имею в виду слюнявость и прожорливость, но это меня совершенно не огорчило. Одно то, что щенок вышел таким похожим на папашу, меня просто умилило: ведь я так люблю своего Билли.

Прожорливый, ну и что же, прокормим. Слюнявый? Да, но такой милый! Морда? Ну, это как посмотреть. Цель опыта не достигнута? Подумаешь, какая беда, теперь я даже рад этому, в противном случае щенок оказался бы непохожим на Билли, которого я люблю так же, как он любит меня.

Валентин тоже рад, больше того, он уже намекает, что взял бы Билли Младшего себе, если, конечно, я не буду возражать. Мне же он отдаст Мону, оставив себе Дезду; шут с ней, с породой.

Видите, каким хаосом окончился наш эксперимент: рационализм пал перед истинными чувствами!

А теперь, простите, бегу за продуктами: Билли Старший и Билли Младший изнемогают, стонут от голода.

Наши братья меньшие

Эколог и видный член международной организации «Грин пис» Фридрихштангель Гусс Гаврилыч, швед русского происхождения и, по шведскому же обычаю, блондин, в очках с круглым, как ствол ружья, золотым ободком, в клетчатой куртке и шортах, хорошо прикрывающих часть его тела; ноги в ботинках на толстой каучуковой подошве и гамашах.

Гусс Гаврилыч в своей речи необычайно убедителен, и люди слушали его, раскрыв рты.

— Помните о наших братьях меньших, — прочувственно говорил он, и от его внутреннего одухотворяющего горения у висков справа и слева явственно проступали капельки пота, и выглядело это благородно.

— Отбросьте чёрствость, проявите к ним милосердие, будьте гуманны. Они живут на одной планете с вами. Они родились здесь, здесь жили их предки и, заметьте, значительно раньше вас. Увы, мы, люди, обладаем, в отличие от них, изощрённым и не всегда добрым разумом; при желании, мы в состоянии убить всё живое вокруг.

Кровь стынет в жилах, когда узнаёшь, что, скажем, тигров уже занесли в Красную книгу. Тигры ждут утешения; это очевидно и актуально.

— Ну с кем мы останемся?! — возопил Гусс Гаврилыч. Трудно убедительнее и глубже высказать эту мысль. Он остановился, чтобы перевести дух.

— Ступайте к ним, вашим меньшим братьям! — в сильнейшем экстазе трубно прокричал он. — Скажите им, что вы вместе, передайте им своё братское чувство. Идите с ними рука об руку по миру жизни.

Он много чего ещё сказал, но смысл его высказываний я, кажется, передал точно. Словом, Гусс Гаврилыч послал нас с великой и многотрудной, как предупредил он, миссией донести его слова до наших братьев меньших.

Чрезвычайно воодушевлённый, я тут же и приступил.

— Братья мои меньшие, бараны, червяки, слон и иные, — прочувственно произнёс я. К сожалению, я не мог собрать их всех вместе, и поэтому первое моё обращение получилось в пространство. Как репетиция к предстоящим беседам ещё куда ни шло, но само по себе в такой форме оно теряло смысл. Я понимал, чтобы слова доходили, следует обращаться адресно, непосредственно к личностям, собратьям, и для этого необходимо путешествовать.

Я бросил все свои дела, как несравненно мелкие, можно сказать, плёвые, в сравнении с грандиозностью и своевременностью пути, на кото-

рый нас позвал Гусс Гаврилыч, и отправился, как проповедник, к своим меньшим братьям. В обращениях, думал я, неизбежно придётся повторяться, оставляя в сохранности смысл и меняя лишь название брата, исходя из его природы.

Где пешком, где кораблём, где дирижаблем, где автостопом, я добрался до Аравийской пустыни и увидел верблюда. Великолепное животное! Верблюд в этот момент отыскал сочную колючку и не торопясь, смакуя, стал её жевать, однако, завидев меня, привстал в приветствии.

— Кто ты, о, чужеземец? — с очевидным любопытством спросил он. На Востоке любят общение.

Я назвался и, не теряя времени, обратился к нему.

— Уважаемый, верблюд, знаешь ли ты, что ты есть мой меньшой брат? — и я продолжил пылко в прежнем, известном смысле.

Верблюд вежливо, но снисходительно, сверху вниз, слушал меня. Он, вероятно, ожидал вестей из пустыни, и поэтому, не получив их от меня, был внутренне слегка раздосадован, а также недоволен тем, что я оторвал его от вкусной трапезы.

По мере моей речи он стал смотреть на меня даже с удивлением; прямо-таки рассматривал меня, как смотрит увлечённый натуралист на бабочку, наколотую на булавку.

По правде сказать, меня это несколько смутило, но не сбило с толку, и я продолжил своё.

— Уважаемый верблюд, — повторил я. — Знаешь ли ты, что ты есть мой меньший брат…

Верблюд надменно взглянул на меня и на мгновение окаменел, будто я сказал нечто несуразное, а затем с удвоенной энергией возобновил жвачку.

К несчастью, я не уловил, да и не понял значения этой перемены в настроении верблюда, ибо потерял обычно присущую мне бдительность. Я пропустил момент, когда он совершенно вышел из себя, энергично спешно накопил жвачку, да и харкнул ею точно в мою физиономию.

Ощупью и по памяти я отыскал источник воды и промыл лицо, после чего ощутил способность рассуждать.

— Странная реакция на мои слова, — думал я, — в чём же это я ошибся? — так и этак обкатывал я свои мысли, одновременно удаляясь от места, где меня постигла неудача. Я ещё видел вдали тощий зад индифферентно уходящего верблюда и размышлял.

Я более терпелив, чем мой меньший брат верблюд, и поэтому, несмотря на первый «блин комом», отправился дальше, чтобы донести до наших

меньших братьев всё моё добросердечие, чтобы их покинуло чувство своей малости и безысходности, чтобы отношения наши покоились на равенстве и братстве. Называние их младшими ни в коей мере не отражает с моей стороны высокомерия, а напротив, только нежное чувство брата.

— • —

Отару овец я отыскал в Казахской степи. Овцы немедленно сгрудились вокруг меня этаким интеллектуальным коллективом и, казалось, внимательно слушали; некоторые из них даже перестали щипать травку и одобрительно кивали с пониманием. Мне так показалось.

Чувствуя поддержку и понимание аудитории, я принялся с увлечением рассказывать о мерах, предпринимаемых человечеством по гуманизации процесса забоя баранов на мясо и шашлыки. Я обращался к их сердцам. Однако, вскоре я убедился, и притом самым печальным образом, в своей ошибке, но это позже.

Внимание овец было показным и хитрым ходом. Они усыпляли мою бдительность и, увы, добились своей цели. Увлекшись проповедью, я не заметил, как два особо крупных барана взаимно упёрлись головами и как бы общались.

— Этот придурок, — сказал один баран, — так увлёкся, что ни хрена не видит. Ты знаешь, что делать, начинай. Это мы ещё поглядим, кто из нас меньшой.

Он поощрительно поддал своему собрату пенделя под зад и произнёс таинственное слово «кам он».

Овцы внезапно оживились и уставились на меня с очевидным и всё возрастающим интересом; ну прямо дыхание у них перехватило от предвкушения чего-то необычного. Я же, простак, снова принял это на свой счёт и ещё более возгордился.

И тут один из двух вышеупомянутых баранов, кому было сказано «кам он», отошел от гурта, остановился позади меня, прикинул расстояние, разогнался и долбанул меня со спины своим низко опущенным медным лбом с крутыми рогами, аккуратно под мои коленки. Видно, это ему не впервой. Я пал, как подрубленный!

Овцы смеялись от души и, весьма довольные, тут же разошлись, чтобы продолжить своё мирное травоядное существование; спектакль был окончен, и они потеряли ко мне всякий интерес.

Я ещё полежал немного в размышлении и понял, что для овец всё это было вроде испанской корриды, но для людей. Там сначала смотрят, а потом закалывают быка.

— • —

Прежде чем беседовать с лошадью, я решил потренироваться с жеребёнком. Тот страшно обрадовался: ему показалось, что с ним хотят поиграть.

Он весело взбрыкнул, дал мне под дых задним копытцем и надолго выключил из служения долгу.

— • —

С великим трудом я добрался до Бразилии, и некоторое время отдыхал перед броском. Но вот я на приятной зелёной лужайке неподалёку от берега Амазонки. Подхожу к удаву (здесь удавов называют анакондами). Удав удобно свернулся в двадцать пять колец, выдвинул из середины вверх морду и немедленно принялся меня гипнотизировать.

Для справки. Удавы обычно гипнотизируют жертву прежде чем её сожрать. А подробнее, они вначале вводят в гипноз, потом удавливают и, наконец, заглатывают внутрь, пуская по телу и переваривая.

Убедившись, однако, что гипноз на меня не действует, как он сообразил, «ввиду вздорности этого человека», он потерял ко мне всякий интерес, развернулся из колец в длинную и толстую волнообразную трубу и удалился в сильнейшей досаде. Неудача уязвила его самолюбие.

— • —

Слона я отыскал в Индии на берегу Ганга. Он только что сбросил деловое бревно, облегчённо вздохнул и стоял по брюхо в реке, с наслаждением обливаясь водичкой. Тут же резвились слонята и тоже купались.

Слон слушал меня некоторое время с вниманием, но при этом он едва сдерживал смех, однако тщательно скрывал его, чтобы не обидеть человека. Добродушную свою мину, хитрые морщинки у глаз скрыть он всё же не смог, они выдавали его с головой. Затем, молча, он нежно подхватил меня под живот хоботом, бережно усадил к себе на спину и зашагал по просеке.

Он шагал, а я излагал ему свои мысли. Слон внимательно слушал.

— Меньших, меньших, — смеясь, согласился он. — Тебе удобно? Хочешь с ветерком?

Услышав мой утвердительный ответ, он зашагал быстрее. Я с чувством поблагодарил его, и впервые ощутил лёгкое сомнение в истинности взглядов Гусса Гаврилыча. Вот что я заметил определённо: самое типовое непонимание возникало, когда я называл своих братьев «меньшими».

— • —

Крокодила я обнаружил в Ниле, и только открыл рот с обычным душевным обращением, но замолчал, ибо обнаружил, что он меня предельно не слушает, а рассматривает с ледяным любопытством. При этом он, очевидно, испытывал сомнение — съедобен ли этот предмет и, в особенности, одежда с пуговицами. Словом, его интерес заключался исключительно в соображении, достаточно ли я съедобен, чтобы пожрать меня.

« Что толку сажать зерно добра в бесплодную почву», — подумал я и поспешно удалился и, кажется, своевременно. Я определённо заметил, что крокодил принял конкретное решение.

— • —

Как я ни крутился, но не смог обратить на себя внимание бегемота. Стоя по живот в болотистой воде реки Оранжевая, что в Африке, он бесконечно долго промывал свою вывороченную наизнанку пасть.

Я был настойчив, но добился лишь того, что бегемот степенно удалился.

— • —

Тигр, безусловно, нуждался в моей помощи. Одно то, что его занесли в Красную книгу, требовало моего вмешательства. Но поразмыслив и понимая, что хотя он, несомненно, мой меньшой брат и ему нужна моя забота, но не до такой же степени, чтобы я…

Словом, к тигру я не пошел.

— • —

Для встречи с медведем я отправился в Мариинскую тайгу.

В нескольких километрах от посёлка Макарак я услышал женский визг и увидел убегающих в панике ребятишек, а неподалёку молодого, но весьма крупного медведя. Миша комфортно и очень умело поедал малину: обхватив куст снизу, он протаскивал лапы вверх, так что в результате в его охапке оказывалась целая куча ягод, которыми он с очевидным удовольствием чавкал.

— Присоединяйся, братишка, — радушно, как к старому знакомому, обратился ко мне медведь.

— Да брось ты молоть чепуху, — оборвал он моё традиционное обращение, — кушай на здоровье. Нам с тобой скоро в спячку.

Он решительно принял меня за своего. Малина оказалась необычайно вкусна.

— • —

Я устал от путешествий и вернулся домой.

Мой верный Лукас, чистокровный Джек-Рассел-терьер, радостно подбежал ко мне, уложил лапы на мои колени, на лапах плотно устроил голову и смотрел на меня с великой любовью. Чувство его было столь велико, что не нуждалось в словах. Я поцеловал его в тёплую, нежного меха голову и сказал:

— Вот ты, Лукас, мой меньшой брат, истинно!

Но тут мой милейший и добрейший кот Васька, заметив такой порыв Лукаса, взревновал! Он решительно и где-то даже нагло протиснулся между мной и собакой, с коварной и очевидной целью оттеснить её от меня.

Добившись своего, кот запрыгнул мне на плечо и принялся нежно тыкаться своей башкой в мою щёку, и ещё он оглушительно замурлыкал.

Возможно ли убедительнее проиллюстрировать отношения этих двух милых животных и человека? Я сидел и старался не шевелиться, чтобы не нарушить идиллию.

— • —

Хотел смолчать, но врождённая честность возроптала. Признаюсь, мои симпатии и чувство долга распространялись не на всех.

В Африке я встретил шакала и, как ни старался, не смог расположиться к нему с добром, помня, как мерзко вёл он себя по отношению к Акеле в Киплингском «Маугли».

Шакал мне настолько противен, что даже мой долг оказался недостаточным, чтобы пересилить неприязнь к нему, к его гнусной роли, которую он играл в честных взаимоотношениях наших меньших братьев, живущих по законам джунглей.

Шакал жил по понятиям и пресмыкался перед тигром.

О спорте

Спорт — это та область человеческих интересов, где больше, чем в иных, случаются диковинные события.

— • —

Знаменитый тяжеловес, штангист и силач Битюгов поднял зараз две тонны металлического лома; тяжесть взвешивали точно, при свидетелях. И это несмотря на то, что лебёдка не была смазана.

В интервью многочисленным корреспондентам популярный ветеран спорта поделился секретом, сказав, что он использовал «золотое правило механики».

Его голос был услышан: многие, если не все, силачи Донбасса поступили в шестой класс вечерней неполной средней школы в городе Луганске и в настоящее время успешно учатся с целью усвоить суть вышеуказанного «золотого правила».

— • —

Известный в спортивных кругах ныряльщик Арнольд Шкудяков двенадцатого марта тысяча девятьсот восемьдесят шестого года пошел на рекорд в водоёме Битцевской зоны отдыха, что недалеко от Ясенева. Коллегия спортивных судей в присутствии прессы и многочисленной толпы зафиксировала уникальный результат: Шкудяков пробыл под водой, в общей сложности, двадцать восемь минут тридцать две секунды.

Рекордсмена похоронили на Восточной стороне Ваганьковского кладбища четырнадцатого марта того же года, участок № 67.

— • —

Жокей Бергердрышкин на жеребце Ослепительный (отец Фараон, мать Безделушка) продержался в воздухе два с половиной часа; он буквально парил над ипподромом в Тушине.

Как выяснилось впоследствии, всё это время они, то есть, жокей Бергердрышкин и жеребец Ослепительный, находились в аэроплане «Антей», который проходил последние лётно-ходовые испытания.

Жеребец чувствует себя хорошо.

— • —

Парашютист Удальцов, известный своей рассеянностью, в отличие от ранее совершённых прыжков, а их числится за ним более двухсот, на сей раз прыгнул с грузом на точность приземления.

По обычной своей рассеянности он пристегнул к тросу только карабин грузового парашюта и забыл про свой.

Груз приземлился отлично, с пустяковым отклонением от контрольной точки.

Медаль вручена младшему брату отважного рекордсмена.

— • —

Малоизвестный боксёр Мордогонов на областных соревнованиях нокаутировал уже в первом раунде мастера своего дела ветерана Свинце-

глазова, но весьма странным образом. В момент нанесения решающего удара обе руки победителя висели вдоль его втянутого, но мускулистого живота.

Старожилы-болельщики подобного случая не припомнят, а спартаковец Федя своим запоминающимся хриплым голосом и брызгая слюной однозначно отнёс этот бой в разряд сенсаций.

Представьте себе изумление рефери международной категории Коровкина и справедливый гнев болельщиков, когда при провозглашении победителя из-под правой руки Мордогонова выдвинулась вторая правая рука, а при тщательном осмотре — ещё две левых.

При подсчете количества рук не обошлось без трудностей: одни утверждали, что их одна, иные, что их четыре. Руки искусно выполнены из новейших материалов и тщательно смазаны техническим авиационным вазелином. Не вызывает сомнения, что изготовлены они на оборонном ракетном заводе.

Судья скороговоркой, скорее из формальности, зачитал правила ведения боя (во избежание недоразумений), где неоднократно упоминались две руки, правая и левая, но ни разу три, и, тем более, четыре!

К счастью, работал буфет, куда все и перешли, чтобы продолжить подсчёт; следует отметить высокое качество обслуживания, в немалой степени способствующее установлению истины.

— • —

Ипподром. На старте топчутся лошади, готовые рвануться вперёд, в скачку; маршрут изобилует рвами, заборами, водоёмами, барьерами и прочими препятствиями для лошадей.

Диктор объявил, колокол ударил, и действо началось.

Первой пустили аккуратную, стройную, красивую лошадку, кобылку Нерпу. Она исполнила короткий, больше по-цирковому лёгкий, воздушный круг и внезапно остановилась, непринуждённо, как балерина.

Затем, получив разрешение, она взяла все препятствия, ровно и безупречно. Так легко, что, окажись они вдвое труднее, то она и тут повторила бы всё так же легко. Нерпа, казалось, летела, лишь едва касаясь грунта, и не слышно было топота от её бега.

Так же легко и красиво она покинула поле, оставив многочисленных зрителей в восхищении и невольных улыбках от красоты увиденного; они долго шлёпали в ладоши и приветственно кричали.

Следующим выскакал мощный жеребец Горлопан и с маху сокрушил первую же попавшуюся ему на пути стенку, обратив её в пыль и прах. Не удовлетворившись сделанным, он сбил еще пару барьеров, неожиданно

удачно перемахнул через следующую стенку и с маху обрушился брюхом в ров, заполненный водой, выплеснув её чуть ли не всю далеко в стороны.

Не лошадь, а бегемот!

— • —

В селе Кантырёвка Чернского района Тульской области произошёл ужасный случай.

Кобыла Селезёнка, находясь в своей конюшне, ударом копыта, кованного знаменитым в тех местах кузнецом Пильгуевым, разделила череп предпринимателя, гражданина Утлова на две неравные части и перевела его таким образом в иное мировоззренческое состояние.

Случай невероятный по ряду причин.

Во-первых, кобыла Селезёнка считалась смирной лошадью.

Во-вторых, Селезёнка любила людей.

В-третьих, переведённый в иное состояние Утлов зашёл в конюшню впервые, да и то по ошибке.

Но самое поразительное заключалось в том, что прибила именно того, кто поставлял корм для лошадей, корм низкого качества, почти негодный для кормёжки.

Есть о чём задуматься.

К сожалению, человек Утлов скончался мгновенно, не успев обдумать свою порочную жизнь и покаяться.

Последнее слово на товарищеском суде

На кого главное общественное внимание? На мене, а ты, гад, за шиворот. Ты разберись, держиморда, кто даёт доход журналистам? Опеть же мы.

Крокодилы и там эти Перцы, Вожики… а сколько мы водки закупаем на троих и всяко. То-то же!

Вот ты, скажем, тверёзый, так значит, честный? А если нет? Чего глаза прячешь, боишься честного человека? Может, ты жулик какой, а тебе не трогают. Так что же, не пойманный — не вор? Так, что ли, получается?

Помню, был я тверёзый, так слышал с трудом. Мене уши всегда закладывает, когда я без того…

Ходил к нашему районному доктору, симпатичный такой, Крантов Иван Уарыч, так он мене вертел и так и этак, потом сказал:

— У тебя, Лулеев, пробки в ушах от этого дела, — и щелкнул по шее звучно.

Не помню, чтобы пробки в уши попадали, распечатываю всегда аккуратно, бережливо. Ну, скажем, это то сё, тогда почему легчает, прямо пробивает ухи, когда я выпимши? Так значит, на пользу?

Наука, медицина, то сё, а ты мне дал таблетки, чтобы помочь? Я поверил, купил, я их запивал, даже с перловой кашей употреблял. Ещё хуже стал слышать. Совсем заложило. А тут помогает; поперва, лёгкий звон по телу, потом слышишь.

Тут сынок сказал, что всё познаётся, как это, то сё, в сравнении. Жена моя Тося не нарадуется, когда я тверёзый. Так если бы я не закладывал, могла она понять разницу? Нет! Так што ж, я не могу ей, моей дорогой супруге, радость доставить? Хоть иногда, хоть раз в месяц!

А тут, какой разговор со мной ведётся? Какими обидными словами обзывают. Кто мене понимает? Я вам так скажу, никто мене не понимает и не желает понять. Только спрос один.

Во дворе у нас собака Полкан. Всё бегает. Животная, можно сказать, так он мене, этот собак, в морду рылом лизнул и лапу подал. (Всхлипывает). Вот теперь смотри, кто мене добра хочет.

Вот сидит, извиняюсь, товарищ милицейский лейтенант. Могу вопросик ему бросить, так сказать, на присыпочку, то сё… Ежели все мы с вами будем сознательные, то сё… так что вам останется делать? Уволют за ненужностью! Что вы тогда, извиняюсь, кушать будете, чем деток и жёнушек кормить?

Вот и выходит, не такой я бесполезный тунеядец, безобразник, как тут некоторые недруги мои злобно квакали.

Ну конечно, народ есть всякий, имеются жулики, так ты разберись. Вот этого брата и дави! Очень вредный народ. Прошлый год шёл с работы. Ну конечно, то сё (щелкает по шее), гы-гы. По рабочему делу. Мы без этого не можем. После трудового дня.

Проснулся за полисадничком, а шапки нет. Голова тут, а шапка отсутствует; шурин Колька под восьмое марта подарил, для смеха. Башковитый мужик. И грудовой карман пустой.

Или вот ещё, открыл глаза, сижу на скамеечке в парке возле Покровской стрешни, часов нет. Скажете, потерял? Так мне их кто возвернул? Как ни так. Небось, такой вот честный (он ухмыльнулся), увидев часы, небось, как поросёнок от радости завизжал. Скорее в лапу, да бежать. Честный. Может, он тут сидит, мене разглядывает.

Я это хорошо знаю, опыты ставил. Залёг однажды в канаве, привязал за нитку кошелёк, пустой, конешно, и бросил его на дороге. Сам за конец нитки держу. Умора! Ни один не прошёл равнодушно! Кажный норовил

ухватить. Шёл интеллегент, ну, думаю, этот не возьмёт, и верно, не взял. Только качнуло его как-то, повело, хотел, видно, взять, даже в лице изменился, но прошёл.

Я так скажу, в газетах люди пишут, дескать, надо пооткрывать закусерии, там, эти бары, чтобы, значит, человеку культурно выпить где было. Дай им Бог здоровья, этим людям, знают наши потребности, наши нужды.

Так вот, спросить, где эти бары, где закусерии? Почему молчание? Знак согласия, вот так. С нас спрос, так ты дай нам условия. А сейчас что? Трагический вопрос, где я пью, как я пью и чем закусываю.

Зайди в магазин и посмотри, ты не формалист, не бюрократ и желаешь во мне разобраться. Что мы делаем. Зайдёшь, ищешь хорошего человека. Если видишь — мятый, и дух от него густой, это сразу смело к нему чешешь. А если такого нет, стоим топчемся. Конечно, есть у нас навыки, есть смекалка. Ну там, за пуговицу держишься, или за ухо себя трогаешь, значит, знак подаёшь.

Разливают по пустым бутылкам. Негигиенично, может, чей ребёночек нагадил в тую бутылку или ещё что.

А обслуживание! Оно мене воспитывает, оно мене радость даёт? Неудобства, тесно. Никаких картинок воспитательных, надписей призывающих.

А как с нами обращаются! Вы мне скажите, кто вредней, который выпивает или сумасшедший? И какой за шизиками уход, занавесочки, халатики. Они больные! Кто сказал, Вы, бабушка? А если Вам, бабушка, такой больной, этот псих, шизик, погладит по горбу кулачищем, Вам, бабушка, легче, что он больной?

Они больные, а выпивающий не больной? Я лично, бабушка, грамотный, читаю «Работницу», «Технику молодёжи» и «Вожатый». Везде пишут, что это болезнь, в больницу кладут и лечат.

Они не понимают, а я должен понимать, да?

Ругаюсь грязно и нецензурно? Так ты отвернись, если такой нервный. Дети слушают? Что же, это я их должон слушать? Научатся и сами, так уж лучше от мене, я в этом деле фольклёр.

А ты не встревай, а то у выпившего человека терпение может лопнуть. Размахивал кулаками? Самозащита, оборонялся в дозволенных пределах. Вы что думаете, вон тот юноша с нежным румянцем на морде и пудовыми кулачищами, он что, своей дубиночкой мене шчекотал?

Да я после его шчекотки вдохнуть не могу, колет, и голова стала неправильная, а нога в коленном сгибе при ходьбе трещит, даже людям слышно. Не нога стала, а музыкальный ксилофон.

А какой опасности мы подвергаемся через наше состояние! Много недовольных кругом, ну ровно собаки на косточку сбегаются, так на нас недовольные.

Ну, конечно, мир не без добрых людей, всё найдётся, кто вступится. Возьмут тебя за грудь, и тут же иной скажет:

— Так человек же выпимши, что связались с ним, не трогайте!

Или:

— А с вами не случается так? — и это действует, У всех, видно, рыло в пуху.

Им, сердобольным, из-за нас тоже достаётся. Зашел однажды в универмаг на Октябрьском поле, прохожу по рядам. Ну, конешно, локтями гребу, а из глотки у меня, от простоты душевной, разные звуки вырываются. Я в этом деле, признаюсь, страдаю недержанием. Женщин, конешно, толкаю, ну там и старушку. Я, когда выпимши, остро вижу, не дурак, здоровенных обхожу. Словом, гражданку, мамашу одного молодого человека зацепил, так тот пискнул, «оскорбление, дескать, зачем я толкаюсь, какое имею право!» Ну я на него гаркнул, показал право, так он, вроде, маму за руку и тикать.

Но тут смотрю, один парнишка разворачивается и хрясь мне по морде. Треснул, так сказать, без предупреждения и вступительных слов. Я с копыт. Лежу, не встаю, вроде как прибитый. Знаю, быстро встать, он ещё врежет, подумает, что мало, а так, думаю, ему ещё за мене дадут. Но он проворный оказался, да ещё обозлённый, видно, я промашку дал, его мамашу толкнул.

Он ко мне, за ворот приподнял, да ещё; здоровый, гад. Я вскочил да бежать. Тут общество сразу против меня, фокус мой сорвался.

Спасибо тётке, толстомордая такая, в проходе стояла, видно, жалостливая.

— А что ты его бьёшь! Он тебе что изделал? — это она на парня.

Прямо сладкая музыка для меня эти её слова.

Как на неё набросились! А я убежал, спасибо ей, спасла она мене.

Психотерапия

В палату вошел доктор в зелёном халате и накрахмаленном колпаке. Я приподнялся на постели в ожидании осмотра.

Ещё в дверях он остро взглянул на меня и притормозил, лицо его выразило отвращение.

— Вы скверно выглядите, — произнёс он глухим голосом, — впрочем, это вполне естественно, при Вашем-то состоянии.

Он сделал ударение на последнем слове, и этим ввёл меня в совершенную растерянность. Я уж собирался юркнуть от безнадёжности под одеяло, однако, он подошёл и уселся на стул возле меня, правда, с некоторой дистанцией, не вплотную.

— Вы какой-то жёлтый. Желтопузик! — неожиданно сострил он, отвернул мою рубашку и глянул на обнажённый живот. — Да нет, мне показалось, — с очевидным разочарованием сказал он. — Я было подумал, у Вас, сохрани Господи, желтуха, по-научному «болезнь Боткина». Вы у меня с чем лежите-то? — спросил он, но тут же замахал руками. — Да знаю, знаю. После аппендицита и, так сказать, хирургического вмешательства.

— У нас ведь как, лежишь с одним, а дуба даёшь совсем не от этого, — пояснил он и вздохнул. — Всякое бывает, нагляделся.

— Как у нас с температуркой, мерили?

— Нормальная.

— Странно, вид у Вас того, какой-то прибитый. Между прочим, в Китае термометр суют в рот, а детям в попу. У нас, полагаю, гигиеничнее, а то перепутаешь, да после попы в рот. Всё же неприятно, хотя и ничего страшного, — доктор даже сплюнул. — Всякое бывает в нашем деле.

— Болит, говорите?

— Болит.

— Болит или побаливает? Вы изложите свои ощущения поточнее. Я же не рентген, насквозь не вижу.

— Болит.

— Ну это, возможно, операционная ранка даёт о себе знать. Возможно, плохо зашили или, не дай Бог, что оставили. Всякое бывает, — он вздохнул.

— Чего только не видел-перевидел. Одному зашили резиновую хирургическую перчатку, совсем ещё новую. Так и жил бы человек, дай ему Бог здоровья, с перчаткой во внутренности, так хирург хватился. Нет перчатки. Обыскался. Спрашивает у сестры:

— Таня, сколько перчаток оставалось после операции?

Та думала, думала, аж лоб напрягла. Девица легкомысленная, всё о другом, более приятном думает.

— Три, — отвечает.

— Как три, у меня их всего-то две было!

— Чего только не бывает, болит, говорите? Я теперь после каждой операции по перечню сверяю, что было и что осталось. Наша работа порядок требует.

— Болит, говорите? — он ощупал мой живот, слегка нажал пальцами. — Нет ничего излишнего, — он вздохнул.

— Болит, говорите? Можно дать Вам обезболивающего. Только если у Вас там абсцесс, то боль приглушит, а радикально не поможет. Попробуем вколоть Вам синеразол, но, сказать по правде, синеразол это палка о двух концах, может помочь, а может того. Сами понимаете, не маленький, скрывать не стану. Теперь это не принято. Даже не знаю, что с Вами делать.

— А риск большой? — робко вклинился я.

— Да пополам, — откровенно сказал он, — ума не приложу.

Он глубоко и надолго задумался.

— Доктор, а почему у Вас халат зелёного цвета?

Доктор одобрительно рассмеялся:

— А Вы молодец, Вас голыми руками не возьмёшь. Желтопузик! — он ласково ошлёпал мой живот и что-то пометил в тетрадке.

— Всё будет о'кей! — и ушёл.

«Хороший человек этот доктор», — подумал я и успокоился.

Радикулит

Краткая рекомендация

Если Вас поразил приступ радикулита, не дёргайтесь и не спешите от него избавиться. Это невозможно. Не таскайте тяжести, ну там, килограмм—два, но не более. Много ходите, длительно, но без груза. Не пытайтесь физическими упражнениями ускорить заживление: этим Вы ломаете организм, и всякие неловкие движения лишь усугубят болезнь.

И вот, в указанном режиме дня через три, четыре, семь Ваше тело в больном месте примет нормальное положение, и боль уйдёт.

— • —

Радикулит загнал мне в поясницу раскалённый гвоздь, в аккурат на приседании, в крайнем нижнем положении, пронизал спину электрическим ударом, перехватил дыхание, распял.

Момент эпохальный; он стал для меня началом новой жизни. Многое, ранее обыденное, стало недоступным: ходьба, надевание брюк, завязывание ботиночных шнурков и прочее, связанное с кинематикой тела.

Теперь для меня возможны, хотя и с горем пополам, три статических положения тела в пространстве: я мог стоять, сидеть и лежать, но всё

это в неподвижности. Переход в иное положение, а равно любая смена позы, молниеносно карались электрическим парализующим ударом в поясницу.

Практически невозможно лечь из положения стоя без ряда промежуточных движений. Я ухитрялся реализовать этот переход, затрачивая массу времени и используя природный, внутренний, сохранённый в генах тысячелетний опыт мириад предшествующих поколений.

Скажем, сумел лечь, осторожно утёр пот со лба, и вроде лежи себе, отдыхай. Ан нет! Лежать тоже больно, и чем дольше, тем хуже и нестерпимее, а затем вовсе невмоготу.

Кажется, если лечь на другой бок, станет легче, но чтобы повернуть тело вокруг продольной оси хотя бы на плёвые десять градусов, необходимо напрячь мышцы, и этого напряжения достаточно, чтобы ойкнуть и застыть с вытаращенными глазами. Но повернуться-то надо, и попытки следуют одна за другой вплоть до достижения хотя бы промежуточной цели.

Я облегчённо вздыхаю, но, увы, ненадолго. Не пройдёт и четверти часа, как вышеописанные муки начинаются снова. И так всю ночь!

Жду утра, как избавления, однако то, что ожидает меня утром, ещё гаже; гаже и ужаснее. Всё познаётся в сравнении. Оказывается, встать с кровати мучительнее, чем лечь. Вставательные страдания моё перо выразить не в состоянии; здесь требуется более талантливый автор.

Могу лишь засвидетельствовать, что когда, покачиваясь и дрожа от пронизывающих насквозь многочисленных болей, которые сливаются в одну необъятную, я обнаруживаю себя в вертикальном положении, то, честно, не верю в это.

Одеваюсь долго и мучительно, о бритье и не думаю, какое бритьё! Умываюсь одной ладошкой; кидаю водичку в сторону лица, стараясь не потрясти тело. Вода попадает больше на живот, ведь согнуться невозможно.

О страданиях в туалете умалчиваю ввиду деликатности предмета.

Но вот, всё это позади, и я выхожу из дома. Выхожу!

Посмотреть бы на эту карикатуру со стороны. Походка радикулитчика особенная, уникальная и неповторимая. Она состоит из волнообразных движений фигуры вокруг раскалённого гвоздя, вбитого в поясницу. Она отвратительна!

— Куда ты крадёшься? — спросила баба Вера, повстречавшись со мной у магазина. Более точного определения невозможно придумать.

Именно крадёшься! Позор для офицера, воина. Я тогда служил в генштабе.

На улице мой вид вызывал у добрых людей жалость. Меня без труда обгоняли древние старушки на костылях, при этом они оглядывались и сочувственно смотрели. Однажды приятный молодой человек предложил мне помощь, которую я с достоинством отклонил.

В метро, с его жестокими законами, меня безжалостно пинали, сжимали, да еще выговаривали за медлительность в движении и неповоротливость. Я со своей стороны неизменно пребывал в творческом поиске оптимальной позы, то есть, наименее болезненной, и если удавалось найти, я держался в ней и застывал, как гипсовый. По отношению ко мне можно было говорить любые гадости, насмехаться, подстрекать на движение, щекотать… всё напрасно, я оставался недвижим и наслаждался покоем.

Любая самая заслуженная, обвешанная медалями охотничья собака позавидовала бы моей выдержке.

Некоторые люди жаждут страданий. Если уж им так невтерпёж, советую им схватить хороший поясничный прострел. Это несложно. Достаточно хорошенько вспотеть и быстренько подставить спину под холодный сквознячок. Если это не поможет, можно поднять тяжесть и подержать её перед собой с рывочком, не плавно. Хорошо эти приёмы совместить. Может получиться прекрасный результат.

Радикулит достаточно подхватить один раз, и он Ваш навсегда. Как сказал мне врач: «От этой болезни не умирают, но если умирают, то вместе с ней». Для сведения и некоторого утешения можно добавить, что им болеют, преимущественно, интеллигенты; впрочем, кто в наше просвещённое время не причисляет себя к оным.

Мои дети меня оберегают, снимают носки, пижаму; они видят моё состояние. Но дитя есть дитя. Когда я застываю в одной из поз, Дима не может удержаться от проявления нежности: он прыгает мне на спину, и тем повергает меня в плачевное разрушительное состояние. Я, однако, не обижаюсь и стойко сношу.

Лечусь различными снадобьями и методами, не брезгуя ни одним:

— Парюсь в ванной с горячим раствором.

— Ношу вокруг поясницы медный обруч и не снимаю его даже в бане.

— Набиваю мешочек чугунными стружками, поливаю их уксусной эссенцией, и пока идёт бурная реакция с выделением тепла, держу на пояснице.

— Парю ноги свежим лошадиным помётом, замешанным в тёплой воде.

— Ношу пояс из верблюжьей шерсти.

— Жена гладит утюгом мою поясницу через мокрую суконную тряпочку.

— Натираюсь змеиным ядом.

— Ежедневно мне делают укол в зад и жгут поясницу кварцем.

— Не ношу резиновую обувь.

Изредка становилось легче, но ненадолго, и надежда сменялась разочарованием; постепенно я, однако, стал даже привыкать к страданиям. «Не всё безнадёжно», — со временем понял я. Изобретают новые методы, наука ищет.

В одно из обострений приступа (провались он пропадом) меня навестил Леонид Баранов, подполковник.

— Привет от члена общества закоренелых радикулитчиков, — весело, опасаясь, однако, потрясти моё тело рукопожатием, произнёс он. Небольшого роста, рыжий, он держался, в смысле осанки, чрезвычайно прямо, как бы бросая вызов своему недугу.

«Орёл, — подумал я, сравнивая себя с ним, — истинно орёл».

— Как перцовый пластырь? — осведомился он.

— Как тебе сказать, пока держал, вроде приятно, а так улучшения не ощущаю. Двое суток держал, теперь не знаю, как снять: на теле-то волосы, а он приклеился наглухо. Отдирать-то с волосами, ой-ой-ой.

— Тоже мне проблема! Ты его спори!

— Как спори?

— Как портной распарывает костюм, бритвой подрезай волосы. Так и пори.

— Лёня, ты гений!

— А то!

Я верю в Леонида и не теряю надежды. Он дока в нашем деле и, главное, упрям, как пень, если сказал, что вылечит, значит, вылечит. Верю.

— Нда, значит, улучшения нет?

— Нет, — печально признал я. Он задумался.

— Вот что, есть у меня одно средство, но… — он с сомнением глянул на меня. — Не хотел я, но раз уж так получается, надо попробовать, а впрочем, нет, не стоит.

— Почему, — заволновался я, — тебе что, жалко для друга?

— Для друга мне не жалко, только, боюсь, не выдержишь ты, больно оно того! Сильное.

— Лёня, дорогой, я терпелив, как… я выдержу.

— Это ты сейчас так говоришь. Ну, смотри!

Через день я держал в руках бутылочку со снадобьем омерзительного мазутного вида с плавающими белыми шариками.

— Намажь, значит так, ты им не увлекайся, — он назидательно поднял палец и повторил уже сказанное.

— Как почувствуешь, что тебе кранты, смывай спиртом. Перед употреблением подогрей, — и ушёл.

Вечером я тайно проник в кухню и поставил склянку в кастрюлю с горячей водой. У моей жены, как, впрочем, у большинства женщин, обострённая способность обнаруживать то, что от неё хотят скрыть.

— Что ты делаешь! — отчаянно закричала она. — В этой кастрюле мы варим Димочке кашу, а ты ставишь свою отраву. Могу тебе выделить бельевой тазик, и вообще, иди в ванную. Там можно.

Я налил в тазик кипяток, осторожно опустил пузырёк и напряжённо наблюдал.

По мере подогрева бурда зашевелилась, белые орешки стали растворяться, по квартире пошел странный запах, мягко говоря, зловоние. Когда орешки полностью растворились и содержимое стало однородного глубоко фиолетового цвета, я решил его помешать.

Едва я вставил деревянную палочку в горло бутылочки, как всё это взорвалось. Горячее и едкое брызнуло мне в лицо, в глаза, и я временно ослеп. Крадусь к крану, ищу его наощупь, как слепец, тыкаюсь руками, наткнулся на жену. Она приняла это за мою очередную неуместную шутку. Рассердилась жутко. Мне же не до психоанализа причин её недовольства.

Подставил физиономию под кран, под полный напор, пытаюсь промыть глаза и вообще личность. Задыхаюсь без кислорода, но терплю. В спешке не учел, что вода-то холодная, и парафин, входящий в состав снадобья, не смылся, а, напротив, застыл на моём личике. Прямо маской залепил меня, как фараона Тутанхамона. Реально ощущаю себя восковой фигурой, а духовно прихожу в невменяемое состояние ввиду ненахождения путей к спасению.

Одновременно слышу, где-то сбоку меня ругает жена, но она мгновенно остолбенела, едва только глянула на меня.

— Если бы не знала точно, что это ты, нипочем не признала бы. Жуткая фигура!

Я же не могу оглядеться, понять происходящее и объяснить жене.

Сориентировался. Промыл лицо горячей водой, собрал в бутылочку драгоценную жидкость, вернее, остатки её из тазика. Не смешиваясь с водой, она плавала фиолетовой амёбой, то вытягиваясь колбаской, то

собираясь в шар. С бутылочкой в руке я отправился в спальню и попросил жену намазать мне поясницу этим препаратом. Я лёг на живот и, пока она смазывала, упорно фокусировал взгляд на белую пуговицу наволочки.

Действие препарата я ощутил сразу; оно оказалось весьма убедительным. Вначале приятное тёплое жжение, мягкое, но проникающее. Как раз такое, по которому истосковалось моё изболевшее тело. Постепенно, однако, действие усиливалось, и очень быстро из приятного стало переходить в болевое, но я, заранее проинформированный Леонидом, знал, на что иду, и был психологически готов ко всему.

«Замечательно, — говорил я себе, — именно таким оно и должно быть. Клин надо вышибать клином».

Минут через пять я начал осознавать серьёзность предупреждения об опасности применения этого бальзамчика; Леонид, как всегда, прав.

Лекарство раскалённым железом впивалось и рвало моё тело на куски, как хищная амазонская рыба пиранья неосторожного туриста. Оно било по суставам и распиливало кости.

Я спросил жену, не слишком ли толстый слой она в меня вмазала. Она ответила, что нет. Лечение шло через страдания, и следовало лишь укрепить свой дух, чтобы выдержать и приспособиться, а мой опыт на этом поле немалый.

Укрепить душевный настрой, вот что мне необходимо, а именно: думать о весёлом. Такой вектор настроя позволит мне сохранять рассудок, по крайней мере, ещё минут десять.

Я мысленно прошёлся по кинокомедиям «Операция Ы» и «Кавказская пленница», а когда добрался до «Самогонщиков», то даже рассмеялся страдальческим смехом. Позже жена сказала, что я выл. Видимо, физические страдания и весёлое зрелище суммировались в виде воя.

Жена смыла мои мучения с помощью одеколона. Я ощутил лёгкость в членах и явные признаки выздоровления.

Наутро состоялся серьёзный разговор в связи с обилием рыжих пятен, которые въелись в наш деревянный пол, вернее сказать, вросли в него. Я тёр его песком и чистил с содой, посильно пытаясь избавить нашу красивую квартиру от этой ядовитой рыжей гадости. Наконец, я выпрямился, заметьте, выпрямился! и торжественно произнёс:

— Давно наш пол не был таким чистым!

Ах, как это было неосторожно с моей стороны! Конечно, жена восприняла мои слова с совершенно иным смыслом, чем тот, который я в них вкладывал.

— • —

Я позвонил Леониду и доложил о результатах лечения.

— Это хорошо, — сказал мой спаситель, — хотя есть ещё один способ. Хорошо помогает компресс из резинового клея типа «Калоша». Снять компресс возможно керосином, в крайнем случае, мазутом. Средство сильное, но следует соблюдать осторожность и меру. Клей «Калоша» не только лечит, но и разъедает зад, так что более четырёх минут держать категорически запрещается. От зада ничего не останется.

Ты эту «Калошу» держи в загашнике, не торопись, а пока закрепи успех упражнением. Оно очень эффективно, называется «Собака». Следует встать на четвереньки и производить разминку поясницы движением таза: вначале небольшими по амплитуде и осторожными, а затем всё более размашистыми кругами.

Когда тебе и твоим близким это упражнение надоест (смотреть на тебя им будет довольно противно), начинай следующее движение, подобное тому, какое совершает собака, проползая с улицы во двор через подворотню.

— Это упражнение очень полезно и несомненно понравится окружающим, особенно детям. Не обращай внимания на критические замечания. Делай своё дело, облегчение последует обязательно, и польза станет очевидной.

Леонид ушёл, исполнив свой долг друга и доброго советчика, а я остался с надеждой и благодарностью к нему.

— • —

Моё отношение к официальной медицине среднее, без преклонения, хотя и ею не брезгую.

Вчера приходил за девятым уколом.

— И когда только эта мука окончится? — обратился я за сочувствием к медсестре, пока она готовила шприц.

Сестра хищно вонзила шприц в мой зад и ответила:

— Ещё одиннадцать уколов, и всё.

— И я выздоровлю?

— Нет, но зато избавитесь от уколов.

Втыкала не глядя, но ухитрилась попасть. Одновременно она болтала с подругой, стройной соблазнительной девушкой с удивительно гармоничной и красивой, как у лебедя, фигуркой; ей, к тому же , очень подходил ослепительно белый медицинский халат. Девушку лишь слегка портила улыбка, словно наклеенная на лицо.

— Сделайте уж и второй укол, всё равно я пришел, — сказал я сестре, — да и действие усилится.

— Я Вам не лошадь! — отрезала сестра, выдёргивая шприц и смазывая наколотое место йодом. — Придёте завтра! — затем ехидно сказала красивой девушке:

— Варька толстая, как крокодил, а туда же, мечтает выйти замуж.

Никогда не думал, что крокодил может быть толстым, даже если он жирный, но в данном случае важна выразительность, а она достигнута.

— • —

Для человека, страдающего радикулитом, чрезвычайно важна манера поведения. Со своей стороны могу дать совет.

Если, к примеру, приступ схватил Вас на танцах или в театре, не теряйтесь. Совершите несколько десятков круговых движений тазом одновременно с приседаниями, закрутите голову, а затем достаньте пальцами рук носок правой ноги и носок левой.

Поднимите руки повыше как только возможно, до хруста. Покрутите головой; глазами вращать не следует. Это трудно, но проявите трудолюбие, для Вашей же пользы.

При этом Вы всё же не забывайте приличий, не превращайте своё поведение в цирк. Во всяком случае, если Вы в театре, Вас не поймут.

Сендерс

Кузьма Григорьевич Пидоренко — седой пенсионер низкого роста, плотный, как куб, но не жирный, часто выезжает в лес на мотоцикле с коляской, имея в последней супругу Софью Ивановну и различный инвентарь для заготовки грибов.

Софья Ивановна — компетентнейшая собирательница грибов и талантливая непревзойдённая мастерица по их заготовке. Даже самые простые, извините, сыроежки в её приготовлении приобретают непередаваемый вкус и аппетитность. Сам Кузьма Григорьевич из указанных талантов жены обладает лишь одним — он по достоинству оценивает качество приготовленных ею грибов и берёт на себя основное их потребление. И ещё он транспортное средство.

Однажды он потерял Софью Ивановну в лесу и долго искал её. Грибники его утешали. Одна дама сказала:

— Найдёшь помоложе, — другая, однако, добавила:

— А что толку, всё равно постареет.

Софья Ивановна нашла его сама.

— Ты где была? — приступил к допросу Пидоренко.

— Притомилась, задремала. Гляди, Кузя, какие боровички.

Любил Кузьма Григорьевич играть в преферанс. Карты он держал в растопыренной мясистой пятерне очень ловко; быстро и сноровисто выдёргивал нужные и, делая ход, шлёпал картой об стол. За игрой обычно помалкивал, но молчуном назвать его было нельзя. На его простом характерно белорусском лице постоянно блуждала хитринка, дескать, я прост, да не простоват, и мы с усами.

Однажды вечером Пидоренки сидели у Самарских, соседей по лестничной клетке, с намерением сыграть в преферанс. Ждали партнёров, а пока тихо выпивали, закусывали и приятно беседовали.

Кузьма Григорьевич по своему обыкновению молчал, но выпив рюмку водки и закусив грибком, он выразительным жестом попросил замолкнуть свою супругу и стал рассказывать.

— В молодости поехал я по курсовке в санаторий Ливадия в Крым. Еду на пароходе. На мне белый костюм и белая шляпа. Всё больше сижу в качалке на палубе и читаю газету. Подходит ко мне матрос и просит пройти к капитану. Пошёл. В каюте трое и капитан в их числе. На столе лист белой бумаги и карты, а в углу каюты буфетик. Коньяки, вина разные и закуска.

— Не хотите ли составить компанию в преферанс? — учтиво обратился ко мне капитан. — Ставка 0,5.

Я уже и тогда играл. Ну, думаю, хотя денег у меня немного, но при умеренной игре по 0,5 много не просажу.

— Что ж, — отвечаю, — делать всё равно нечего, с удовольствием, — садимся.

Играю бережливо, не лезу, но и своего не упускаю. Короче, закончили пульку. Я вижу по итогам, рублей шесть я выиграл, но поскольку в процессе игры выпивал и закусывал, деньги решил не брать. Встал, поблагодарил, прощаюсь.

— Возьмите выигрыш, — говорит мне капитан.

— Ну что Вы, — говорю, — неудобно, я же выпивал и закусывал.

— Вы, молодой человек, деньгами не разбрасывайтесь, — строго произносит капитан и вручает мне шестьсот рублей.

Оказывается, ставка 0,5 не копейки, как я привык играть, а рубля! Вот это да! А если бы я проиграл? Теперь, когда результат игры был известен, у меня что-то подкатило к низу, вроде расстройства. Вот как.

Выпили ещё по рюмке. Лицо его потвердело, а глаза стали прозрачные. Он снова сделал жене знак молчать.

— Пришлось мне охотиться за дрофой…

— Только ты покороче, — Софья Ивановна смотрела на него с обожанием, только боялась, что слушатели могут заснуть.

Однако, несомненно интереснейшие подробности охоты Пидоренко на дроф остались обществу неизвестными, так как прибыли давно ожидаемые партнёры и следовало начать приготовления к игре.

Известно, что злейшие враги преферанса — жена, скатерть и шум. Поэтому со стола убрали скатерть, выключили радио, а женщины ушли в другую комнату и там пили чай и разговаривали.

Компания собралась уникальная. Трудно представить себе людей, настолько разных по натуре.

Грузный, с приятным добродушным лицом Василевский, моряк и начальник местного речного порта, моложавый и очень любезный Самарский, управляющий городским банком, сухощавый, высокий с глазами судака и поджатыми губами Сендерс, бухгалтер ветеринарного склада, и, наконец, известный нам Пидоренко. Поляк, русский, еврей и белорус.

Все люди пожилые, за исключением Василевского, которому не исполнилось и шестидесяти лет.

Общим для всех было наличие солидного опыта игры в преферанс.

Сендерс играл в городском игорном клубе ещё при государе императоре Николае Втором, и его безоговорочно почитали как патриарха, академика и авторитета преферанса.

Самарский когда-то, ещё до революции, пел в церковном хоре, был замечен и принят в солидную компанию. Он прошёл суровую школу игры в обществе двух священнослужителей и известного Камышинского купца первой гильдии Ивана Шерстобитого.

Василевский прилично играл в преферанс по той причине, что его моряцкая служба отличается всякого рода вахтами да рейсами, паузами да ожиданиями. Так что, без какого-либо увлекательного занятия можно сдвинуться умом, а уж отупеешь наверняка.

В послужном списке Пидоренко не было такого фирменного прошлого или чего-то особенно замечательного, но преферанс он обожал и играл всю жизнь в самых разнообразных компаниях.

Разлиновали белый лист бумаги, и игра началась. Играли без жадности, получая удовольствие от самой игры, требующей смекалки, выдержки и огромной интуиции. Игра сопровождалась дежурными преферансными понятиями, шутками, изречениями, терминами. Все эти слова про-

шли испытание временем, обкатались, всё лишнее было отброшено и забыто, а оставшееся выглядело совершенно шедеврами, подобно иным плодам народного творчества.

Человек, незнакомый с преферансом, приходит от этих жемчужин фольклора в восхищение и слушает с наслаждением. Но для опытного преферансиста они необходимы в качества преферансного языка, ибо замечательно отражают все тонкости игры до самых глубин, которые невозможно выразить обычными общечеловеческими словами.

Правила игры соблюдали свято; малейший справедливый намёк принимали чутко, а нарушение устранялось немедленно и беспрекословно.

Обедню, однако, портил Василевский.

Он был из тех людей, на которых в силу их симпатичности трудно сердиться. Он пользовался этим и допускал такие нарушения, какие никому другому не простили бы. Он забывал записывать штрафы на гору, а при намёке начинал придуряться. Кричал, что к нему придираются, а никаких нарушений за ним нет. Он ломался и прикидывался возмущённым.

В общем, в нём пропадал артист.

Партнёры, тем не менее, были бдительны и непреклонны. Воспитательные разговоры с Василевским вели обычно Самарский и Пидоренко; им этот спектакль доставлял удовольствие. Сендерс играл молча, с Василевским не церемонился и начисто не ценил его артистический талант.

Пидоренко раздал карты и сидел на прикупе.

— Пас, — произнёс Самарский, едва взглянув на свои.

— Пики, — прохрипел Василевский.

— Вторые, — проскрипел Сендерс.

— Мои вторые.

— Бубни.

— Мои бубни.

— Семь червей.

— Мои семь червей.

Сендерс укоризненно посмотрел на Василевского.

— Восемь пик.

— Мои.

— Восемь треф.

— Пас, — с досадой бросил Сендерс. Он чувствовал, что Василевский перешёл свою масть и очевидно блефует. Сендерс имел на руках железных восемь червей, но он не терпел авантюры и решил пожертвовать своей игрой, дабы наказать авантюриста.

Василевский взял прикуп и не смог скрыть разочарования. Валет и дама червей, как говорится, не ко двору.

— И ход чужой, и ход чужой, — пропел он и объявил восемь бубей.

— Вист, — прошелестел Сендерс.

— Пас, — естественно отреагировал Самарский.

Они открыли карты, и вся убогость стратегии Василевского стала очевидной. Асы оставили его без трёх взяток.

— Костя, — заметил Пидоренко, — ты забыл приписать на гору сто двадцать вистов.

— Ничего не забыл, всё правильно.

— Да ведь ты играл на ёлочке.

— Ёлочку я уже сыграл раньше.

— Константин, — вступил Самарский, — перестань, подпиши сто двадцать вистов.

— Василь, не дури мне голову́, — перешел на белорусский язык Василевский. Раздражённый сильной неудачей, он упорствовал.

Сендерс некоторое время смотрел на него, а затем произнёс странно прозвучавшие слова:

— Это наказуемо, — и поджал губы. Убеждённость, наполненная некоей энергетикой, мощно ощутилась в том, как он произнёс эти слова.

Кстати, это были его первые слова за вечер, не относящиеся прямо к игровому процессу. Глаза его потускнели и отрешились; он продолжал играть, но как-то ушел в себя. Тело его осело и глубоко погрузилось в кресло.

Карты вновь розданы. Василевский некоторое время размышлял.

— Мизер, — коротко бросил он и с усмешкой посмотрел на партнёров.

— Пас, — мгновенно отреагировали те.

Василевский взял прикуп, приобщил его к остальным картам и отчетливо побагровел. Туз и король треф пришли к семёрке и девятке той же масти. Восьмёрка червей оставалась неприкрытой. И ход чужой.

Он сделал сброс, и партнёры открыли карты. Самарский посмотрел на него с искренним сочувствием.

— Пять взяток твои, — вынес он приговор.

— Это мы ещё посмотрим, — дерзко заявил Василевский.

Мастера всучили ему ровно пять взяток, как по нотам.

Карты снова в игре. Василевский помолчал, но объявил мизер. Возражений не последовало. В прикупе он обнаружил туза и короля бубей к короткой масти. Партнёры без труда всучили ему пять взяток.

Это был уже серьёзный проигрыш.

Шутки прекратились, наступила напряжённая тишина, лишь шелестели карты да тяжело дышал Василевский. Из соседней комнаты вышли

женщины и с удивлением наблюдали необычное происходящее. Сендерс ещё глубже погрузился в кресло, прямо утонул в нём, глаза его выглядели совершенно пуговицами.

Василевский взял карты, долго, очень долго смотрел и даже шевелил губами.

— Мизер.

— Пожалуйста, — вежливо ответил Самарский.

— Нехай берёт, мучается, — поддержал его Пидоренко. Василевский поднял прикуп и швырнул карты на стол; руки его тряслись. Туз и король червей, и снова к короткой масти.

Он со страхом посмотрел на Сендерса. Дело было уже не в проигрыше, а в том тайном и неотвратимом влиянии, которое исходило от Сендерса.

Самарский с удивлением изучал брошенные карты. Такого ему видеть ещё не приходилось.

— Как ни крути, пять взяток возьмёт.

Пидоренко, самый впечатлительный изо всех, сидел с открытым ртом, глаза его почти вылезли из орбит.

— Этого не бывает, — с ужасом прошептал он и невольно посмотрел на Сендерса.

— Бывает, бывает. Всякое бывает, — протянул Самарский. При этом он очень внимательно смотрел на Сендерса, прямо впился в него взглядом.

Сендерс глубоко, со всхлипом вздохнул, выпрямился в кресле и кисло улыбнулся.

— Всё? — обратился он к Василевскому.

— Всё, — вяло ответил тот и вытер пот.

Игра продолжалась. Василевский играл строго, как никогда, и не дурачился.

The end

Трагедия

Я, вообще-то, по профессии столяр-краснодеревщик, но как-то решил написать трагедию; мне казалось, что я обладаю всеми качествами, необходимыми для этой задумки.

Во-первых, я покладист и начисто лишён ощущения юмора. Кроме того, имею мечту пройти пешком до Владивостока; напишу всё, как ска-

жут там. Скажут, оставь два листа, без колебаний зачеркну остальное; амбиции мне чужды. Если и смеюсь довольно часто, то вовсе не от того, что тонко чувствую, а наоборот.

Жена для меня авторитет; так вот, она решительно утверждает, что, по её многолетним наблюдениям (мы с Тоней женаты более двадцати лет), мой смех ни разу не совпадал с действительно смешной ситуацией! Иногда она, правда, сама смеётся над моими остротами, но как-то истерично, почти со слезами. При этом она утверждает, что её смех не имеет причины. Мне это странно.

Однако, прошу заметить, так говорит жена, а я не полностью согласен с ней в этом вопросе; мне думается, она несколько искажает реальность, впрочем, как все жёны.

Тёща моя, мама жены, прекраснейший человек! Мы зовём её баба Дуня, женщина крупная, видная, не одобряла мой внешний вид и поведение, хотя и в доброй форме.

— То, что ты невысок, это еще не беда, — говорила она, прихлёбывая из блюдечка чай цвета спинки молодого таракана, — мал золотник, да дорог. Плохо то, что Вы, Николай Васильевич, не толст и смеётесь много. Степенным должен быть человек, это главное, особенно для мужчины.

Муж её, то есть мой тесть Василий Васильевич, жаль, что, женившись на Тоне, я уже не застал его в живых, был высок и строен, и это обстоятельство её удручало. Сама-то мощная и дородная.

— Бывало, — рассказывает, — собираемся на мельницу, я схвачу мешок с зерном, да на себя, да бегом к телеге. Василий Васильевич потом сокрушается. — Ты, говорит, Дуня, перед всем народом, перед всей деревней мне голову срезала! — он-то не мог так грузить, сил не хватало.

Короче говоря, стал я писать трагедию, так сказать, творить. Исписал две ученические тетради в косую линию мелким почерком, хоть в лупу читай. Отправился в редакцию.

По радио обещали дождь, поэтому я надел калоши; иду, солнце печет, ноги вспотели, волнуюсь.

Редактор, человек обходительный, в очках, усадил меня на стул, стал читать мой труд. Почитал и принялся хохотать.

— Вы на Райкине были? — спросил он, вдоволь насмеявшись.

Мне сразу этот его смех очень не понравился. В своей рукописи я выводил на чистую воду алкоголь и алкоголиков, ибо считал их страшным общественным злом, более опасным, чем бандитизм и дизентерия, и хотел показать наглядно убийственную ужасающую картину токсического разлагающего действия алкоголя на человеческую составляющую людей, наших, так сказать, собратьев по обществу. Мне хотелось отта-

щить их от края бездны, от трагедии, именно трагедии. Меня всегда удивляло, что такую опасность лишь гладят по головке, пишут о ней в смешном плане рассказики этакие невинные, так что, прочитав, только выпить хочется.

Было у меня там, в тетрадке место: мой запивший герой (он в конце должен погибнуть в страшных мучениях, ибо пил много и без закуски) захотел, под воздействием винных паров, произнести речь. Чувствуя свою скорую погибель, он желает успеть донести до людей свою тревогу о страшной опасности, грозящей им. По сути, он шел на подвиг.

И вот, не думая о себе, а только с мыслей успеть, он из последних сил лезет на трибуну общего профсоюзного собрания. Лезет долго и мучительно, хотя до трибуны-то всего пять ступенек (он до этого принял 0,8 литра за двадцать минут), а кругом хохот. Получается мощный трагедийный контраст.

Подвиг и хохот непонимания, который чудовищно усиливает трагедийность события. Хохочут-то по бездумной привычке, полагая, что мужик просто под «шафе» или, как говорят, «хвача». Он же, обливаясь слезами (сил-то уж нет) и ломая ногти, всё же взобрался на кафедру и надолго исчез из вида. И снова это со стороны натурально: нагрузился, дескать, и завалился там, и в зале опять смех и трагедийный эффект.

Он, однако, нашел в себе силы, встал и показался лицом. Смех затих. Все чего-то ждали от него. Люди всегда невольно ждут от каждого, кто влез на трибуну, чего-то. Итак, он стоял, вцепившись в ходуном ходившую трибуну, и громко дышал в притихший зал.

— Дезинфекцию проводит, — сострил кто-то, но его не поддержали. Люди поняли, до них дошла суть, и они молчали, а он постоял так и упал. И в этой сцене смысл трагедии.

Я почитал это место самым сильным в произведении, и всегда рыдал, когда доходил до него, а редактор черкнул ногтём именно здесь и заржал, как жеребец.

Потом он дочитал до места, где я описываю горе жены нашего героя, молодой Анки. Анка его безумно любила, кудрявого парня, но вот он запил. Она ждёт его домой, ломает в муках руки, орошает слезами подушку и наконец, умучившись донельзя, засыпает.

Ей снится сон, что её, Анку, измученную жизнью, торжественно ведут в рай. Раздевают, кладут в мыльню и пятью мочалками моют в пяти водах до чистоты, натирают тело благовониями и несут развлекать.

Перед ней танцы и песни, но ничто не может развеять её тоску и тревогу за безвременно гибнущего мужа.

Десятки клоунов смешат её, но от них ей становится ещё горше.

Тогда приходят двадцать пять восточных искусных щекотальщиков; они щекотят пятки, под мышками и другие чувствующие места тридцатью пятью способами, но это вызывает у неё лишь горькие рыдания

Поражённые силы сна, бессильные чего-либо достигнуть, расходятся, оставляя её в печали.

Здесь Юля, учёный секретарь редактора, сказала, на мой взгляд, совсем не к месту:

— Вместо этой оравы кретинов ей бы одного хорошего щекотальщика, да одним способом, да только не по пяткам. Анка и успокоилась бы.

Рукопись мою отдали в перепечатку. Взялась за этот благородный труд машинистка Наташа, и уже в девять утра она стрекотала без передыха. Я за это пообещал ей перевести текст с английского для дочки Лариски, студентки какого-то там вуза. Моя жена знает английский.

Весь день в машинописном бюро стоял, однако, хохот.

— До моей работы, значит, ещё не добрались, — подумал я, — интересно, над чем они так заливаются? Нашли дело поинтереснее, ишь как зашлись.

Зашел взглянуть, оказывается, девки комментировали именно моё произведение. Наташка аж ножками сучит. Целый день хохотали, срочную работу провалили, редактор ругается.

Девки-машинистки свои в доску и они мне приятны, но не понимаю я, как можно смеяться над человеческой бедой.

Содержание

МОЁ ДРЕВО *(автобиографическая быль)*

Предисловие 5
Мой прадед 6
Моя прабабушка 7
Мой двоюродный дедушка Михаил 8
Дедушка Иван 9
Бабушка Саня 10
Отец и мама 11
Мурманск 14
Калмыкия 19
Война 23
Мои братья 25
Голод 29
Кавказ 32
Бобруйск 33
Грехи юности 43
Моё поколение 45
Сталинград 47
Мой дядя Саша 52
Ступа 57
Пятьдесят лет спустя 68
Мои дети 70

ЛЮДИ *(рассказы)*

Актриса 124
Ворона 139
Дантист 146
Жорка 150

ИВАН И ЛЮДИ НАШЕГО ДВОРА *(рассказы)*

Жизнь, как она есть 154
Обожжённые войной 160
Живём как можем 164
Искупление 166
Непутёвая мать 168
Зинаида 171
Роковая привычка 175
Камнедробилов 185

ЛУКАРАК *(повесть)*

Откровение автора 188
Дневник 188
Институтская вольница 190
Отцы-преподаватели 192
Путешествие в Швейцарию 194
Первый экзамен 197
Шурочка 199
Лукарак 202
ДИС 204
Уходящие «ТУДА» 209
Изобретатель 218
Странная лестница 221
Охота 223
Мои коллеги 226
Витт 229
Монтаж турбины «АЕГ» 231
Авария 232
Совет 234
Опасения 240
Поединок 243
Время остановилось 248
Жизнь продолжается 251

РАССКАЗЫ

Мой Билли 254
Наши братья меньшие 256
О спорте 261
Последнее слово на товарищеском суде 264
Психотерапия 267
Радикулит 269
Сендерс 276
Трагедия 281

Литературно-художественное издание

Подольский Лев Васильевич

МОЁ ДРЕВО

Автобиографическая быль,
повесть и рассказы

Из цикла «Странное шоссе»

Редактор
Лидия Давыдова

Дизайн и верстка
Алексей Горшков

Издатель: ООО «Персей-Сервис»
117525 Москва, ул. Чертановская, 16, корп.2,
тел. (495) 314-57-61
Подписано в печать 28 мая 2015 г.
Объем 18,0 усл.п.л. Формат 60×90/16
Бумага офсетная. Печать цифровая.
Отпечатано в типографии
ООО «ИПЦ „Маска“» (www.maska.su)
Тираж 60 экз. Заказ №

ISBN 978-5-905302-32-9

9 785905 302329

Период жизни автора, относящийся к содержанию книги, характерен тем, что судьбу человека определял не столько он сам, сколько его родное государство. Энергетик, золотоискатель, воин — автор многократно исколесил матушку-Россию, и всюду, где бы он ни был, его неизменно интересовал человек — это удивительное и немыслимо противоречивое создание. О людях — суть книги.

ISBN 978-5-905302-32-9

9 785905 302329